

28.265K

ЛИТЕРАТУРНО -
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

НАЧАЛО

№ 1-3

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК
1921

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач	

Из книг
Л.А. Розановой

„Пролетарии всех стран
соединяйтесь!“

Литературно-художественный
и публицистический
АЛЬМАНАХ

60
Н а ч а л о

№ 1.

Редактируется при Иваново-Возне-
сенском Губполитпросвете.

3-я Государственная типография Г. С. Н. Х. в гор. Кинешме.
1921 г.

Кр 28.265

Отпечатан в количестве 5.000 экземпляров, из коих 2.500 экземпляров в полном виде и 2.500 экземпляров в сокращенном для продажи в пользу пострадавшего от неурожая Поволжья.



Р. В. Ц. гор. Иваново-Вознесенск.

ДОЖИНКИ.

Рванулась песенка на дымчатом
прогоне,

Гуляют девушки по желтому жни-
вью

И парни из за Велетьмы идут с
гармонью,

Поют про радость и любовь свою.

Привет вам зореньки! с весельем и
гуляньем!

Привет вам яровые, сжатые поля!
Гулять в дожинки вместе с вами
станем,

Хороший урожай на поле восхваля.

Смеется день (одет в литые ризы),

Дымок курится в дали деревень
И голоса детей несутся с речки,
снизу

При позолоте голубой в нарядный
день.

Над полем сизый передет вороний
И смех и песенки про долю про
свою.

Вот кто то с песней при гармонном
звоне

Ложится на поле, катаясь по жни-
вью.

Жива, жива,
Отдай мою силу
На пест и на крест,
Молотьбу, городьбу,
На гулянье.

Жива, жива,
Отдай мою силу
На стан, поклажу,
Зимой на пряжу,
В осенние дни
Милованье!

Гармонь рванула песню с перебором
(Не все же спину гнуть над сжа-
той полосой!)

Несет огнем, глаза горят задором,
И шумен переклик над цветным
угором

В застывший зной.

В последний сноп, нажатый на до-
жинках

Вплетают ленты девушки из кос.
Какая радость на поле убраться!

Вновь праздника дожждаться довелось!
Ряды сусликов выстроились в поле,
(Земля плодами щедро налита),

Их у околицы встречают с хлебом-
солью

И сноп берут, уряженный в цвета.

Жницы молодые, серпы золотые,
Милости просим, хлеб вам выносим,

На-те-тка

Да ломайте-тка.

Жницы молодые, серпы золотые,
Нынешний год — силей умолот,

Нынешний год надежду дает.

Жницы молодые, серпы золотые,
Жатве концы — девкам венцы,

Венцы — бубенцы —
Столованье!

Хлеб наш хлеб,
Налитое зерно,
Тебе песню поем,
Тебе честь воздаем,
Налитое зерно —
Духовитое!

Мих. Артамонов.

Из деревенских песен.

* * *

На заре пройду в луга я, на тропинку
стаму я.
Выйдет на лугдоргая ненаглядная моя.
Ты дареное колечко, перстенечек мой,
гори
Выйду, сяду на крылечко, досижу я
до зари.
Подарю я перстень вкраве, а ее возьму
с собой.
Нас не в церкви повенчали, мы повенчаны зарей.

* * *

Я иду межой зеленой из родимого
села—
Знаю тропочка-тропинка в город люд-
ный повела.
Попойду, пристану, гляну, распрощусь
с полями я.
Ты прощай, трава—поляна, не легка
судьба моя!
В город каменный далекий доля вы-
пала идти.
Город, город стоголосый, ты меня не
проглоти.
Я боюсь тебя, стойкий, на душе моей
тоска,
Широка дорога в город, да из города
узка:
Многи девушки ходили, да вернуться
не могли.
Поле-вольное раздолье, глубина род-
ной земли!
Чем тебя развеять, горе, чем прогнать
тебя, беда,
Я сменяю ли раздолье на большее
города?
О полях на сердце дума, тяжело впе-
ред идти;
Ах, протопочка-тропинка, ты навад по-
вороти!

М. Артамонов.

К а л и к и.

В перезвоны, гулы и крики
Брошева оглошшая улица.
На мостовой калыки-горемыки
Над расписными чашками сутулятся.
Базар насел на сгорбленные плечи,
Торгуется, орет и кружит карусели.
Но чу!.. Сквозь грохот, выкрики и речя
Надтреснутые голоса взлетели:
«Помутятся солнце с месяцем,
Часты звезды с неба на землю спадут.
По полям, по перелесням
Звери лютые на промысел пойдут.
Сны реки в степи двинутся
Мимо каменных диковинных громад.
Горы в море опрокинутся,
В небе ангельские трубы возгремят.
Солнце с месяцем закатятся.
Часты звезды канут в синие моря.
В небе Дьявол с Богом схватится.
Кровяная притуманится заря.
И антихристова конница
Понесется от закатной стороны.
Кто Спасителю поглотится,
Будет пытан палачами Сатаны».

Дм. Семеновский.

Благослови.

Благослови, душа моя,
Ласкающую синеву
И мотылька и муравья
И эту свежую траву.
Я сердцем кроток и смирен.
Бедна у песни риза слов.
Могу ли не склонить колен
На незабудковый покров?
Могу ли радостью земной
Не загореться, как свеча,
И синевою и тишиной
Не утолить свою печаль?

Дм. Семеновский.

Голубой мост.

Небо что-ли сошло на пустырь.
Из-за этих сырых облаков?—
Так синя придорожная ширь
От смиренных простых васильков.

Пусть лазурь утонула во мгле,
Пусть и я незаметен и прост,—
Я узнал, что от неба к земле
Голубой перекинулся мост.

Он идет из тебя, из меня,
Из деревьев, лучей, лепестков.
Поле, небо и сердце—родня.
Все мы-братья во веки веков.

Дм. Семеновский.

Поезд.

от кольчатоспинный, безкохтый,
Лезит вокзалы, точно мышей.
Задавит гамы, и с грохотом
Мчится дальше, дымя из ушей.
Сыт до отвала, а зарится:
Ему бы еще, еще глотать.
В нем на бегу переварится
Не одна миллионная рать.
Лют в еде, хоть годами и стар.
За свой век видел глад и брашны.
Ни аппендицит и ни катарр
Для утробы его не страшны.
То вскачь несется, то врадется,
Топясь в зеленый песок лесов,
И боками рваными гладится
О листованное колесо.
Только в татарском становище
Так от конниц дрожала земля,—
Когда он, шальное чудовище,
Выскакивает на поля.
А если вдруг хищно во мраке
Захрапит зверь с такой же спиной,
Он, как мимо врага-собаки,
Проскачет фыркая, весь глумной.

Ив. Жмюсин.

Тьер и коммунары.

(В дни Парижской Коммуны 1871 г.)

I.

Сколько раз кровянился мужицкий
ропот!
Сколько лет попирались права народа!
Красной конницей вспыхнул огненный
топот
Снова в марте семьдесят первого года.
По рассвету ударили Крылья-Пламень,
Сновиденьем единым Париж омолодился.
Как-бы, в каждую грудь, сквозь не-
зримых ставень,
Свет проник, откровеньем души на-
полнив.

Дрожь дворцов и Вандомской гроз-
ной громады
Разбудила гробную жуть в катаком-
бах,
И с Notre Dame химер колючие
взгляды
Напряглись, как динамит в брошен-
ных бомбах.

Из рабочих кварталов, как шторм
на шхеры,
Орлий ропот запылал над Бас-
тильей:
— Слава Солнцу Республики! Долой
Тьера!
Мечь выродку и всей его камарилье!

II.

Но утек презренный. Укрылся в Вер-
сале.
Забеременев черной злобой гиены.
Пресмыкался пред Бисмарком, зубы
скаля
На Флуранса, Делеклюза и Варлена:
— Позор, позор!.. Отродье мужичье
правит
У руля а не мэры царственной
крови..!
Парижане Марсельезой слух мой
травят..
Пламенекот над Сеной зорь алых
брови..
Приоткрыты страницы грядущих
библей..
Развивает твердь звездострокие
свитки..
Разве, канцлер, возможно, чтоб мы
погибли!..
Одна мысль об этом ужаснее пытки“..

И с тех пор стал Версаль логовищем
Тьера,
Карла псом рычал на парижские
башни.
Хамелеоны, хамы и лицемеры
Затевали в страхе с ним подлые
шашни.

III.

Аль, волной взбурлив, вспять побе-
жала Сена?
Аль, развеян творческий зной откро-
венья?
— Почему у нас за изменой изме-
на?—
Вопрошал себя коммунар в изумленьи
Ломит враг. Грохочут форта. Комму-
нарки
Превосходят мужей на долинах брани,
Жертва за жертвой. Миги гибели
ярки,—
Не умели так умирать и римляне.
Вождь любимый вражеской пулей уло-
жен.
Победитель в стенах, Топчет конем
трупы...
.....
Две недели клинки не касались но-
жен,
Черепя народа кроша, как скорлупы.
Бронхитно в толпы кашляли митраль-
езы,
Трупя женщин, детей, случайных
прохожих:
— Это вам ответ на пламень
Марсельезы,
На мечты о правах и деньках пого-
жих!..
Как нарывы—гряды холмов возле Сены,
Кровятели, колебля седые зданья.
Прорывалась кровь сквозь крепостные
стены
И вливалась в реку с потоком страданья.
Мостовые Парижа—как в бурю шхеры.
Сапоги версальцев в крови по колена.
.....
Позор предателям и палачу Тьеру!
В библию библий—славу братьям
Варлена!

Ив. Жижин.

М а т ь .

Придите ко мне страдающие,
Я—ваша ласковая мать.
Веков величавых чающие,
Вам любви моей печать.
Бойцы, колени склоните,
Опяшу я вас мечем.
Скорбные ко мне прильните,
Отдохните, не помня ни о чем.
Века мое сердце билось
В объятьях железных сетей,
А теперь оно раскрылось
Миллионам земных детей.
Мой сын и старик суровый,
Умудренный, зрелый—мой сын,
Я ласкаю юность умиленно
И голубиную мягкость седин.
Утомленные лица детей
Я одной рукой осеяю,
А другой оттачиваю меч острее,
И молнией стальной взвиваю.

Анна Баркова.

Черный платок.

Я надену черный платок,
До бровей его надану,
И встану на тот уголок
И потешу мою кручину.
Еще издали я замечу
Брови строгие яркий румянец,
И знакомые шаг и плечи—
Сердце бросится в трепетный танец.
Он пройдет, меня не заметит,
А я его взглядом окину,
И что то на миг осветит,
Приглубит мою кручину.
Побреду я за ним украдкой.
Снег не выдаст меня, пожалеет.
О, с какой пугливостью сладкой
Я буду взглядом его лелеять.
Он захлопнет калитку. Я вздрогну
И, прижавшись к воротам, застыну.
Он не слышит, как в светлые окна
Зазвенела моя кручина.

Анна Баркова.

Терем Царевны.

Александрю Блоку.

Небеса строги и гневны,
 Бледны цветы на лугу.
 Тих терем царевны
 На крутом речном берегу.

Гаснут закатные краски.
 Нежно цветет тишина...
 Сердцу хочется сказки,
 Прелести чудного сна.

Тусклы земные дали;
 Сад соловьиный заглох.
 Клонит цветы печали
 Темный чертополох.

В грусти тоски напевной
 Знает только поэт,
 Что сказка—терем царевны
 И что царевны нет.

Ал. Луганский.

Облазил все небо фонарщик,
 Затеплял он звезды ночные,
 А я ворь мятежных запальщик
 Молюсь на деянья земные.

Не строю я на небо лестниц,
 Не надо мне рая гарема:
 У нас свое солнце и месяц
 На стройке земного эдема.

Отрашивать крылья не мыслим,
 Мы руки в труде напрягаем,
 Идем к новорадостным числам
 И землю, трудясь, лобызаем.

Ав. Поздрин.

Был век рабом, покорно нес
 Ярма железные вериги,
 Глотал во тьме, как капли слез,
 Худой отравленные книги.

И мог ли вырвать с корнем вон
 Веков кровавые последы,
 Когда ко мне со всех сторон
 Змеей вползали ваши бреды?

Скачу на бешеном коне
 Сквозь дней клокочущие горла,
 Но вешний луч поет во мне
 И даль сухую дляиь простерла.

На ваши „да“ скажу вам „нет“
 В огнях труда, в поту работы.
 Я солнцем вырвусь на рассвет
 И сам создам свои высоты!

А. Сумароков.

Ярунок.

Онашка домовничает: отец с матерью укатили в город за обновками к маслянице.

Онашка в одиночестве не скучает.

Он достает с полки отцовский ящик с полукрупкой, свертывает цыгарку и, закурив, выкидывает из себя перстеньки синего дыма.

Смотрит, как они виснут в воздухе, вспухают, расливаются и прядут по избе голубую паутину.

Затягивается и снова кидает перед собой перстеньки, клубки и дрожащие змейки. Сладок запретный плод!

Сидит Онашка на лавке—весь в голубых облаках,—прислонясь к испещренной тараканами стене. Курит и, цыкая, сплевывает на пол, словно гривенниками усыпая половицы. Пощипывает начинающие пробиваться усы.

Голова кружится, как у пьяного: заходили горшки и кринки, поехал Егорий на своем белом коне.

— Здоров чертов ладан,—хвалит Онашка.

— Ишь ты, инда глаза ест. Святые и то, поди, плачут.

Но довольно. Хорошенького понемножк.

На стене лужею мерзнет треснувшее зеркальце.

— Чем я не парень?—спрашивает у зеркальца Онашка. Оттуда смотрит на него щелками глаз конопатое лицо в рыжих вихрах.

— Али я плох?—снова задает он вопрос засиженному мухами стеклу.

Зеркальце лукаво молчит.

— И за что только девки меня не любят?

Молчит проклятое стекло. Ехидно молчит.

А это верно: не люб Онашка девкам. Ни одна из них не взглянет ласково, никогда не приголубит его. И когда Онашке захочется поиграть, он, словно коршун, налетает на голубку-девушку.

— Пусти, бесстыжа рожа,—вырывается та.

— Нет, ты сперва скажи мне-ка, чем отменяется мужик от женки. Скажи, тогда пушу..

Девушка от стыда чуть не плачет.

— Как паук влип,—сменяются гуляющие:

— И яровит ты, Онашка. Тебя только во стадо-бы слушать заместо мирского быка. Ярун, чорт.

Так и прозвали Онашку—Ярунок.

На вечеринках, во время игры в поцелуи, когда Онашке приходится целоваться, девченки поют:

«Шел мальчишка из Татарской Слободы.

Его шкура не годится никуда.

Его шкуру и собаки не едят,

А девченки целовать ее хотят».

Один конфуз.

— Разборчивы больно,—шепчет Онашка.— А чего-бы и разбирать-то? Ведь парней-то в селе—полтора человека: без мала всех угнали на войну. Ну, погодите: покатаю я вас на масляной,—как же!..

От грустных дум Онашку отвлекает забежавшая в избу погреться сестренка Дунька, девченка лет десяти, и две ее товарки.

— Вот что, девченки,—предлагает Ярунок,—давайте играть молодыми. Будто-бы мы в бане паримся..

Как из воску вылепленные, девченки мечутся по избе. Онашка глядит, чадя цыгаркой. Табак и мысли хмелем ударяют в голову.

Застонав, отворяется примороженная к косяку дверь. Стужа белым облаком врывается в избу и стелется по полу, а табачный чад взлетает под потолок, ударяется о полаты и кидается в распахнутую дверь.

— ...ствуйте!—здоровается вошедшая баба. Это—Любушка, солдатка. Муж без вести пропал на войне, а она шинок в селе открыла. Здоровая да веселая.

С улицы Любушка сперва ничего не видит за чадной мутью и, мигая длинными ресницами, спрашивает:

— Васильевна, дома, что-ли ты?

Не слыша ответа, проходит вперед и замечает девченок.

— Дуры, хабалки!.. И не совестно вам? Вот-бы вас по гальяшкам-то дубцом.

— Это нас Онашка научил.

— Эх, ты, бессовестный,—укоризненно говорит баба,—а еще жених. Вот я матери скажу, чего ты один-от делаешь.

Онашка вспыхнул. Лицо и волосы стали одного цвета.

— Бесстыжие глаза. Чем бы малых доброму научать, он натко што выдумал!..

Любушка смеется.

— Надо отцу-то молвить, чтобы он женил тебя поскорее. Поговорить ему надо.

— Поговори.

— Ишь как обрадовался. Поговорю. Беспременно поговорю.

Баба рванула скобу. Дверь со стоном оторвалась и, впустив стужу, опять влипла в косяк.

Онашка снова один. Девченок выгнал. Он лежит на печи и от скуки нескладно вытягивает:

„Запрягай... запрягай ка, тятя, лошадаь

Сивую косматую.

Есть девчен... есть девченка на примете,

Я ее засватаю“...

Между тем темнеет. Сумерки заволакивают обледенелые окошки и стелются—стелются по избе. Задрожала в стекле колючая звезда.

Речь Любушки не дает Ярунку покоя. В самом деле, не плохо-бы жениться. На ком только? Вот у дьячка дочка хороша, только пойдет-ли? Гордая она.

Парень вспоминает кукольное личико дьячковой дочери, обвешенное желтыми кудряшками, и шепчет, крепко стискивая отцовский тулуп:

— Надя... милая...

А непременно надо будет уговорить ее прокатиться на маслянице куданибудь вдвоем. В поле пусто, никто не видит. Обнял и целуй вволю...

Завизжали под окнами полозья. Знать, приехали. Входит сначала мать,

окутанная в сорок одежин, точно капустный кочан. Потом входит отец в халате. Запахло в избе морозцем.

— Онаний, вздуй свет.

Онашка засвечает лампочку.

— Ты того... опять курил?—догадывается отец.—Ай давно не учен? Я, того... выбью из тебя дурь-то,—указывает он на грозу семьи, ременную треххвостку, висящую на стене...

Пужинав, ложатся спать.

Онашка ворочается на скрипучих полатях. Не спится.

В окошко сквозь изорванную ветрами ель любопытно заглядывает месяц.

Ярунок старается представить, как он на крылатых саночках мчится с Надей по снежному полю. Орут полозья, гают бубанцы, в ушах свищет ветер. Он стискивает девушку в руках и целует ее прямо в холодные губки. Она бьется и визжит, а он тискает и целует, целует, целует...

Сегодня совсем весна. По стеклу жужжит ожившая муха. А за окном—синее небо и солнце. Частят с крыши капли: „чок, чок, чок“...

Отец, Дунька и сам Онашка сидят за столом, на котором топчирится жесткая чистая скатерть.

Мать с расплывшимся лицом печет блины. Верезжит на сковородке тесто, похрустывает знойная печь, и все растет на столе гора блинов, румяных, как месяц на заходе.

— Будет, мать, не с'едим,—говорит отец:—и то напекла, ровно на Маланыну свадьбу.

Онашка вылезает из за стола.

— Онаш, поел-бы еще, дурак.

— Не хочу... сыт...

— Он сыч, хы хы-хы,—скалит отец желтые зубы, роняя на лоб мочальные пряди.

Нынче отец в духе.

— Тятинь,—просит Онашка,—я покатаюсь на Сивке.

— Валяй,—машет отец,—на то и масляница. Чай, того... приговорил уж какую-ни то кралю прокатиться по хорошей-то дорожке?

Ярунок на дворе. Заслыша звон узды, Сивко прячет морду в угол и

машет в лицо хвостом. Хитрый, подлец.

Наконец оборотал. Одед в новую сбрую с бляхами, кистями и бубенцами, завел в оглобли легких саночек, заложил расписную дугу, пристегнул небесного цвета возжи.

Н-но-о!..

Взвизгнул не своим голосом полоз. Звякнув, закачались бубенцы. словно туча кинутых камней, со свистом вспорхнула стая воробьев с навозной дороги и, переговариваясь, уселась на придорожной березе.

Пашет в лицо сырой ветер. Бегут навстречу избы, погреба, колодцы,—вся разноцветная, разноголосая улица.

Сегодня Прощеное Воскресенье—последний день масленицы.

Дьячкова дочка Надя всю неделю гуляла с сыновьями о. Петра, приехавшими из семинарии на праздник. Но семинаристы еще вчера укатили в гости к соседней учительнице, а Надю, должно быть, позабыли захватить. Уж нынче она не уйдет от Онашкиных рук.

Улица полыхает разноцветными платками, щебечет гармошкой, вопит пьяными песнями, сорит семечками, плывет на розвальнях, летит на легких санках.

Уже с утра в Любушкиной избе—дым коромыслом. Там парни и мужики лочут перегонку. В головах—нарусель, а сердца Трепыхаются пьяной удалью и весельем.

Онашке же и перегонки не надо, и без нее, проклятой, весело.

Развесил он синие возжи, расселся барином и едет по улице. Рыжие вихры скрывает заячья шапка, на ногах новые чесанки, а из-под тулупа выглядывает ворот лиловой ластиковой рубахи.

Вот и девки, а среди них, словно голубка среди галок, она с кукольным личиком и синенькими бусинами глаз.

— Онаш, покатай, милый,—просят девки.

Ага, присунулись! Ну, ладно, так и быть. Ни одной не посадил-бы, кабы не кукольное личико. Ей-Богу!

Для отвода глаз Онашка катает сначала Феньку курносую и Сашку

Степанову. Фенька—пиголица, зато Сашка дюжая девка—заняла все место, насилу втиснув в санки свое крепкое ядреное тело.

— Слезай, камод нескладный,—ругается Онашка:

— Ишь, тебя и лошадь-то не берет..

Вот оно, о чем думал по ночам, чего ждал и уж не чаял дожидаться.

Ветер, дорога и рядом с ним кукольное личико с покрасневшим носиком, с подведенными жженой пробкой бровями и желтыми кудряшками, высыпавшими из под платка.

— Я люблю ездить быстро, быстро, чтобы дух захватывало, звенит нежный голосок.

— Пшел..

Ожег Сивка кнутом. Замелькали прясла прогона. Подбежали и остались сзади овины. Придвинулось поле с ветром, с нестерпимыми мерцаниями. Понесся навстречу синий лес. Вот уж и деревья вскачь помчались по сторонам, и солнце пламенной птицей полетело сквозь деревья.

А рядом поблескивает синими ледышками глаз фарфоровое личико, и беленькая ручка тербит Онашкин рукав.

— Барышню нужно занимать разговорами, а он молчит, как бука.

— Милая, хочется крикнуть Онашке, а проклятый язык, как чужой, вместо того выговаривает неуклюжие, как коряги, слова.

— Мы не можем.. не высокого учения.. вас высоко-образованные молодые люди займут..

— Высоко-образованные... ха-ха-ха. Вот сейчас впиться бы губами в смеющийся ротик и целовать, целовать.

Но то, что так легко совершалось в мечтах, так трудно осуществить наяву. Нет, не только трудно, а невысказано, невозможно. Робость какая-то напала. Даже говорить нечего: слова надо вытаскивать клещами.

Опять ветряное поле, овины, прогон, улица. Нет кукольного личика, ушла. Ярунок один. Раза два он равнодушно проезжает селом и уже по-

ворачивает к дому, как вдруг навстречу, зачерпывая на повороте боком саночек пену размятого снега, лихо летит попов жеребец.

В санках рожа семинариста Ваньки, а рядом с этой усатой рожей кукольное личико дьячковой дочки.

Ванька щеголевато распахнул свою шинель с голубым кантом и серебряными пуговицами, а сам обнял свою даму и нашептывает ей что-то, должно быть, очень забавное, потому что беленькая ручка шаловливо хватается его за красное ухо.

— О, стерва!..

И Ярунок изо всей мочи хлещет кнутом ни в чем неповинного Сивка.

Сколько иголок сразу впилось в сердце!

Онашка в Любушкиной избе.

Стоном стонет изба от пьяных песен и речей, ходуном ходит от забористой пляски.

По избе ягодой катается Любушка. Она подает на стол закуску, ставит бутылки и стаканы.

Онашка с отвращением глотает мутную ядовитую жидкость, которую Любушка для крепости, говорят, настаивает на табаке. Пьет и скорее закусывает склизким соленым грибом.

Вот уже в голове заходили какие-то качели, завертелось колесо. Закружились в ней столы, окна, Любушка, лавки, потные лица собутыльников. На миг вспыхивает в груди буйное веселье. Вспыхивает и гаснет. К горлу подкатывается клубок. Ярунок вскакивает и неверными ногами, словно в тумане, бежит на двор блевать.

— Ррррр!.. Уррр... Кха... кха...кха...

Вертится в голове жернов, ходят качели, грохочет кузница.

Кукольное личико мерещится. Беленькая ручка, которая треплет красное ухо.

Невыносимо жаль себя. Ярунок плачет и грозит кому то:

— Убью!

Дальше все, как сон.

— Тетка Любовь, пушай он полужит у тебя, пока не очухается,—гадят парни, уходя:

— А то отец то не поласкал-бы его чересседельником...

— Что же, что-же. Пушай полужит,—соглашается шинкарка.

Лежит Онашка на Любушкиной кровати. Мается. Тошно, жарко, трудно.

Что-то горячее облепило, как тесто, обвило шею, огненные печати кладет по лицу, опалает дыханием, шепчет:

— Что-то, Онаша, ты не ярок? Али уж нонче у какой девушки побывал.

— Пусти,—хрипит Ярунок.

— А вот и не пущу,—слышек в ответ задорный шопот.—Не пущу. Люби меня, Онаша!..

Не по душе Ярунку такая любовь. Нет, не любовь это. Не такой любви просит сердце. И разве нужно ему это чужое лицо, прилипшее в поцелуе, эти бесстыдные белые руки. Онашке вспоминается другое лицо,—фарфоровое личико с синими бусниками глаз.

— Уйди, сука!

И Ярунок сует кулаком в это чужое лицо.

Женщина, согнувшись, сидит на кровати и вытирает подолом глаза.

— За что ты меня? Аль я виновата, что душа любви требует? Аль я не живой человек? Несчастная я. У всех мужья есть; одна я не вдова и не мужняя жена...

Жалко Онашке бабу. стыдно за себя.

— Не реви, наклоняется он к Любушке,—полю, не реви. Это я так... Брось, говорю, реветь-то, обнимает он ее.

Село все еще летело на крылатых санках, плыло на розвальнях, цвело алым, желтым, синим, плевалось семечками, орало песни.

И вдруг в этот гул, в этот гам, с колокольни, как ледяная капля на голое темя, упал удар колокола.

Был он негромок, и долго, долго таял в вечернем воздухе, но что-то уверенное, повелительное, отрезвляющее почувствовалось в его голосе.

Пахло от него великим постом, тощими буднями, распутицей, ладаном, зем-

ными поклонами и молитвой, которую седовласый о. Петр в черной ризе станет сейчас читать перед царскими вратами.

За первым ударом упал второй, — и звон к вечерне потек в закатную даль к тихому свету запада.

И село поняло, что невозвратно улетела душа пестрого веселого праздника, как души десятков и сотен других таких же разгульных и пестрых торжеств.

К вечеру крепко подморозило.

С поля поднялся резкий ветер. Невидимыми голиками он скреб по тусклому серебру сугробов, поднимал тучи колючей ледяной пыли и щедро кидал ее в щелявые стены изб, в растрескавшиеся ребра прясел и в озябшие лица одиноких путников.

В поле за селом мальчишки жгли масляницу. Красные и золотые языки лизали сумрак. По сугробам прыгали тени. А мальчишки кричали, что масляница им «не дала погулять» и обзывали ее за это нехорошим словом.

Онашка шел мимо ометов и овин с поля и вытягивал:

«Запрягай... запрягай-ка, тятя, лошады»

Сивую косматую.

Есть девчен... есть девченка на примете,

Я ее засватаю».

В голове уже не кружилась карусель, только во рту еще был противный осадок. Влопых мерещились два лица: Надино кукольное и Любушкино задорное и румяное, как яблоко. Чуть-чуть болело сердце, но боль была тихая, сладкая. И во всем: в ометах, в дорожных передувинах, похожих на белые косы, и даже в снежной буре чувствовался какой-то ржаной теплый уют.

„Есть девчен... есть девченка на примете,

Я ее засватаю».

Оно, положим, свататься-то уж поздно. Надо ждать Красной Горки. Но это даже к лучшему: семинаристы уедут учиться, и Надя уж наверно не провернется мимо Онашкиных рук.

Он ее приворотит. Говорят, если парень поставит в церкви свечу вверх ногами той святой, имя которой носит девица, то девица непременно полюбит парня.

Это уж верно.

Дм. Семеновский.

Арест.

(Посмертный рассказ Сергея Семина).

Мы, то есть я и мой товарищ Бубнов, чувствовали себя точно так же, если-бы кто ни на есть подошел к вам и ни с того ни с сего влепил бы по уху. Разница была только в том, что вы сейчас-же выместили-бы обиду, если-бы, конечно, обидчик пришелся вам по силе, или, по крайней мере, нашли-бы какой нибудь исход, чтобы успокоить оскорбленное чувство самолюбия и человеческого достоинства. Была еще разница и в том, что мы по уху действительно получили, потом, по отбытии ареста, и еще одно удовольствие нам пообещали. Обещаемое было исполнено, но не в

полной мере, благодаря лишь счастливому случаю.

Случилось это вот как. Стояли мы в то время под прикрытием артиллерии, то есть не мы с Бубновым, а наша 12-я рота. И не артиллерия прикрывала нас, а мы артиллерию. Было это в пяти верстах от передовой линии. Здесь стоял легкий полевой артиллерийский дивизион. Часть этого дивизиона и охраняла наша 12 рота. Приходилось по батарее на взвод. Жилось здесь хорошо, но к сожалению недолго. Днем мы проводили четыре часа на практических за-

нятиях, а после занятий в продолжение всего дня были свободны. По ночам к батарее выставлялись поочередно, начиная с первого и кончая четвертым отделением, сторожевые караулы.

В 12 роте было много новичков, недавно присланных из тыла для пополнения. Бубнов и я были тоже новичками.

Со своим положением за полтора месяца пребывания в роте мы все еще не могли освоиться, и жизнь, даже в таком прекрасном по военному месту, как под прикрытием артиллерии, нам казалась, как говорится, сущим адом.

— Вот житье, — говорил бывало Бубнов, — ровно зверюга какая, прости Господи! Забьешься в землянку и лежи да молчи...

И, правда, мы все больше молчали. Да и о чем будешь говорить?

Вспоминать о домашнем, — только тоску на душу нагонять, да и старые солдаты, как только услышат, сейчас же начинают смеяться:

— Что, сметанники, знать не нравятся здесь? Домой захотели?.. Нет, больно рано... Прежде вшей покормите!

Возражать нельзя. Скажи слово, — сейчас же вне очереди наряд получишь. Так и молчали.

Бубнов был Костромской, Галичского уезда. Говорил несколько растягивая слова, сильно напирая на «о». Роста ниже среднего, но плотный, плечистый, с маленькими серыми глазами и с большим носом на продолговатом лице.

Сошлись мы с ним в силу обстоятельств и первое время едва ли не ненавидели друг друга. Мне он не нравился своим говором, а я ему, может быть, тоже какой-нибудь особой манерой. А больше всего мы не нравились друг другу тем, что заменяли, против своего желания, своих бывших товарищей земляков, с которыми сжились и с которыми поневоле пришлось расстаться. По прибытии на фронт нашу маршевую роту разбили, и кто с кем в запасном батальоне служил вместе, как на зло здесь попал в разные роты.

Однако, как ни неприятны друг другу были мы с Бубновым, нам поневоле пришлось сойтись, так как в 12-й роте, в которую мы попали, остальные для нас были совершенно чужими.

III.

Однажды, после занятий, пообедав, мы всем отделением отдыхали. Кто спал, а кому не спалось, — от нечего делать, курил.

— Четвертое отделение, за жалованьем! — крикнул дежурный по роте, приподняв опущенную над входом в землянку палатку и заглядывая к нам.

— Нейтмак, за жалованьем! — орая дежурный, наполовину просунувшись в землянку.

— Та иду-ж! Якого чорта ты так орешь!.. — поднявшись и лениво почесываясь, отвечал наш отделенный Нейтмак. Дежурный ушел.

Наш полк по преимуществу был хохлацким полком. Начиная с отделенных и кончая фельдфебелями, все командиры были хохлы, исключая офицеров.

— Давайте, хлопцы, книжки! — обратился к нам Нейтмак.

Мы вручили Нейтмаку солдатские книжки, и он отправился в ротную канцелярию за жалованьем.

Жалованья пришлось по три рубля, с какими-то харчевыми.

На радостях, мы с Бубновым захотели до-сыта поест. Хлеба, что выдавали, не хватало, и мы думали наверстать этот недостаток на полученных деньгах и чуть-чуть не наелись березовой каши.

— Знаешь что, пойдём к артиллеристам за хлебом, — предложил я Бубнову.

— Идем! — Согласился он, и мы отправились.

Пришли в свою батарею, поспрашивали кой у кого из артиллеристов хлеба, — не оказалось. Пошли дальше.

В первой батарее купили буханку фунта в 4 за девять гривен, вернулись в землянку, разделили хлеб и тут же почти весь и с'ели, оставив лишь немного на ужин. Мало нам показалось этого хлеба. Стали советовать, куда бы еще сходить, чтобы достать хлеба на завтра.

— Вы опять за хлебом?—узнав в чем дело, спросил нас молодой солдат Федосеев.—Если найдете, берите и на мою долю,—я заплачу.

Мы согласились и вышли из землянки. К артиллеристам идти не хотелось,—там над нами смеялись, спрашивая, чем нас кормят, сколько дают хлеба, и какой мы губернии.

Была тут, неподалеку, маленькая деревушка. В ней еще оставались жители.

— Пойдем в деревню!—предложил я Бубнову.—Там скорее найдем..

Пошли.

— Идти-ли туда?..—заговорил уже на ходу Бубнов.—Как бы не налететь..

Он говорил именно о той опасности, которая нас не миновала, но я его не понял.

— Идем, чего бояться. Здесь не на позиции,—убедительно успокоил я.

— Ну, идем,—согласился он,—вон, видишь, мужик у халупы хворост рубит? Если у него нет,—больше никуда не пойду..

Только что мы собирались спросить мужика,—среднего роста, с бритой бородой и с длинными усами, одетого в баранью шапку, испольный полушубок и валенки,—нет ли у него хлеба,—он выпрямился и не выпуская топора из правой руки, молча, вопросительно посмотрел на нас.

— Дядя..—начал было Бубнов.. Но в это время из-за соседней халупы, легонько гремя колесами по мерзлой земле, выехала аккуратная пролетка, запряженная высокой гнедой лошастью. В пролетке сидели два офицера.

Мужик, слыша стук колес, повернулся в сторону пролетки, опустил из руки топор близь нарубленной кучи хвороста и, отойдя шага на три в сторону от кучи, стал в почтительную позу и, обнажив седую голову, первый поклонился офицерам.

— Здравствуйте..—нехотя ответили офицера старому поляку. За ними ехал верхом ординарец.

Пролетка остановилась, и мы с Бубновым вытянулись в струнку.

— Вы кто?—обратился к нам офицер с белыми серебряными погонами

и с двумя черными просветами на них. «Врач»—подумал я про себя.

— Мы Ольгопольского полка,—титуля его, ответил Бубнов.

Другой офицер был поручик.

— А куда идете?—спросил опять врач.

—Хлеба ищем, ваше высокоблагородие!—бухнул я.

Бубнова при этом отчего-то так передернуло, что он зашатался с боку на бок, точно справа и слева его подталкивали.

— Смирно!—заорал поручик.

Душа у меня ушла в пятки.

— Ах вы, школа проклятая,—продолжал поручик,—вот вас накормят! Высплют штук по 25, так будете знать, как бродяжничать!..

— Вас, что-же, не кормят разве?—спросил, с искривленной улыбкой, врач.

— Кормят.. отвечал озадаченный Бубнов.

— Так что же вы шляется?..

— Не хватает, ваше высокоблагородие.

— А другим хватает?

— Так точно! ответил Бубнов.

— Почему же другим хватает, а вам не хватает?—допрашивал врач.

— Апекит, должно быть, у нас не такой, ответил тоном рассуждения сбитый с толку Бубнов.

— Гони их, ординарец, в штаб полка!—взбесился врач.—Да если будут спорить,—пори!..

Ординарец взял под козырек и погнал нас в штаб полка.

— Вот вам дадут, сукины дети, „апекит!“—крикнул врач, когда мы уже шли впереди сопровождавшего ординарца.

Когда отошли от офицеров на приличное расстояние, ординарец заговорил с нами.

— Вы, земляки, напрасно сказали, что идете за хлебом...

— Ведь вон, чортово-то пугало, показывая на меня, крикнул Бубнов, не дав кончить ординарцу,—избить вот...

— Нельзя драться,—строго сказал ординарец.

Но Бубнов и не думал драться,—е хорошо понимал, что я столько-нж

виноват в его несчастьи, сколько и он.

— Экой проступок, заговорил он, ровно мы мужика убили. Издеваются над нашим братом,—заклучил он свои размышления.

— А куда, земляк, из штаба полка нас отправят?—спросил я ординарца.

— Вы ольгопольцы?

— Да.

— Ну так вызовут вашу полицию, и наверно пойдете в свой штаб.

Ординарец пригнал нас в штаб Кишиневского полка и, сдав под конвой дежурному по штабу, уехал.

Дежурный поместил нас в какую-то нежилую землянку и приставил конвойного.

В землянке сидели с полчаса, и за эти полчаса чего-чего я не передумал.

„Не может этого быть“—стучало в голове. И в то же время где-то далеко развевалась передо мной картина: лежит на раскинутой по мерзлой земле шинельке человек. Нижняя часть белья с него снята. Голову и ноги держат два человека, а третий стоит над ним, взмахивая в воздухе лозой и со свистом опуская ее на тощее растянутое тело. Человек этот—я. Я чувствовал прикосновение к телу сырых холодных прутьев. Они впивались в тело, как раскаленная проволока. „Ой“—мысленно вскрикивал я. Неприятная судорога пробежала по телу. Вздрыгнул, очнулся...

— Что, земляк, холодно?—Спросил конвойный.

— Да,—машинально ответил я.

Бубнов сидел с опущенной головой.

Красноватый свет зимнего вечера, проникающий с улицы в землянку без окон через большое квадратное отверстие, служащее входом, падал на его лицо. Сухой морозный ветер гулял по землянке. Бубнов не глазами, которые были мутны, а всем своим существом упорно всматривался во что-то далекое и, как видно, нехорошее.

Ему, может быть, мерещилась та-же картина, что и мне.

— Конвойный, давай арестованных,—крикнул откуда-то дежурный по штабу.

— За мной, земляки!—Скомандовал конвойный.

Здание, которое занимал полковой штаб, по своему устройству походило на школу, с окнами на все четыре стороны и с одним парадным крыльцом с южной стороны. Оно стояло на открытом месте; около него не было больше никаких пристроек.

— Стой,—скомандовал конвойный, останавливая нас перед крыльцом.

На крыльце стоял какой то офицер в одной гимнастерке и без фуражки, опершись руками о перила и несколько наклонясь всем корпусом вперед.

Густые русые волосы были зачесаны назад; красивое открытое лицо было спокойно, словно он вышел полюбоваться летним, а не ноябрьским вечером, и ему не было ни до чего никакого дела.

— Эти?—кивнув на нас головой снизу вверх, спросил он конвойного.

— Так точно, отрубил тот.

— Вы где шлялись?—обратился он к нам.

— Мы не...—заикнулся было Бубнов.

— Ш-т-о-о!—угрожающе протянул офицер.

— Мы хлеба хотели купить...—еле слышным голосом проговорил Бубнов.

— Да ты, паршивец, вынь руки из карманов, когда говоришь с офицером.

Бубнов, как вышел из землянки, запрятав руки от холода в карманы шинели, так и стоял перед офицером. Когда офицер приказал ему вынуть из карманов руки, Бубнов сначала посмотрел на карманы шинели, точно убеждаясь, действительно ли его руки там и, увидав, что действительно в карманах, быстро выдернул, опустив левую по шву шинели, а правую поднося к козырьку фуражки.

Бубнов все это, кажется, проделал быстро, но офицер заметил, заругался, и, сорвавшись с места, торопливо сбежал с крыльца до последней ступеньки. На землю все таки не сошел.

— Как твоя фамилия?—закричал он на Бубнова. Тот назвал.

— А твоя?—огрызнулся он на меня и так впился глазами, как будто ловил меня на словах: „посмотрю, дескать мол, я на тебя, каналья, как ты у меня провернешься“.

Я назвал себя. Офицер, вынув из грудного кармана гимнастерки маленькую записную книжку, карандашом стал в ней записывать, очевидно, наши фамилии. Кончив писать, пошел в помещение.

— Куда прикажете их отвести, ваше благородие?—робко спросил офицера конвойный.

— Пусть здесь стоят,—не собираюсь, сказал офицер. Да следите за ними, отворяя уже дверь, добавил он.

— Слушаю, ваше благородие.

Дверь захлопнулась, и тот же офицер показался в окне у телефона.

— Ольгопольский полк,—кричал он в трубку:—около Н.. (он назвал то место, где мы были арестованы), задержаны два солдата вашего полка, подозреваемые в дезертирстве, торопливо продолжал офицер. Он назвал наши фамилии и, повесив трубку, куда то скрылся.

Желтая заря горела на западе и оттуда веяло холодом. Сгущались сумерки. Небо, днем бледно-синее, теперь отливало зеленоватым цветом и казалось еще шире и глубже и еще холоднее. Чистое небо всегда красиво. Теперь зеленоватая его глубина дышала невозмутимой, торжественностью и по ней чаще и чаще вспыхивали искристые желто-красные, белые, синие и изумрудные живые огни морозного зимнего вечера.

Из штаба Ольгопольского полка пришли двое полицейских. Им в штабе Кишиневского полка вручили какую то записку и нас.

Конвойные шли молча, один впереди, другой сзади нас. Куда нас ведут, мы не знали и только смутно чувствовали приближение развязки, да строили разные догадки, стараясь предугадать, чем все это разрешится. „В штаб ведут, значит к командиру полка“, думал я. Так, вероятно, думал и Бубнов. Сердце упало.

Я знал, что полковник спуска не даст; всем было известно, что он не

только солдат, но даже старых своих офицеров бивал за проступки.

Это был старый, сухой человек, с белой от седин головой, такими же усами, с широким, растянутым ртом, в котором, должно быть, не осталось уже ни одного зуба, отчего он сильно шепелявил; приземистый, с широкими, приподнятыми плечами, в длинной, чуть не до пят, шинели, в какой то, синего сукна, с широкими полями, фуражке, которую не заменял шапкой даже в трескучие морозы. При ходьбе полковник всегда глядел вниз. Голос у него был визгливый, и первым его словом, при малейшем раздражении, всегда было слово—запорю,—причем он выговаривал его—„тапорю“.

„Старая крыса“, называли его в сердцах солдаты. Кстати, надо заметить, что старая крыса была большая мастерица по части русского национального изобретения, т. е. матерной ругани.

— Вот так ругается!—удивлялись, слушая его, даже такие головы, которым матерное слово было необходимо для речи, как соль для хлеба.

Вот к нему то нас вели теперь на расправу. И как же должна была укусить нас старая крыса!?

В штабе полковника уже не было, когда нас туда привели. Пришлось вести на квартиру.

— Только что куда то уехал, сказал конвойным на квартире полковника деньщик.

— А скоро вернется? — спросил один из конвойных.

— Не знаю.. Ничего не сказал.. сердитый.. ответил деньщик.

Конвойный, сильно раскуривая папиросу, при ее свете стал смотреть в записку.

— А ты не знаешь, где квартира адъютанта?—спросил деньщика конвойный, засовывая записку за обшлаг правого рукава шинели.

— А вон, как пройдет тот лесок, кивая на едва черневшую в стороне гривку сосняка, указал деньщик, будет влево тропинка; по ней вы прямо и придете к адъютанту.

Пройдя гривку сосняка, мы свернули

на три видневшихся слева огонька. Три, поставленные в ряд, маленькие халупки смотрели прямо на нас тускло освещенными оконцами. В средней квартировал адъютант командира полка. Адъютант сидел за чаем и был в веселом расположении духа.

У него должно быть в гостях сидел поручик, а впоследствии капитан, Чаленко.

Мы вошли в тесную халупку, и стали перед офицерами, обнажив головы.

— Зачем ходили в деревню?—спросил адъютант, прочитав поданную конвойным записку.

— Хлеба хотели купить, ответил я.

— А разве вас не кормят?

— Кормят, ваше благородие, ответил за меня Бубнов, только маловато, кажется. Съешь весь хлеб в обед, а к ужину то уж и не останется...

— А ты делай так, чтобы осталось,—заметил, улыбаясь, Чаленко.

Мы молчали.

— Придется их отправить к Акобжанову,—обратился адъютант к Чаленко.

— Нет, я попросил бы вас не отправлять их к нему, а то он им наверняка по пятьдесят палок влепит.. Ведь со старыми солдатами этого бы не случилось, а эти неопытные, ну и наказать их, на первый раз, можно полегче. А второй раз, я уверен, они этого и не сделают...

— Да, если бы знали такой предмет, ваше благородие...—начал было Бубнов.

— Не рассуждать с начальником, крикнул на него Чаленко, поднявшись со стула.

Бубнов, вздрогнув от крика, замолчал.

— По моему, отправить их к ротному командиру, а то так и прямо к взводному, и достаточно, продолжал Чаленко, опустившись на стул и обращаясь к адъютанту.

— Ну, так и быть, согласился адъютант и взял валявшийся на окне лоскуток чистой бумаги и, спросив какой мы роты, кто наш ротный командир, что то написал и подал кон-

войному, проговорив: „в 12-ю роту, ротному командиру“.

— Ну, благодарите вот этого офицера,—обратился к нам адъютант, показав на Чаленко, а то я накормил бы вас!

Мы, разумеется, поблагодарили обоих и вышли вслед за конвойными из халупы.

Теперь особенно бояться было нечего, мы шли к прапорщику Багрянцеву.

— Теперь, братишка, живем, смеясь говорил Бубнов. Молодец Чаленко, а то бы Акобжанов-от вправду нас заporол. Акобжанов был наш полковник.

— Можете идти, сказал прапорщик Багрянцев нашим конвойным.

Конвойные ушли. Багрянцеву, должно быть, очень хотелось запугать нас до смерти одним выражением своего лица.

Глядите мне прямо в глаза, командовал он. И на лице у него появилась такая улыбка, а в глазах такое выражение, что мы действительно не выдержали. У Бубнова все шире и шире растягивались губы и, наконец, он совсем оскалил зубы, а маленькие глазки его прищурились. Я не знал куда девать глаза, чтобы не рассмеяться, мельком скосил их на Бубнова и прежде, чем перевести их обратно на Багрянцева, фыркнул и быстро закашлялся, стараясь кашлем замаскировать смех.

— А, вы, дьяволы, смеяться!—заорал Багрянцев, и так влепил Бубнову ладонью в левое ухо, что и у меня в ушах зазвенело.

Меня же Багрянцев дернул по шее так, что я прямо на четвереньках ткнулся к нему под ноги.

— Встать!—заорал он, но я уже стоял на ногах.

— На восемь часов под винтовку... С полндй выкладкой... Без смены! Поняли?—гремел Багрянцев.

— Так точно...—ответили мы.

Идите к взводному. Да чтобы он сейчас же вас ставил.

Мы отправились во свояси.

— Беденькие, глубоко вздохнув

2 лист,

Кр 28.265



сказала нам вслед хозяйка халупы, где квартировал Багрянцев, но ее вздох не вызвал в наших сердцах никакого чувства.

— Вот так угостил, долговязый чорт, ругался по дороге Бубнов. Я думал он не тронет.

Я думал также. Мы еще до самого этого случая не видали, чтобы Багрянцев так дрался.

Стали вспоминать, как нас арестовали.

— Неужели ты в самом деле хотел меня избить?—спросил я Бубнова.

— Да, как бы не ординарец, пожалуй бы хватило дури, признался он. Уж больно ты рассердил меня даве... Ничего, слышь, не будет, не воровать идем!.. Я ровно знал, что на офицеров налетим.

— Да почему ты знал, что это офицерам не понравится,—подивился я его предусмотрительности.

— А потому, что я налетел одна, когда мы ище из Минска на позицию шли. Помнишь, где мы сутки стояли?

— Помню...

— Ну так вот. Пошел я едок то хлеба искать, завернул в один дом, думал там жида живут, и налетел как раз на офицера. „Тебе, говорит, што надо?“ Я, говорю, хлеба ищу, ваше благородие. Я тебя, слышь, вот накормлю“. Бубнов повторил ругань, слышанную от офицера.

Мы подошли к своим землянкам.

— Кто идет?—кликнул дневальный.

— Свои,—ответили мы.

Явились к взводному. Взводный, не преминув угостить нас по зубам, приказал одеваться с полной выкладкой под винтовку. Пошли в свою землянку одеваться.

В землянке был один Федосеев.

— Я так и знал, что с вами чтонибудь случилось, встречая нас, говорил он. Я дневальным сегодня, вот вам ужин.

Наскоро поели сушу и одевшись во все вещи, какие у нас имелись, вышли под винтовку.

Сергей Семин.

Шиповник.

Не пытаясь сесть в трамвай, всегда битком набитый, Николай неторопливо шагал по улице большого города.

Вспомнился приезд его в этот необычно шумный, после маленькой К., город. Ново было все: и многоэтажные с бесчисленными окнами дома—океанские корабли, и широкие, перерезанные стальными линиями трамвая, улицы, иногда протягивавшиеся на целый десяток верст.

Вспоминал, как вначале все это его ошеломило, сбilo с толку и заставило по целым дням сидеть в маленькой квартирке, не выходя на улицу. Как потом потянула к себе невязна, необычные шумы, не смолкавшие до глубокой ночи. Поразили роскошь и нищета, встречавшиеся рядом, каждая особо подчеркнутая.

Университет, куда он поступил, совершенно захватил его. Даже осенний, пронизывавший до костей дождь,

не мог заставить его пропускать лекции.

Новые люди, всегда необычно возбужденные, спорившие,—быстро вовлекли его в свой круг и он совершенно растворился среди них, сделался частицей их шумного улья.

Как-то остро почувствовал тогда, что в маленькой К. слишком мало учился, читал, и с жаром набросился на книги, просиживая над ними целые ночи.

Все, что осталось там в К., какая-то невидимая стена отделила. Появились товарищи по университету, с которыми весело проводил праздники, куреистки, участвовавшие в пирушках.

Образ Елены как-то ступшевался, когда прочел от нее последнее письмо.

Экзамены вспомнились...

И вот теперь, улыбаясь от мысли, что осенью будет на втором курсе,

он подходит к вокзалу, чтобы ехать опять домой.

Даже вокзальная толкотня, пронзительные свистки, визжание грузовых тележек, не отвлекли от мыслей, и он, ничего не слыша, протиснулся в вагон и уселся на скамейку.

Монотонное постукивание колес, ритмическое покачивание вагона, наконец постепенно смешали мысли, закрыли глаза и заставили заснуть.

А через два дня он ступал по кирпичным троттуарам родного городка, который встречал его занавешенными окнами и звонким пением петухов.

Где-то на мостовой гремела телега, но по сравнению с большим, шумным городом, Николаю казалось это невозмутимой тишиной.

Вечером, после сна, перелистывая дневник, попавшийся первым при распаковке чемодана. Изредка останавливался над страницами, исписанными мелко, неуверенным юношеским почерком год тому назад.

Сейчас он читал страницу, написанную 17 апреля.

... „около Н-кой улицы заговорили опять о настроениях. Во время этого разговора Лена обещала мне сказать «нечто», но потом передумала. Я настоял, и она несколько нерешительным голосом спросила:

— Правда, что вы ко мне чувствуете большую симпатию?

— Да, ответил я просто.

— А вы, должно быть, ко мне наоборот?—в свою очередь задал я вопрос.

— Почему наоборот?..

— Ну, еще хуже... Вы безразличны ко мне...

— Н-не знаю...“

— Промельстело и мелькнуло еще несколько страничек спянькой тетрадки, и снова он пробегал майские страницы дневника.

„Сегодня, да пожалуй, отчасти и вчера мне кажется и казалось, что Лена начинает разговаривать со мной как-то иначе. Нет прежних детских ноток в ее голосе, которые так нравились мне, так чаровали. Как странно, но мне кажется, что ее кто-то учит, как вести себя. И невольно

возникает вопрос: а чувствует-ли она чтонибудь по отношению ко мне? Не самообман-ли все? Буду вести себя, как смогу“..

А через день:

„Все вздор, что писал вчера. Какой глупый: „неволью возникает вопрос“... Она любит и оттого стала серьезнее“.

— И это я?—громко проговорил Николай, посмотрел на свою фотографию, только что взятую из чемодана и поставленную на маленький столик, потом взглянул в настольное зеркальце и, улыбнувшись, закрыл тетрадь.

Было 9 часов вечера.

«Хорошо на набережной теперь» — почему-то вздумалось вдруг и, не замечая, что делает, Николай надел пальто и вышел на улицу.

Вдруг усиленное обыкновенного забилось сердце и он поспешно зашагал к набережной.

Он знал, что сейчас будет,—сердце никогда не обманывало.

Через минуту встретился с Еленой, несказанно обрадовавшейся его приезду, но сам был мрачен. Только теперь он понял, почему при чтении дневника являлся вопрос: «неужели это я?»...

— И ты никогда не думала, что я могу стать другим? Не таким, каким был прошлой весной?... Разве не может это случиться? Ты меня понимаешь?

Он, видимо, искал слов; они приходили к нему как-то нелегко, не выражали того, что нужно.

Тщетно пытался он высказать, что накипело в душе. А нужно было — найти друга, который бы его понял, для которого душа его стала бы прозрачной как вода. «Нет, ей не понять меня» — мысленно произнес он.

Шли набережной. Справа таяло багровое зарево заката. Четко вырисовывались на тающем зареве деревья уличного бульвара, смокал, принимал ниже к троттуарам и мостовым уличный шум. Разбивал на тысячу осколков зеркало реки буксирный пароходик, причаливая последний раз к правому берегу.

Елена шла опустив глаза. Длинные, черные иглы ресниц изгиб синеватых бровей подчеркивали невысказанную гррсть.

— Да, никогда не думала... почти прошептала она, отвечая на его первый вопрос, еще ниже опуская голову.

— Не хотела думать!..

Она замолчала. Николай с нервно бившимся сердцем вполне понял ее.

Вспомнилась весна прошлая, ласковая, певучая. Куда-то тянуло тогда далеко—далеко. И вот пришла она, Елена. Взяла у него все дни. Он не хотел больше ни куда.—был с ней.

Как то майским вечером он уже слышал ее полусознательный говор:

— Мне так хорошо, Коля... быть с тобой.

Помнил, как против воли, подчиняясь неодолимому, коснулся ее губ. И было так светло на душе, так мало думалось тогда.

Лето пришло знойное, истомное. Зной и истома захватили Николая. Он забывал дни. Так незаметно они летели.

Работал мало. Стали являться думы о Елене. Да и она—едва только по белым листам тетради начинала скользить его рука, едва левая рука касалась волос и лба, белого высокого, едва локоть опирался о стол,—приходила, прилетала неслышно, как мотылек. Нежно обвивала его голову и он отрывался, закрывая тетрадь.

Шли без цели за город. Большая река по целым часам качала их в маленькой лодке на своих волнах. Они понимали друг друга. Город был далеко, люди тоже, а они были не одни. Все вокруг жило, смеялось: и вода, и небо и голубоватые дали. Бесконечно много говорили. Капризно—безотчетно меняли темы. А иногда, умолкая, подолгу всматривались друг другу в глаза. И странно, и вместе с тем так приятно было отражаться ему в глазах Елены и Елене—в его глазах. Они тогда двое были одно.

Помнит Николай, как на грудь ему в одну из таких прогулок приколотла она розовый цветок шиповника, иди коричневыми тропинками парка.

Облетели лепестки скоро. Осталась длинная веточка с шипами.

Тогда же были необычно веселы. Не заметили, как упала роса, поплыла по серебряным волнам выше и выше луна, потом стала бледнеть. Ветерок свежий предутренний бодряще дохнул.

И тогда-же отчего-то вдруг вспомнил он, что в петлице—шиповник и сделалось грустно грустно. Отчего-то жаль стало Елены. Жаль и в то же время нечем помочь. Знал чувствовал, что должно случиться что-то.

— Елена!..—вырвалось тогда у него.

Много сказать хотел, но вспомнил, что ничего не сможет, как и теперь, замолчал. И только надолго, опять отдаваясь неодолимому, прильнул к ее губам. Она ничего не заметила.

И вот случилось... Оборвалось еще там, в шумном городе, невидимом, но внутренне осязаемом, когда получил от Елены последнее письмо.

„Коля,—читал он в нем.—Я часто думаю от тебе... Почему?—не знаю. Утром, днем, ночью... Не могу не думать. Против воли думаю».

Все такое грустное, отрывочное. В груди тогда что-то задрожало. Надолго погрузился в раздумье.

Перегородка какая-то тяжелая разделила его на две половины.

Чувствовал, что не настоящая это жизнь,—в тишине, отгороженной от кипения дней, от настоящей жизни, жизни большого города с обостренной борьбой роскоши и нищеты.

А другая половина „я“ хотела той прежней безмятежности, тихого покачивания без весел на волнах спокойной, реки в маленьком бесшумном городке вместе с Еленой. Хотела подолгу смотреться в глаза Елены и подчиняясь неодолимому приникать к ее губам.

Он был в растерянности. Присмотрел ли он кипучесть жизни и всей душой ей отдастся или останется в безмятежности?—не знал.

Сегодня он первый день в этом маленьком городке с Еленой и уже говорит:

— И ты никогда не думала, что я могу стать иным? Разве не может это случиться?

Как и прошлой весной, в его петлице красовался розовый цветок шиповника. Елена любила эти маленькие розы и всегда любовно прикалывала их Николаю.

Догорали последние лучи заката. Николай и Елена сидели на скамейке. И ни он, ни она не могли объяснить, почему молчат.

Вдруг она, порывисто встав, обвила руками его шею, на секунду прильнув к нему, но тут же отстранилась молча, как-то необычно вздрогнув с потухшим взором: — уколол шиповник.

Ярко розовые лепестки смятые лежали на земле около скамейки и легкий ветерок уже тихо перекатывал их по желтому песку дальше.

Елена не знала кто, но чувствовала что Николая от нее оторвали, видела в его глазах незнакомое, чужое, холодное, от чего становилось страшно

и что так тщетно теперь старались скрыть ее ресницы длинные, черные.

Встали. Шли дальше. Легкий ветер шуршал листвою деревьев, нежно, как касание тонкой подвижной паутинки, скользил по лицу, доносил откуда-то запах шиповника.

А в душе Николая тот-же шиповник остался, оставляя острые шипы. Он хотел заговорить, но не мог. Что то навсегда оборвалось между ними.

— Елена!...—бессильно, но с надрывом произнес он, как тогда первой их весной, но больше ничего ни сказал и умолк...

Она поняла... Разошлись. С минуту Николай чувствовал уколы шиповника в сердце, хотел вернуться к Елене, но потом твердыми шагами направился в противоположную сторону.

Знал, что завтра уедет туда, в шумный город, примет всем сердцем кипучую его жизнь.

Сергей Селянин.

Через улицу.

(Рассказ).

Прасковья Сергеевна стоит у окна.

Видит: над сумеречным, мутно-засиневшим полем падает снег. Падает он частыми мелкими хлопьями. Даль, с перелесками и деревеньками, кажется затянутой сквозящим, колеблющимся неводом, серебряным вблизи и розоватым там, где в тучах слабо, розово, как бузиновая заросль, проблескивает заря. От сумерек, затканых снегом, в комнате полутемно и как-то особенно лениво и томно. Племянница Прасковьи Сергеевны Галя, высокая девушка, с лицом бледным, тонким и грустным, собирает чай, звенит стаканами, тонкими, оставшимися от прежней роскоши, ложечками.

Прасковья Сергеевна стоит и ничего не думает. Да о чем ей теперь и думать? Жаловаться на жизнь и надоело, и слишком больно, а, глав-

ное, бесполезно. Вспоминать, воскрешать прошлое,—незачем. А думать о прошлом, в сущности, так хорошо.

Ведь, Прасковья Сергеевна—эта вот сорокалетняя женщина в потрепанной кашемировой шали, скорбная старообразка; не так давно была богатейшей в округе раздатчицей пряжи. У Прасковьи Сергеевны был мужицкий ум, лисья хитрость; была она, к тому-же, гостеприимна и ласкова к своим заказчикам: окружные купцы и фабриканты звали ее „бой-баба“, а под пьяную руку делали на нее и „виды“.

Раньше в такие вот сумерки на дворе тянулись крестьянские возы, сытно, серебряно ржали лошади. Прасковья Сергеевна по долгу судачила с румяными, русобородыми, подвыпившими мужиками, поздним вечером любила отрезать жесткие, пахнущие

краской, купоны новеньких серий, а еще позже долго, умильно, со вздохами, молилась в своей теплой, янтарной от лампад и пахнущей смолой и черемухой от рдяного кадила, уютной „моленной“.

Теперь от прошлого осталась одна „молежня“, да и та потревожена: как-то, во время обыска, нашли в ней, за богатыми, изузоренными золотом-яхонтом, ризницами, другое золото: браслеты, перстни, деньги и дорогие безделушки.

В доме, большом, раньше убранном мягкой мебелью, люстрами, с хрустальными, отливающими бирюзой и жемчугом, подвесками, сельский совет; хозяйке оставлено четыре комнаты.

Сначала Прасковья Сергеевна отчаивалась, едва руки на себя не наложила, по скитам раскольничьим грехи замаливала, а потом захолодела как-то, безразличной стала: лениво просыпалась по утрам, лениво читала «четы-минеи» и лениво ложилась спать. Вот и теперь: стоит Прасковья Сергеевна и что ей делать вечером—не знает.

Толстая девка, последняя могиканша затейливой и богатой кухни, приносит самовар, долго обтирает его грязной, дурно пахнущей, ветошкой.

Снег за окном падает реже. Ярче проблескивает зоря.

Темней глухой снежный сад, черней сельские избы, небо, в расходящихся облаках, отливает синим: на улице легкий морозец, хрустальный, по мартовски свежий, бодрый и пахучий.

Галя вздувает лампу; густо бирюзовеют окна и темнеют углы.

При огне Галя еще лучше—прозрачней синие глаза, бледней лицо и мягче движения: похожа на царевну Несмеянну.

Она разливает чай, склоняется над книгой, скучает: хочется какойнибудь работы, а работы кроме вышивок по грубому полотну, да мытья чашек, нет.

Прасковья Сергеевна пьет чай по „старинке“: медленно, со вкусом, с блюдечка. Чаепитие оживляет, но больней заставляет вспоминать недавние—и такие далекие!—томливые предвесенние сумерки, мерный, скорб-

ный перезвон великопостных колоколов, рахат-лукум на серебряно-гравированной вазочке, финики в узорчатых коробках и в глубоких ящиках дубового комода пачки бумажек: синих, оранжевых, цветных, драгоценных и ничем незаменимых.

Прасковья Сергеевна вздыхает, ласково оглядывает Галю.

— А ведь ко мне хотела сегодня побывать Феоктистушка, потолковать, помолиться вместе.

И, грустно, не отрываясь от книги, отзывается девушка голосом успокаивающим и ласковым:

— Вот и посидите, самовар снова поставим, отдохнете.

К чаю выходит заспанный Вениамин, племянник Прасковьи Сергеевны по брату, (Галя по сестре), позевывает, с наслаждением курит толстую папиросу из «своего»,

Вениамин высокий, испитой. Лицо, с „римским“ носом и резкими, глубокими морщинами под глазами и над уголками красивых губ, измято. Глаза потухшие, скучные. Если смотрит в сторону, они становятся недоумевающими, изумленными, ищущими. Он бывший офицер. Подпоручик. По болезни освобожден из красной армии и зиму гостит у тетушки: она, по прежнему, добра и приветлива.

— Ну, как, спал? улыбается Прасковья Сергеевна.

— Спал, тетенька. Да и как хорошо: крепко и сладко.

Вениамин рассказывает по комнате. Вполголоса напевает:

„Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Никого теперь не надо вам,
Никого теперь не жаль“.

Останавливается у окна. Задумываясь, гоня мысли, вспоминает: белый зал, шансонетки, хлопающие бутылки, табачный чад, тройка в снежных равнинах, колокольчики.

Чувствует острую боль и глухую ненависть к тем, кто лишил его дней разгульных, шумных и беспечных.

Потом близко склоняется к Гале.

— Ну, а ты, читаешь все, скучаешь?

— Нет,—поднимает Галя прозрач-

ные, синим залитые глаза, скучать не скучаю.

И лениво, подергивая губами, усмеяется:

— А радоваться тоже нечему.

— Вот завтра, утречком, ласкает Вениамин мягкие, васильками пахнущие волосы девушки, по насту поедем-ка на лыжах—в поля, в леса. Проветримся.

Тетушка не знает, не догадывается: Галя, смиренница и жеманница, похожая на печальную инокиню, живет с Вениамином, любит его с жаром и хмелем первой страсти, первой любви...

Позднее, вечером, когда из окна видны только четкие, сеченные звезды, приходит Феоктистушка.

Феоктистушка, старуха раскольница, свежая, глухо повязанная черным платком, смиренная.

Прасковья Сергеевна рада ей, помогает ей снять шубку на беличьем, атласном, мягком меху, подарок богатого купца, усаживает на диван, сама хлопочет с самоваром.

Заходит Феоктистушка не часто, а когда заходит, живет по несколько дней, читает толстые, вековой пылью крытые, книги, поет в молельной тонким, плачущим голосом.

Сидят они за чаем только две, Прасковья Сергеевна слушает, а Феоктистушка рассказывает о последнем времени, об антихристе, что по святой Руси бродит, о Марии-деве Непорочной, о страшном втором пришествии.

— И будет оно, матушка, скоро. Знать чеповеку не дано, а скоро. Писано в святых книгах: будет война-лихойдейка, посля войны царство антихристово семь годов, потом отдохновения год, а потом снова смута великая, безвластие и...

Феоктистушка набожно крестится, шепчет:

Вострубят в трубы золотые архангелы, крест по небу, как пояс кровавый, растянется, и сойдет на землю грешную Иисус Христос и скажет, утирая слезинки хрустальные: «праведники одесную, а грешники ошуюю».

Помолчит. Попечалится. И снова:

— А видела я намедни, ночью, в мороз, при звездах, на небе два креста: маненький один, изжемчуженный, убранный, как радуга вешняя, а другой черный, страшный такой, на каком жиды Христа распинали. И борются это они между собой. И черный отпадает, ниже все, ниже, а тот по всему небу, как зорька восходная, разливается.

И так весь вечер. А потом уходят в молельню. Феоктистушка надевает очки и читает из старой, с застежками, кованными червонным золотом, книги.

И Прасковья Сергеевна слушает и не может пошевелиться: голос Феоктистушки вещий; в старину таким голосом в Русальную неделю читали, заговоры лунные творили, в теплый Навий день дорогих мертвецов окликали.

Слушает Прасковья Сергеевна и не знает, не думает, не догадывается: Вениамин тихо пробирается к Гале, в белую девичью свѣтелку. Осторожно раскрывает дверь. Озирается. В сумраке видит неясное девичье лицо, садится на постель, опускается головой к горячей, неровно дышащей Галиной груди и, тихо дрожа от муки сладкой и острой, от счастья, переполняющего грудь нежностью, глубоко и долго целует девушку то в раскрытые, горящие, похожие на опаленные солнцем цветы, губы, то в глаза и, прикикая к ним своими,—глубокими и впавшими, что-то хочет найти, что-то разгадать в их синих синих, глубинах.

Через улицу, за садом, где в низах берез проблескивает заря, а в верхах чеканится повитый облачками, ледяной перстень полумесяца, в маленькой избушке, оправленной подзором снежной—и оттого пахнувшей антоновскими яблоками—соломы, углем светится робкий, мигающий огонек.

В избе полутемь. Червонно вспыхивает железная печка. Жарко. На лавках, на полу—мужичьи и бабьи лица-теплые полушалки, окладистые библейские бороды, добрые русские глаза.

Целая сходка. И сердце сходки—немолодая, под пятьдесят, баба, с доб-

родушным лицом, серебряными прошивами на висках и умными, выразительными глазами. Бабу зовут Демидовна. Демидовну знает не только свое село, а целая округа: с 18 года Демидовна носит в кармане красный билет, за три года много дел на селе натворила: богатеев из домов выселяла, милиционеров к Прасковье Сергеевне обыском направляла, организовала „бабью“ комиссию, гремела на митингах и собраниях.

Теперь Демидовна только что вернулась из Москвы, со съезда. Там была слишком две недели.

А вернулась—и рассказывает:—

Приехали мы спервоначалу в уезд, пришли в уездный женский отдел. Встретила нас там заведующая.

Вот, родные, девушка,—оглядывает Демидовна слушателей,—отродясь такой не привидывала да и не увидишь боле. Встретила нас ласково, обходительно, о жисти нашей, о работе расспросила.

И таково-то ласково расспрашивала, до нежности понизив голос, снова подняла баба умные глаза, таково-то глядело любовно да доверчиво.

Сама она высокая, из себя видная. То сурьезной делается, нахмурится ровно, а то засмеется—да весело так, зазвучато, ровно жаворонок запоет.

Демидовна сделала восхищенное, радостное лицо.

— А послушали-бы вы, как она говорит. Слушаешь и все боле слушать хочется: головка назад откинута, рукой размахивает, а речь как изо лья лется—как ручей студеной шумит.

Поехала, и она. И дорогой, в вагоне, бабы так ее полюбили, что нянчиться рады с ней были.

Приехали, значит, в Москву.

— В Москве-то, чу, перебил из угла, довольно поглаживая бороду, румяный, здоровый мужик, мертвецы на улицах валяются, мясо люди жрут собачье: Веньямен Митрич, Прасковьи Сергеевны племян, а намнясь рассказывал мне-ка.

— А ты вот и слушай, развела Демидовна руками, разинь уши-те, он тее-ка и не то скажет.

И, чуть сердясь, продолжает:

Нет, хорошо в Москве. Порядок. Чистота. Страсть гоже.

Ну, вот, приехали в Москву. В номерах, остановились, вроде как на постоялом дворе, значит. И сколько тамой баб с'ехалось—уйма: прямое бабье царство! И деревенские, вроде меня, и городские, в шляпах да мухточках, и фабришные. И весело было по вечерам, ой, как весело!

У Демидовны разгораются глаза—молодыми становятся, ласковыми.

— Нешто допрежь думали мы, што в Москве быть могим?

А вот и были, да не побирушками ходили, а вроде как, значит, гости.

— А пить-есть што вам тамой давали?—вмешивается тонкая, худощавая, зевающая и закрывающая рот грязной черной рукой, баба.

— И-и, мила, ели-пили хорошо. Да не в еде дело-то главно...

Ты вот слушай:

Пошли мы на другой день на заседание. И пришли в дом аграматный, вроде дворца.

Как войдешь, Демидовна восхищенно поднимает руку, лесница кверху—белая такая, гладкая, ровно фата подвенечная, али крыло лебединое.

Первы-то разы и ступать боязно было да робко: как-бы не измарать, да не повредить.

А в лесницу войдешь—зало. Посмотришь, бабоньки, и диву дашься: ровно ты в лесу, коли он инеем разукрашен: так-то горит все, так переливается. На стенах картины разные, узоры, ровно на рушниках наших, в старину тканых.

— Ой, какая прелесть!—звонко восклицает дочь Демидовны, четырнадцатилетняя девочка, худенькая и смуглая, как шарманщица-молдаванка. Она лежит на полатах—оттуда светят глаза, а лицо улыбающееся и ласковое, похоже на лицо Золушки, нашедшей хрустальный свой башмачек. Она одна из внимательных слушательниц. Слушает она свою мать и вспоминает школьные сказки о палатах сказочных, о дворцах, златом-серебром расписанных. и считает мать счастливой из смертных.

А Демидовна продолжает:

И в эдаком-то зале—бабы-лапотницы.

Оглядывается. Еле уловимо усме-
хается. Наставительно стучит пальцем:

А потому они очутились тамой, что
советская власть у нас. Да...

Демидовна снимает платок, расче-
сывает обломком гребня сухие, седею-
щие волосы.

— Стали нам, значит, доклады де-
лать. Некоторые из маськоских каму-
нисток ровно барыни: в одеде глад-
кой да пышной. А разговоришься с
ними, чувствуешь: одна у нас душа,
одна—единая.

В печке потрескивают дрова. Из
сеней, через неплотно прикрытую дверь,
тянет запахом хлева—мятой, яблоками,
—молоком и соломой.

А в избе пахнет „танбовским“,
сальными онучами. Со стены, из за
угла, из за седой головы Демидовны,
выглядывает фотография Коллонтай;
она изображена красивой, с завитыми
волосами, словно модная декадентская
поэтесса.

Демидовна улыбается:

А во время одного заседания за-
ходил к нам и сам Ленин.

— Ой, ты?

— Он, самый он.

— Ну и што он, как?

— Чай, поди, в шолках да барха-
тах,—угрюмо, басом прогудел неслово-
охотливый, задумавшийся у печки и
беспрерывно курящий, мужик.

— И-и, родные, каки там шолка да
бархата: в прѣстом „спиньжачишке“
да штанах потертых. А лицом про-
стой, ровно наш пономарь Корнилыч.

Демидовна осматривается: так смот-
рят глубоко-религиозные люди: радо-
стно, доверчиво и благодарно.

— Взошел. Посмотрел. И ухмыль-
нулся. Еле замегно, но так любо—
век не забудешь.

Ну, вот, насмотрелись мы, значит,
наслушались, и когда закончили по-
шли раз, ввечеру, в театр. Ну, уж,
здесь совсем диву дашься:—ковры, зер-
кала, небель мягкая, цветы, а ахтеры
ровно на сам-деле живут. А главно-то
в театре опять почти одни рабочие—
родные лица, родные разговоры.

И опять у дочурки Демидовны, как
ранние звезды, особенно ярко и нежно

вспыхивают глаза. И опять она, лежа
на полатах, уносится в сказочную
страну, где золотое солнце, веселые
люди, пышные, благоуханные, краси-
вые цветы, такие-же, как и цветы,
красивые люди и возвышающие душу
звуки музыки—трогательной, тихой и
зовущей—как переклик журавлиных
стай в холодноватом, розовом Апреле.

И думает о матери, о том, что она
счастливица: на яву видела сказку. И
о власти думает: а хороша, видно,
власть нынешняя, везде допускает ра-
бочих да мужиков. Хлопает, скрипит
дверца: некоторые из слушателей ухо-
дят, изредка входят новые, больше не-
умная, гульливая молодежь. В дверцу
остро врывается холодок тонкой, бла-
гоухающей струйкой.

Бабы ближе подсаживаются к Деми-
довне. А она, усталая, все не унимается:

Коли ехали обратно, мне почему-
то враз и припомнилось: мблoday я
была, ехала из лавры Троицкой с бо-
гомолья, от мощей Сергия Радонеж-
ского, крестилась тамой, как дурочка,
головой о плиты каменные билась.

И вот, бабоньки, сами и сравните:
тогда ездили мы по монастырям—за-
щиты просили, зависимы были. А те-
перь ездим, как и все люди, по чело-
вечески, и не защиты просить, а по-
рядки устанавливать.

Что лучше: то или это?

— Да оно, конечно, взглянула на
Демидовну сидящая против ее баба,
не плохи и нынешни порядки. Только,
—баба глубоко вздохнула, — супротив
Бога иттить не должно..

— А кто молится?—живо вострепе-
нулась Демидовна, кто? И стала пе-
ребирать по пальцам: буржуй, кулак,
фабрикант, да,—Демидовна махнула на
окно, наша, вон, Прасковья Сергеевна.

— Ой матушка, тихой она стала,
обходчивой, смирехонькой.

Демидовна усмехнулась:

Волка связать, так и то он смир-
ным да тихим станет.

Демидовна встала. Сыскала шка-
тулку. Вытащила что-то завернутое в
чистенькую тряпицу.

— А вот и память от поездки: кар-
точка всех участников с'езда.

И развернула большую фотографию,

со множеством лиц, с узорчатой, вырезной комнатой дворца.

... А за окном ночь, прозрачная, мартовская, в голубых звездах, с пахучим, как сыченая брага, ветром.

За садом, теперь тихим, как сумеречный храм, за прошвами захолодельных берез, грустно, как больной старик, смотрит старый купеческий дом.

Там, в „моленной“, янтарной от лампад и пахнувшей кипарисом и черемухой—от рубинового кадила,—мерно, заглушенно и строго звучит речь Феоктистушки: так читали в старину, в русальную неделю, вещие заговоры творили, мертвецов окликали.

Прасковья Сергеевна, усталая, слушает. Слушает и не догадывается. В маленькой девичьей светелке, похожей на келью белой, белым платом повязанной инокини, Вениамин, склонясь над утомленной Галей, шепчет ей тихие слова тихой нежности—огневой любви. Галя, разметав по подушке волосы, пахнувшие июньскими васильками, то всматривается в синий узорник окна, где, словно золотые веретенца, чеканятся хрустальные лучи бледного полумесяца, то ласкает еще больше похудевшее лицо Вениамина, прикикая к нему с лаской покорности, благоговения и благодарности.

Слушает Прасковья Сергеевна Феоктистушку и не знает, не может у-

знать, а если-бы и узнала—все равно не понять ей;

...Когда изба пустеет, Демидовна, близко наклонясь к карточке, вглядывается в лица—долго, напряженно и внимательно.

Отыскивает лицо той, что в уезде ее встречала. Находит: простое, изящно-простое и умное лицо, внимательные глаза, пальто с пушным меховым воротником.

Демидовна задумывается. Сердце переполняется теплой нежностью—нежностью матери к любимому ребенку.

Потом бережно, как красное яичко от светлой заутрени, заворачивает карточку в тряпицу, убирает в берестяную шкатулку.

И ложится на печь. Скоро засыпает сном радостным и крепким...

А во сне видит:

Она в Москве. В толпе баб. И из всех выделяется та, что встречала ее в уезде. Она браторствует—размахивает рукой, белой, с точеными пальцами; у ней горят глаза, голос похож на песню весеннего, секущего лазурь, жаворонка, да и вся она напоминает скромную русскую весну—красоту Апреля, ласки тихих, теплых и туманных зорь, свежий, как сотовый мед, запах подснежников; так хороша эта редкая и чудесная девушка...

Ник. Смирнов.

ПЕРЕЖИТОЕ. (Из дневника солдата).

Теперь ночь. Уже второй час. Чтобы не ткнуться и не уснуть, набрасываю эти записки. Иногда засыпаю сидя. Под обнами тарахтят коваными тяжелыми колесами, мерцают фонарями проходящие мимо, освещая размытую дорогу, и я снова подбадриваюсь, гляжу на часы и набрасываю записки. Еще долго до рассвета. Не близко смена. Выхожу на улицу в нависшую серую тьму и снова вижу знакомую картину ночных переходов. Мелькнет фонарь по спицам колес, осветит зад лошади, двоях-троих, навьюченных мешками или ранцами и ружьями солдат на хлюпающей дороге. Лиц не видеть.

Слабо различаешь одинокие фигуры. Впереди кричат: „вправо держи, вправо—ишь ты чорт тебя“... Треск задешних одна за другую повозок покрывает крик. Снова иду в помещение и едва побарываю свой сон. А до рассвета еще долго. И даже погода стоит самая безрадостная: льет дождь, на улице слякоть, ветер гудит в оголенных сучьях осинника. Высунешь нос на минуту из халупы и снова прячешься. А невдалеке, как и всегда, ухают „тяжелые“, будто ударит гром и рассыплется, или не гром, а едут по мостовой скрипучие телеги с камнем, и сыплется камень, бьется один о другой.

НАД МОГИЛОЙ.

Летним вечером, когда заходит солнце и над полями стоит запах луговых цветов, а издали доносится грустная песня девушки, хорошо задержаться в поле, и бродить по некошеной траве, ловить шорохи в синеве умирающего дня.

Хорошо прислушаться при отблеске зари: о чем говорят могилы, разбросанные по лугам, — люди жившие, думавшие, а теперь затерянные в безвестных полях.

Вы идете дальше. И снова встречается могила, бескрестные, поросшие кашкой, повиликой и плакун-травой, пока серое небо не потемнеет и с реки не поплывет белый туман.

Я иду полем.

Вдруг до меня доносится шорох и чьи-то заглушенные стоны. Всмотриваюсь: справа погасает заря, слева встает жуткое и зловещее зарево войны. Звенит в берега алая от зари Стрыца, на лугах которой по ту и другую сторону едва вырисовываются холмики с белыми березовыми крестами. Теперь уже яснее доносится до меня стон.

И я вижу: обвила белыми руками березовый крест, склонила голову к подножью, убивается женщина. А рядом белая девочка непонимающими глазами смотрит на мать, готовая расплакаться.

Кто она? Откуда пришла? Мужа-ли, сына-ли видеть хотела? Из глухих, быть может, углов колокольной Руси ехала тысячи верст, чтобы выплакать горе, обвить руками березовый крест.

Тихо ступая, отхожу в сторону. Тихо над Стрыцой. В неясных шорохах вечера, в шелесте цветов все еще чудятся белые заломленные руки.

НЕВЕДОМАЯ.

Мы ехали.

Мимо окон вагона плыли города, села и поля, с поспевающей гречихой, подернутые дымкой.

Незнакомые, чужие, но близкие нам дамы и девушки махали нам платками, кричали напутствия. И мы, высовываясь из теплушек, отхватывали песню и под ляг железа снова мчались вдаль полей, в голубую дымку.

Остановились на маленькой затерянной в южных стенах станции.

Был вечер. В полях стлался белый пар. Издали доносилась песня парубка. Все было полно той таинственной тишины, в которой чувствовалась кинутая кем то и застывшая в воздухе мелодия. И вдруг где то близко-близко в степи затосковал грустный голос парубка:

Ви дівочі сині очі!
Чом слеза вас криє?
Як в вас гляну, з болю вяну,
Серце в грудях ние.
Ви зірниці серед ночі,
Сині очі, ви дівочі,
Хто вас гляне, зазирає,
Тому рай ся отвирає.

И долго еще грустил одинокий голос, то приближаясь, то удаляясь в степь.

К отходу поезда собралась вольная публика, бог весть откуда пришедшая к станции. Дали третий звонок, я бежал к вагону, и в это время услышал:

— Солдатик!

Обернулся. Стоит барышня — подросток. Густая пышная коса перекинута через плечо. Открытое русское лицо, глубокие глаза, немного пугливые и грустные.

— На память от меня, возьмите. — Она подала записку. Я взял и не знаю поблагодарил ли. В вагоне под ляг колес читал:

„Счастливым путь желаю вам, и чтобы вас вражеская пуля миновала“.

Я храню эту записку. Я и теперь ношу ее при себе, — этот розовый лепесток, — частицу души близкой мне и неведомой и далекой девушки. Она говорит мне о юге, о днях моей жизни, которые прошли.

Много лет прошло. Были такие дни, — удивляешься, как остался цел. И я смотрел на этот лепесток, носил при себе, верил в него и не верил, и терялся.

Я снова еду по той же дороге. И те же степи пошла. И те же станции и полустанки, похожие один на другой. И смотрю и гадаю: не здесь ли встретил ее. Неведомую? Приглядываюсь к лицам.

А поезд бежит. И не найти прошлое. И не разыскать.

ЗОСЯ.

На Фоминой получали подарки. Русь слала свой привет. Чужие люди стали родными не весть кто. Думали о нас, быть может, не спали, готовя добро.

Ящики разбили, табак, мыло, белье, печенье, пакеты закрытые, разложили на стопки, написали М.М. Ходил около Кузьма Малкин, — фельдфебель.

— Тащи, ребята.

Мы подходили, опускали руку в папаху, которую он тряс. тащили номер. А невдалеке за перелеском стонали орудия, трясли воздух и землю и халупа звенела распатанными стеклами. У позиции загоралась деревня и кровазое зарево ложилось на перелесок.

Долго не расходились. Каждый любовался своим подарком. В моем пакете оказалось письмо, маленький листок с теплыми сердечными словами Зоси. Кто она, я не знал. Но не все ли равно?

Я вышел на улицу. Старый черешневый сад, покрытый белой шапкой цветов, словно усыпан хлопьями снега, и черемуха, только что распустившая белые соцветия, вливали в темень весенний молодой запах.

Я бросил шинель под черешнями и при отблеске пожара писал Зосе. Слева потухал пожар, справа от снарядов загорались стога сена. Гудела земля, стонала от грома орудий, и гул охающий, тяжелый, как гром, качал воздух, тряс листву на деревьях, проплывал в дымчатые поля и таял в Каменец-Подольских равнинах.

Я писал и думал: куда же послать письмо? Адреса нет. Зося, Зося!.. Но все равно — писал и писал. Хотелось сказать ей, как мне хорошо.

Стемнело до того, что нельзя уловить строк.

С улицы доносится крик, стук кованых колес артиллерии. Тарахтят повозки. Замелькали в обозе стонки: — выстушаем.

НА ОТДЫХЕ.

Весна установилась ранняя, а на Страстной и дороги просохли. Дни солнечные, теплые. Жаворонки в поле напевают, и двигается в рост трава. Вдаль глянешь — поле бурое весеннее, и течет над ним пар, дымок синий, а еще

дальше — облака белые грядой; только как взглядишься, — не облака это, а горы высокие, белые, — Карпаты. И видно: танутся в горах гряды перевалов, отрогов гор. Вспыхнет дымок белый и уж потом донесется выстрел, раскатится по полю в текучем воздухе синем. Пройдет дивчина до стодолы — окликаешь:

— Зачекай, паневочка, зачекай, по-размовляем трохи

Остановится, глянет:

— Та чому ні?

А сама смеется, прислонит ладонь к глазам, на солнце глянет. Высоко еще солнце. И побежит до стодолы, обронит:

— Весняно.

Выйдет русня господарь из халупы, на завалинку сядет, закручинится, набивая тютюном трубку.

А день тянется: не на убыль, на прибыль идет. Окликаешь пана.

— Чего, пан, закручинился?

— Э, хлопська доля! — И глядит на горы, на полосы бурные.

Думает пан-господарь: запашку бы делать надо, сеять пора. Да как тут сеять и чем? Как утикали австрияки, все забрали, — жито, семена, обсеяться нечем.

А что сумели сховати, с'ели до весны. Взглянет на полосы, вздохнет тяжело, скажет:

— Як будемо? Як будемо! Або жити, або вмерти.

ВЕСНОЙ.

Пасха выдалась на редкость теплая. Вышли дивчата польку танцовать, хустками размахивать, — солдаты тесным кольцом.

А на йрүгой день австрийцы стрельбу открыли по селу. Снаряды недолет делали, рвались у озера. Дело виданое — стрельба, пошли за село к озеру. Снаряды падали в воду. Видно было: упадет снаряд, взметнет столб воды и песку, оглушит рыбу и поплывет она по верху, блестя чешуей.

Лодки отвязали, поехали вылавливать.

— Ай да австрийцы, угостили рыбкой, го-го-го!

— Еще разочек! Ахни-тка, приснорвься! Всем надо попользоваться.

Вылавливали наскоро сделанными из рубах сачками и бросали на дно лодок. На мелководьи у берега, засучив штаны ходили ребятишки, стараясь поймать руками вынырившую около них рыбу.

— Трымай. трымай до кешени.

От того, что весна зеленым туманом окутывает рябиновое подгорье, зацветает черешневое прилесье и на лугах невидимые руки ткуют цветные ковры, — не спится ночами. Звенит девичий смех и за околицей песня. По голосу слышно — поет Мыкола Веретюк. Весна разбудила в нем грусть тихую, по Дунаю реке, по слободке родной, по серебряным мостам Гали и тын-частоклу своей хаты.

„Тихий Дунаю, зеленый гаю,
Быстро текущий, в хвилю ревучий,
Вас я благаю, грудь облегчите,
Висть принесите з ридного краю.

Только один голос и слышно, как серебряную струну. И плывет он над отрогами Карпат, над увалами, вдоль черной ленты Днестра.

Мисяцю ясный, зорьки прекрасни,
Божии очи з тэмной ночи —
Вас я благаю, грудь облегчите,
Висть принесите з ридного краю.

Тихой тоской, грустью звенит голос. Боль непередаваемая в нем.

Орленьку сизый, соколе быстрый,
Що в вик на воли, в завидный
доли, —

Вас я благаю, грудь облегчите,
Висть принесите з ридного краю.

И замирает далеко-далеко за теменью; может быть и там, у австрийцев, кто нибудь слышит его:

Висть принесите
З ридного краю.

А ночь то какая! Паникадила зажглись, качаются, как огоньки, как лампадки на подвеси, звезды. И над землей на взгорьи за туманом дымчатым качаются огоньки: вспыхнут и потухнут и в другом месте поплывут. И уже спустя минуту, как тяжелый воз с камнем, докатится гром выстрела.

МУЗЫКА.

Мы входим в Тлумач. Улица — пустыня: ни одного человека. Почти весь город ушел за своими войсками, а кто

остался — не показывается на улицу, выжидая внутри домов. Дома на замках, закрыты ставнями и заколочены.

По приказу начальника мы отрываем ставни и взламываем замки, чтобы разместиться. Под команду отведено 5 домов. Видно: жители покидали город на спех, — кровати застланы мягкими и чистыми одеялами, как были, в шкафах белье, одежда, посуда, серебряные ложки. Выселенцы взяли с собой только то, что было на себе.

— Важно мы здесь устроимся, — говорят мои сотоварищи, отворачивая доски.

В домике разместилось нас пятеро. Осмотрев ящики буфета и прерыв белье, обозные садились за рояль. Огрубевшие от коновязей и навоза пальцы, никогда не касавшиеся рояля, тыкали в клавиши, и рояль звенел надтреснутой болью.

— Нет, — это мое место, — кричит Ломов вновь пришедшим, намеревавшимся устроиться на кровати, — я раньше занял.

Он отставляет положенный на кровать ранец, а сам растягивается с ногами на одеяле.

— Мое место.

— Как бы то ни твоё!

— А вот и мое. Оно было занято.

— Я тебе, собака эдакая, дамную бока, только составь... составь только.

— И составил.

— Я тебя, пес паршивый.

— А ну-ка? Подойди?

— Чего вы, черти, срезались. Экие дьяволы. Да вот место, чем плохо, — кричат из угла, указывая на рояль.

На рояль переносится ранец. На него влезает Хватков и, лежа, тычет пальцами в клавиши.

— А и верно — знатно. На музыке буду спать... Я вас по утрам будить буду музыкой.

От музыки содом. Невероятный звон рояля режет уши. Снова перетрясается имущество. Юбки, простыни, полотенца перекаладываются в ранцы, из за них идет спор, вещи вырывают из рук в руки.

— Эту юбку я газдыне подарю. Эх, и погуляю за нее.

— Возьми уж и штаны на придачу.

Ну и ну... Смотри, с кружевами. Какаянибудь молоденькая панночка носила.

— Это уж ты сам на себя одевай, по крайности чувствовать будешь.

Чистенького домика не узнать. Одежда измазана грязью и дегтем сапог. Мой сосед скребет тело и в складках одеяла развел насекомых. Домашняя утварь на полу. Нерасхвачанное белье выброшено из ящиков, его топчут, и оно похоже на тряпки. Шелковый полог коляски ободран, в коляску набросали поты, кое что из одежды, и она служит вместо стула; рессоры у ней разогнулись.

Проспавшись рано утром, Хватков протягивает руку и тычет в клавиши, от этого стоит надтреснутый звон.

— Вставайте, — кричит он. — Ого-го. Черти!...

СТОЯНКА В САДУ.

Яблони гнутся от спелых яблок. Тихой ночью падают они, ударяясь о землю. А утром ходят панны, собирают их и носят корзинами, еще влажные от росы и ароматные, в кладовую. В садах начался сбор.

Обоз идет по узкой дороге; по сторонам плетни, а за ними яблоневые и грушевые сады, полные аромата и фруктов.

— Стой! — командует ротный.

Обоз встает. Ротный верхом летит в кривой переулочек в поисках коменданта. Человек десять, бросив лошадей, перескакивают через плетни по ту и другую сторону, трясут деревья и через минуту насыпают конские ведра яблок, груш, слив.

— Оп, Оп! — покрякивают они, перебрасывая яблоки на дорогу, — держи!

— Эх, черт те дерн! и места здесь, — не удерживается Хватков. — Вот бы где постоять важно...

Ротный возвращается не скоро. С ним помощник коменданта.

— Вперед, — командуют они и обоз идет дальше. Тонут в садах белые домики. При выезде из местечка замок с вышками и башнями, похожий на костел. Ротный поворачивает лошадь к воротам замка.

— Сюда! — командует он.

Мы под'езжаем мимо цветников и бассейна по хрусткому гравию к замку.

— Лошадей ставить в саду, нижним чинам разместиться в оранжерее, — отдает он приказание. — Командный состав в вестибюль замка.

Вечером горят в саду костры. Лошади привязаны к деревьям. Они грызут сочную кору, обрывают ветки; когда натягиваются повода и они дергают головами, с деревьев сочно скатываются на влажную, покрытую росой, землю фрукты. Обозные напоили лошадей, но все еще ходят с ведрами туда и сюда.

Если заглянуть в ведра, в них наполовину яблок, сверху покрытых травой. Впрочем никто бы их и не стал поверять и без этой предосторожности.

Два три конских ведра фруктов высыпаны и в вестибюле у офицеров.

Наступает ночь. В оранжерее раскалилась за день стеклянная крыша, нечем дышать, поэтому все разместились в саду около повозок под фруктовыми деревьями.

Костры гаснут. Скипел чай в железных ведрах; мы попили чаю, поели разогретых консервов, пора спать, но не спится.

В боковом окне замка дрогнул, как слеза на реснице, робкий огонек. Кто то не спит, таится, думает свою думу. Я долгу гляжу на огонек и тоже думаю: вот по этим дорожкам желтого песку и гравия у газонов и бассейна, быть может, целые поколения проводили лучшие свои годы, расцветала любовь, вечерами в праздники плавала над садом музыка, всыхивали бенгальские огни, а на пруду за садом, таком большом, как озеро, покачивались лодки и плавали лебеди; а теперь непрошено вошли чужие люди, топчут газоны, и лошади оставляют грязный след.

ТИХО.

Белые, белые, словно лебеди, взвились к небу усталые снегом высокие горы. Из за Загорья по ущелью каменному кавалерия идет, в долину тихую, безветренную, на Сучаву-реку. Гибка Сучава, извилиста. Что звенит, что

поет, о чем говорит хрустальная, ска-
тываясь по камням? С одной стороны
гора, камень сплошной, с другой—за
Сучавой—лощина. По лощине лазареты
раскинуты: палатки из теса, на поло-
вину врытые в землю, меж двух тесо-
вых стен земля насыпана. У лазаретов
раненные,—тот руку на подвеси держит,
у другого голова забинтована, иные на
костылях—ждут перевязки, жмурятся
на солнце, синий дымок табачный
пускают кверху.

Тихо проходит кавалерия вверх по
Сучаве. Смотрят здоровые на раненых,
раненые на здоровых, посмотрят— слова
не скажут; а хвост кавалерии все тя-
нется из за горы, хрустит гравий под
копытами. Прошли, за ущельем скры-
лись. И снова тихо; только дымок та-
бачный синий плавает над головами.

Будто и не война здесь. Будто сидят
люди далеко-далеко от грома за ты-
сячи верст, в тихой Руси колокольной,
среди полей своих тихих у хрусталь-
ной реки, не весть о чем думают, гру-
стят грустью тихой. Что слова? Облег-
чишь ли ими душу? Боль выскажешь ли
свою?

А из гор нет-нет да и донесется
гром. Перебросит его по Сучаве хру-
стальной, по лощине тахой, по низине
перекинет, отнесет бог весть куда
вдаль от горы к горе в загорье.

Вздрогнут застигнутые в раздумьи,
глянут в ущелье за сизую дымку, ждут
и ловят ответный удар. Глянут на
горы. Ну и горы! Голову надо запро-
кинуть, на них глядя. Белые, белые,
словно лебеди, вершины гор; не понять,
не узнать, что за ними, не взобраться.
Грусть тихая окутала их.

Одни выходят, других выносят из
перевязочной на носилках. Бледные,
тихие, покорные, в белых повязках, с
широко открытыми глазами, будто уви-
дели они что-то другое, более значи-
тельное и важное...

НОЧНОЙ НАЛЕТ.

В три часа ночи раздался страшный
взрыв. Зазвенели и посыпались из окон
стекла, а от сильного толчка заходила
земля.

Мы повскакали с пар, на спех схва-

тили чьи попало сапоги и шинели и
выбежали на улицу. Над городом летало
пять или шесть неприятельских аэро-
планов и раздавались их трескучие
шумы. Было еще темно. Вверху в блед-
ном полумраке светились звезды, без-
лунная ночь близилась к рассвету.

Только что мы успели выбежать, как
новый взрыв потряс землю. Дрогнула
земля и близко над головами прозве-
нели брошенные взрывом осколки от
бомбы и камни.

— Ай-яй-яй,—заголосила женщина.

Из домов на улицу выбежали заспан-
ные саперы, артиллеристы, женщины и
дети и бросились по улице.

— Женщину убило, так и разнесло
в клочья,—крикнул кто-то, а другая
женщина, испуганная взрывом, все еще
кричала „ай-ай ай! батюшки“!

Мы побежали за угол. Из под кучи
бирючка и дерева выползала окровав-
ленная женщина.

— Трах! т-р-рах!—разорвались со
страшным треском новые бомбы.

Вспыхнули солнечно-белые ленты
прожекторов,—огромные спицы шарили
по небу, пересекали одна другую.
Скрываясь от прожекторов, ныряли в
темень воздушные пираты. Ударил
пушка—и белым снопом высоко вверху
разорвалось пламя, застучали пулеметы
и одиночные ружейные выстрелы.

Из 50,000 жителей в Тарнополье едва
ли кто спал эту ночь; с замираньем
сердца, покинув кровати и дома, бро-
сились люди в подвалы, бежали за город
на поля; распахнулись двери костелов,
принимая перепуганных жителей.

До 30 бомб сбросили аэропланы.
Разбило в щепы четыре дома, оторвало
угол вокзала,—огромного каменного
здания,—гулом в стеклянную пыль
разнесло стекла окон более чем у пол-
города, убито до двадцати вольных
жителей и несколько солдат. Одна
бомба упала у коновязей и распласта-
ла до десяти лошадей.

Начало светать. Шум аэропланов
смолк, и только днем видно было кар-
тину разрушения: все троттуары осы-
паны мелким толченым стеклом.

Мих. Артамонсв.

Глаза Кургана

(рассказ)

Тихо звенят горы... Ворчат, рокочат в ущельях голоса гудков. Тонут нити паровозных огней в черных безднах, и змеятся, и пляшут в глубине красным шелком. Тени ползут бесшумно и набрасывают черные плащи на молчаливый лес.

Как заповедный часовой, старый курган врезался в звездное небо каменной шанкой и напештывает давние были и сказки.

Полукольцом сидят красноармейцы и дымят глазами на голую вершину.

Ночь встала на часы. Кто, сильный, поборется с ней, пока нет солнца? Слово ей, закутанной в черный плащ стало скучно от безделья и дрема ододела—зашептала шорохами, стопами, писками, потом неожиданно прошлась вихрем и распустила крылья испугов. Шаловливо ударила по струне.

—Дзи-и-и-и-иннь!

Покатился звук четкими колечками и яркой веревочкой зарылся в ущельях. Красноармейцам чудится... кто то шепчет...

Настораживаются.

— Тсс!

— Что-о?

— Голоса, товарищи... вы слышите?

— Ты заснул, Панек!

— Не беда, если и почувилось тонко... но.. слушайте... так ясно.

— Морочишь ты.. черт! вспыхивает голос в испуге.

Но другой, тихий голос дрожит:

— Не разберешь, а точно...

— И ты? Сергей! ты что задумался?

Сергей, высокий красноармеец, несколько минут сидел неподвижно.

— Ты давно ничего не рассказывал, Сергей...

— Да... Давно... А вот здесь, сейчас вспомнил начало всех историй, какие уже рассказывал... Хотите—расскажу?

Не только красноармейцы, и ночь прислушалась: не журкнет, прикрылась тишиной. Голос Сергея—единственный звук в мире.

— Такой же был вечер. Точь в точь

также спряталось солнце, заснула Волга. А как буду сравнивать дальше—вижу разницу... Эх, братики, хочется побывать дома... Что там думают? И вдруг опять увидел глаза...

— Ну-ну?

— Что бы не сбиться—начну по порядку...

Я и брат сидели здесь после рубки дров в ожидании лодочника, который обещал нас перевезти на тот берег.

Мы сидели молча.

Смотрел я на Волгу. Живой речью заносит мне сердце. И будто шепчет мне: „Спроси людей, почему они не радуются“. Солнце светит, на всех хватает ласки, а сердцу человеческому тесно, нет для него воли. Чуть чуть поднимает грудь свою, словно ночь темная давит ее. А звезды, как крохотные фонарики, проникают в глубину ее прозрачного тела, узнают все, что люди не могут узнать.

А тут и ночь начинает возиться. Стоп... Писк... Тянут совы, как над покойником и верно каторжные люди прячуся от господского суда. Товарищи, хотелось и мне крикнуть вместе с ними: „Эх, мы каторжные! Не лучше ли утопить эту жизнь да с этой ночью и стопами в речном раздолье? Зачем, про что живем мы, проклятые?“

Как вспомнил жизнь, так она и встала передо мной, как живая. Стоит и влязом не моргнет.

И хоть бы красивая была да нарядилась, а то в лохмотьях, худая да жалкая.

Да, кому не в память то времячко, в испугах забитое, тошное до слез? Корячились мы, болели... Молчали, а боли-то складывали на одно души. Ни бег, ни черт не брали их в подарок. Так они и давили нас одних, каждого в одиночку. Раздавят одного, а другому аркан набрасывают, душат. А мы еще сильнее причес думы. Сложишь одну, другую, а душу застегнешь на тысячу застежек. Как же: друг друга боялись! Своих боялись. На улицу смотрели

исподлобья. Вспомните, кто жил в деревне. Как зазвенит колокольчик да ударит кнутом ямщик у околицы—прячемся. Кто из города, кто из села, спешит к нам, всем говорим: „чужой, кабы не подслушал“.

Был у меня дед Ефим. Этот при жизни своей умер. Так все мытарства перешол. Был продан, был бит, в тюрьму сажали, а душу неправдой вымотали. Сначала живой был, непокорный и суетливый, а потом так спрятал свою душу—замолчал. Лежит бывало, на печке, слабый да одинокий, и все думает, думает. О ком ли? О чем ли? По глазам видно—болит за нас себя похоронил. Ненавидит лохмотную жизнь в прокопченной грязной избе... Иногда вскочит, крикнет: „Ироды! Ироды!“ Всех перепугает, отвернется к стене. Ктонибудь спросит: „Кого ты бранишь?“ Молчит, или скажет сердито: „Не ваше дело... прикилось.“ А, каково? Не ваше дело? А ведь за нас болел... Так и умер, не сказал своего последнего слова... Ну а мы остались жить, живем...

Сергей сплюнул и покосился на Кургана.

— Дальше, Сергей...

— Ну, живем?

По ущельям вновь прокатились колески жженой стали:

— Дзи-и-и-инининь!

— Живем... Была минута в тот вечер, так же зазвенело тогда в горах. А потом загудела Волга. Так и бьет крутой берег, так и мечется во все стороны... Гром ударил. Жутко стало, а сердце радовалось. Я смотрел на курган и допытывался, о чем он думает, какие скрывает тайны? Сажу и чего-то жду... Станным стал! Брат зовет меня на пристань, я не двигаюсь с места, и он почему-то не настаивает. И точно ветерок щекочет ухо, а с ветерком вдувает в уши невидимый: „Смотри сильнее!“

— Здесь страшно, . говорит брат.— Уйдем... лодка не придет.

— погоди,—отвечаю я. И опять шопот: „Смотри!“ И хотел встать: что за чудо?—не сойду с места! Слышу

около меня хрустнуло... Заклохтал мелкий камень, точно его давили сотни ног. Потом над моим лицом, как молния, блеснули большие, красивые глаза. Отвернуться бы—тянут, закрыть бы глаза—все равно вижу. Такие диковинные глаза! Так душу мою всполоснули! В груди стало жарко. В голове застучало. Такую силу почувствовал я в те минуты, готов, кажется, был все горы по камешку раскидать. Все позабыл, все заслонили красивые, огненные глаза. Они выходили из сердца кургана и брызгали искрами во все стороны. А голос в уши трубит мне заочно: „Иди, передай мои глаза таким же, как ты!“ Как только смолк голос, так и глаза исчезли.

Чувствую, брат тащит меня за рукав, торопит идти. И мы не стали больше стовариваться, в один миг отмахали пять верст и явились на приставь. И дивуюсь сам себе: почему я раньше не видел, как багровеют лица у носильщиков, когда они навьючивают на себя кули и мешки? Уже не могу равнодушно слушать, как в другом месте тянут „дубинушку“. Дерзость вошла в меня, разожгла все тело. С тех пор я одно думаю: Глаза меня зовут к новой жизни, к людям, чтобы вместе с ними раскрыть тайны кургана. С тех пор я иду вперед, слагаю про глаза песни, и в каждом бою их буду петь.

Сергей умолк.

Красноармейцы повскакали с мест. Глаза всех впились в черные брови Кургана. Загудел ветер, застонали ущелья и красные пароходные огни в упругих гребнях волн разломались на куски.

Ночь опять зашалаила, скрывая свои кости в черном плаще, но на востоке уже резали черный бархат две ярких дорожки. По ним на землю шло утро.

Самара 22 мая 1921 г.

П. Яровой.

ХУДОЖНИК

(По Левитановским местам.) (Очерк.)

Тихо и грустно, напоминая жалобу, разносится в прозрачном, как хрусталь, весеннем воздухе, стук топора. Откуда этот грубый и такой необычный в старом Плессе—звук?

— Это рубят старые «вишневые» сады. Они дожили свой век: старинные аллеи, с клумбами, напоминающими рдяные чаши, с тенью и влажным холодком уступают свое место... огородам.

Огородов раскинуто в Плессе такое множество, что Плесс с полным правом можно окрестить трудовой колонией. На огородах работают все: в «бывшие», и рабочие, и студенты из техникума, и швейки, по праздникам одевающие дешевые шляпки с перьями и читающие сочинения г-на Писемского, и местные интеллигенты. Под огороды занята каждая свободная частица земли. Под огороды не пожалели и «вишневых» садов—красоты Плесса.

Человек — материалист, человек — скопидом и приобретатель не считается ни с чем. Не будет у него бумаги для цыгарок, он искурит Данте и Пушкина. Не будет дров, он расщеплет рояль. Нет у него вблизи земли для посадки картошки—засучивай рукава, бери топор и руби.

И он рубит. И звуки топора печальны и тихи. Они похожи на жалобу. Похожи на жалобу и шум падающих деревьев—стройных, розово-белых, как подвенечная фата, яблонь, опутанных серебряной паутиной тополей, нежных, как вуаль, вишен и хмурых, напоминающих о старине, о Ливане, о Библии, задумчивых кедров.

А человек, уставший и вспотевший, рубит и рубит. Рубит и улыбается. Улыбается и радуется:

«Эх, и много же вырастет у меня здесь к осени картошки!»

* * *

Дни светлы и лазурны. Благоуханно пахнут сирени, убаюкивает серебряный блеск Волги, в вершинах плакучих берез шумит пахучий ветер, по утрам плачут, как невесты о далеком женихе,

кукушки, а по вечерам, за Волгой, девушки поют старинные, хороводные и русальские песни. До революции начало мая—боевое время для Плесса: приезд дачников. Сдавался под дачу каждый дом и домик. Владельцы уходили в амбары, сараи и на «сенницы», а жилье все таки сдавали «дашникам».

Тогда из столиц приезжали сюда богатые дельцы, усталые от «Яра», цыганок, шампанского и песенок Вертинского, прожигатели, ехали отдыхать салонные завсегдатаи и буржуазная интеллигенция, высшее чиновничество, маклера и подрядчики, шуллера и развратники, кушцы и фабриканты, а реже—интеллигенты средней руки, «талантливые неудачники», «огарки»—мятежные и неуспокоенные, больные души.

Волна дачников занесла сюда Шаяпина и Найденова. Это было давно; пишущий эти строки был еще 13—14-летним подростком.

В воспоминаниях моих осталось:— базарный день, крестьянские подводы, запах колесной мази, «сахарного мороженого» и в стороне, около лавок, в группе любовитных большой, кряжистый, плотный, мясистый человек в охотничьей зеленой тужурке и с большим «пакетом» семечек. Говорил он густым басом, по ребячески просто усмеялся и быстро грыз семечки.

— Ишь, как щелкает здорово, заметил кто то из кучки.

— А эфто, говорят, для голосу, перебил лавочник в чуйке и с кнутом; он у меня утресь зараз пять фунтов взял их. Шаяпина просили спеть. Отказался. Но, кажется, он пел в усадьбе европейца-барина Шуленникова (4-5 верст от Плесса). Найденова я видел часто. Помню темный «Гарольдовский» плащ, тонкое, грустное лицо, цветы на окнах его дачи. Помню свое благоговение, (я уже тогда больше солнца любил литературу), его остроумные рассказы о средней школе и, как нечто недостижимое и таинственное, толстые «общие» тетради на его столе.

К Найденову приезжал Чириков. Всего на несколько дней. Единственное, что запомнилось—то, что ходил он с непокрытой головой—„крестным ходом“,—как говорят старые люди.

А путь в Плесс, как в уголок «русской Швейцарии», как в уголок, где не было ни железной дороги, ни мостовых, ни шума, ни грохота, открыл Левитан, большой русский художник, грустный, как грустные полевые дали, нежный в своих произведениях, как ветер весенний, и восторженный, как тихий жизнелюб Алеша Карамазов:

* * *

Плесс стал известен через Левитана. Левитан стал известен через Плесс.

Первый раз Левитан попал в Плесс в 1888 году. Через год, через два, он провел здесь еще несколько сезонов. Приехал он сюда еще не знаменитым поэтом русского пейзажа; звезда его только что всходила, и период его известности, период расцвета его прелестного таланта только что начинался.

Путь Левитана художника—путь каждого русского таланта. Чтобы достичь известности, чтобы стать „признанным“, Левитану пришлось потратить слишком много сил, энергии, воли, а вместе с этим испытывать и всяческие материальные лишения.

Около 1896 года Левитан, уже имевший звание „классного художника“, две серебряных медали и несколько картин на XIV выставке передвижников, писал одному из своих родственников:—

„Извини, что я так долго не присылаю денег: тому причиной страшное безденежье, безденежье до того, что я как то не обедал кряду три дня. Думаю скоро иметь деньги; тогда, конечно, отдам“.

Исаак Ильич Левитан родился в 1861 году, в м. Кейданы, Ковенской губернии, в семье обеспеченного, но быстро разорившегося еврея.

Детство его и юность были неласковы и холодны. В 1873 году он поступил в училище живописи и ваяния. Находясь в школе, сильно бедствовал. Но учился усердно. Работал над собой кропотливо и горячо.

Расцвет его таланта, а вместе с тем и улучшение жизненных условий относится к 1888—1890 гг., к первой поездке на Волгу, к первым картинам, написанным в Плессе и в Тверской губернии. В Плессе Левитаном написаны: „Вечер“, „После дождя“, „Тихая обитель“ (шедевр Левитановского творчества), „Свежий ветер“, „Золотая осень“ и целый ряд других картин, этюдов и набросков.

* * *

Положение Левитана в русской живописи исключительное.

Левитан тонкий, вдумчивый и интимно-нежный поэт русской природы, русского пейзажа.

До 70-х годов 18-го века русская живопись очень и очень мало уделяла внимания пейзажу. В то время, как в литературе, со времен Пушкина, пейзаж описывался с такой внимательностью и любовью, живопись наша была в большинстве жанровой или батальной.

Много ли у нас художников-пейзажистов?

— Соколов, Коровин, Саврасов, Васильев, Шишкин и Левитан. Левитана необходимо выделить. Левитан, прежде всего, поэт, влюбленный в природу, глубоко ее понимающий и высоко ее ценящий.

Эскизы его обычно сравнивают с описаниями природы у А. П. Чехова. Это, отчасти, верно. Но еще верней, если сравнить их с зарисовками у Бориса Зайцева.

Их особенно сближает теплота, задушевность, хрупкость красок и тонкость любовной, до мелочей продуманной, отделки и чеканки.

С таким же успехом можно сравнить картины Левитана и со стихами И. А. Бунина.

«Золотая осень» на полотне Левитана и «Листопад» в первом томе Бунина, Левитановская «Березовая роща» и «Там иролга, как флейта распевала, там утреннее солнце припекало» у Бунина красноречиво и убедительно говорят за это сравнение.

— Как должен писать истинный поэт?

— А. П. Чехов отвечает на это в своей чудесной «Святой ночи»; он говорит словами посл Иушника еронима:—

«Нужно, чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно.

Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего».

Тоже и художник. Здесь надо, чтобы гармонировали каждый штрих, каждый излом, каждый оттенок.

И у Левитана это заметно более, чем у кого либо другого. Той гармонии красок, того колорита, той нежности и любви, с какой клалась на полотно краски, вы вряд ли у кого еще найдете.

Левитан писал свои картины—перевплощал природу на полотно—не с холодностью парнасца, а с влюбленностью настоящего поэта, способного часами любоваться каким нибудь ветхим голубцем или белым силуэтом полевой плакуньи—белой березыньки.

Ибо «Левитан любил природу как то особенно. Это была даже и не любовь, а какая то влюбленность», говорит о нем спутник его скитаний—Кувшинникова.

* * *

..Мы любим Тургенева, Чехова, Бунина. Мы зачитываемся их книгами. О них мы пишем и говорим. А любимся в их книгах, главным то образом, пейзажем, потому что русский пейзаж такая прелесть, что им стоит полюбоваться и стоит о нем поговорить.

Но почему мы не интересуемся живописью, почему не относимся к ней так же серьезно, как и к литературе? Почему мы, читая воспоминания о Тургеневе, жадно ловим каждый новый штришок, каждую новую черточку, и не знаем, не стремимся узнать о жизни и творчестве наших художников не слова, а кисти?

Возьмите Левитана. Большинство знает, что он написал дивную картину «Над вечным покоем». И только.

А образ Левитана стоит того, чтобы его изучать.

Материалов же для изучения его жизни и деятельности очень и очень мало.

И лучшим из них, несомненно, придется признать записки Кувшинниковой, вместе с Левитаном жившей в Плессе

и писавшей о нем тепло и безусловно точно и правдиво.

Левитан был настоящим художником.

И, как художник, он был до болезненности впечатлителен, восприимчив и хрупко-чуток. То, что для других людей проходило незамеченным, на нем отзывалось больно и долго.

—«Порою нас охватывала страсть к охоте, и мы целыми днями бродили по полям и перелескам,—рассказывает Кувшинникова о житье-бытье Левитана в Плессе.

Однажды, рано утром, мы собрались на охоту в заречные луга».

Дождаясь лодки, Левитан выстрелил в чайку,—и «бедная белая птица, кувырнувшись в воздухе, безжизненным комком шлепнулась на прибрежный песок.

Меня ужасно рассердила эта бессмысленная жестокость, и я накинулась на Левитана. Он сначала растерялся, а потом тоже расстроился».

Выстрел по чайке оказался целым событием.

«Разнервничались и расстроились мы не на шутку. Никуда, разумеется, не поехали и ушли с чайкой домой. Чайку мы унесли в лес и там зарыли, а Левитан при этом до того волновался, что даже стал клясться навсегда бросить охоту. Но, увы!,—добавляет Кувшинникова,—инстинкт охотника восторжествовал, а через два дня, трихонько от меня, Левитан ушел на рассвете и вернулся с полным ягдташем».

Этот эпизод, между прочим, зарисован Чеховым в его «Чайке». Очевидно Левитан—(они были близкими друзьями, Н. С.),—рассказывал его Антону Павловичу.

... Левитан был похож на изумительного, мрачного, до сих пор неразгаданного русского писателя—Всеволода Гаршина. Как и у Гаршина, у Левитана было грустное лицо и грустные грустные глаза. В глазах его светилась грустная ласка. Такой-же ласково-грустной была и его душа.

—Вы знаете его картину «Над вечным покоем»? Часовенка написана в Плессе. Часовенка была ветхой и древней. Кто знает,—может-быть в ней молились, когда к Плессу приближались татарские полчища?..

Кувшинникова вспоминает: «Когда нам удалось попасть в эту церковку, меня вдруг охватило страстное желание услышать в ней молитвенные возгласы и увидеть перед ее ветхими образами мерцание свечных огоньков».

Пригласили священника.

«Где-то вверху, на карнизах, удивленно ворковали голуби. Аромат ладана смешивался с запахом сырой затхлости, и огненные блики мистически мелькали на венчиках образов на иконостасе. Левитан был тут-же, и все время службы с взволнованным лицом стоял он подле нас и переживал охватившее его трепетное чувство».

— Может быть, скажут, что это религия, вера?—О, нет: тысячу раз узки и футлярны будут те, кто это скажет.

Это—поклонение красоте, слезы созерцания, радость художника. В своей автобиографии, присланной покойному профессору Венгерову, Бунин писал: «ортодоксальной религии никакой не признаю, но и до сих пор люблю службы в старинных монастырях и церквях». И это вполне понятно. Чтобы творить, надо много и сильно чувствовать. А творя, надо быть таким, каким был Чеховский монах Николай, который плакал, когда писал свои акафисты.

...Процесс творчества чрезвычайно сложен. Это—целая загадка.

В душе каждого поэта и художника есть что-то подсознательное. Это подсознательное жадно схватывает каждый красочный оттенок, каждую красочную мелочь.

Бальмонт рассказывает, что на него, на всю жизнь глубокое впечатление произвела картина зимнего русского обоза. Это воспоминание вдохновляло его для многих и многих лучших его стихотворений.

Интересна в этом отношении картина Левитана «Вечерний звон», которую А. Н. Бенуа считает одной из лучших работ художника. Картина эта написана Левитаном в Плессе, но впечатления для нее он получил под Саввиним монастырем и в Юрьевце.

Вот как она зародилась: Левитан и Кувшинникова бродили около монастыря. Был летний вечер. Левитан скучал.

Это было в период раздумий, сомнений и мук творчества, когда будущее казалось ему мрачным, а свой талант не стоящим внимания.

Но монастырь, позолоченный закатом, тени по горным склонам, иссиня-бархатное небо как-то особенно подействовали на художника.

— «В Левитане точно произошел какой-то переход,—читаем мы у Кувшинниковой,—и когда мы вернулись к себе, он был уже другим человеком. Он сказал:—

Да, я верю, что это когда-нибудь даст мне большую картину».

И, спустя несколько лет, большая картина, действительно, появилась.

Левитан страстно любил жизнь. И, как Чехов, терзался думами о смерти.

В записной книжке Чехова есть заметки о смерти: сегодня он верит в бессмертие, завтра отрицает его.

Левитан, влюбленный в жизнь, умирать не хотел. Умер он в 1900 году, 22 июля, в Москве.

«Простой красивый памятник из черного мрамора стоит под деревом на еврейском Дорогомилловском кладбище и указывает место, где Левитан похоронен».

А вот что рассказывает М. П. Чехова о последних годах жизни Левитана:

«Зимой, незадолго до смерти (в 1899 г.), Левитан был у нас в Крыму, в Ялте. Это была его последняя зима. Стояло Рождество, но было так тепло, что мы даже ходили без пальто. Солнце ярко сияло, и вся природа была такая странная, ликующая какой-то особенной красотой.

Левитану было очень плохо. Он задыхался. С трудом передвигаясь и опираясь на палку, он все таки хотел непременно подняться в горы.

— Мне так хочется туда, выше, где воздух легче, где легче можно дышать.

Но приходилось поминутно останавливаться, и Левитан сейчас же заговаривал о смерти.

Marie, как не хочется умирать!

Как страшно умирать и как болит сердце!..»

* * *

Плес замыкают два белых больших дома. Один принадлежал ростовщичу и фаб-

риканту Г., мастерски описанному Северцовым-Полидовым под фамилией Полушкина, а другой—какому-то знатному чудаку и привереднику барину.

Оба дома связаны с творчеством и жизнью Левитана. Один (фабрикантский) увековечен им на картине «Золотой Плесс», а в другом Левитан проводил целое лето.

Светлым весенним днем, пронизанным солнцем и укачанным в синей качели свежего волжского ветра, я долго сидел на тихом горном склоне, под погостом, там, откуда Левитан писал свой «Золотой Плесс». Я смотрел на ков, бродящих по забытым могилам, дышал тишиной, вспоминал Бунинское «У гробницы Вергилия, весной», смотрел, как внизу у Волги толпа женщин и мужчин работала на огороде.

Я думал: «Плесс стал известным через Левитана. И неужели Плесс ничего не даст памяти своего поэта? Правда, я слышал, что по инициативе союза молодежи гору «Над вечным покоем» решено назвать «горой Левитана», но, ведь, этого недостаточно. Хорошо было бы устроить имени Левитана клуб, театр или музей...

А для этой цели можно было бы использовать (отремонтировать) дом, в котором жил Левитан.

Дом этот очень красив. Выстроен он в «Екатерининском стиле», украшен виньетскими, заставками и резьбой.

Полуразрушен.

Я был в нем тихим розовым вечером. Я пробирался комнатами нижнего этажа, похожими на «подземелье» Короленко, бродил в верхних комнатах, смотрел на старинные стены, со старомодными, исполненными масляными красками, рисунками, слушал, как чутко и четко отдавались мои шаги, как в антресолях шуршали под ветром обои и как скрипели половицы.

Потом я долго смотрел из окна угловой комнаты. Я с жадностью замечал переливы Волжских красок, сравнивал закат—закатные лучи—с тонкой

кистью, а Волгу—синюю грудь ее—с полотном. И жалел, что я не художник. Ибо, если-бы я был художником, я бы написал картину:—

«Горы, Ялтинское побережье, солнце, похожую на героиню старинного романа, в мужской шапочке и кружевной кофточке, женщину и темноволосого, грустного, похожего на Гаршина, человека. Человек задыхается, с грустью смотрит в синий туман гор и, обращаясь к женщине, смотря долгим-долгим взглядом, печально говорит:— «Magie! Как не хочется умирать! Как страшно умирать и как болит сердце!»..

* * *

Левитановский Плесс далеко позади. Он в воспоминаниях стариков, да в боковой комнате Третьяковской галереи.

Плесс настоящего мучительно перерождается. Для новой жизни, для нового мировосприятия, для новых песен и новых художников.

«Рубикон перейден». Позади старосветский быт, жизнь Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей.

Впереди—трезвая рассудочность Штольца, приобщение к жизни машин, рельс, котлов, кирпичи и мотыги.

С начала революции Плесс стал царством «спецов».

В 1918 г. здесь был артиллерийский дивизион. В 19—железнодорожники. В настоящее время—техникум.

Под плаучими березами не видно стало белых зонтиков. Время на все наложило свой отпечаток. Жизнь повела городок к новым берегам.

Но на пути этом, вместе со цветами науки и культуры, вырастают и колкие шипы недомыслия и самодурства. И неужели не шипы то, что в ломком и хрупком весеннем воздухе звучат грубые звуки топора, валящего старые «вишневые сады»—красоту тихой Левитановской колыбели.

Гор. Плесс.

Ник. Смирнов.

М. ГОРЬКИЙ.

Горький...

Вспоминаю дни юности... Утренние зори первой русской революции, ка- нун 905 года.

В эти дни нашему поколению нельзя было читать произведения Горького без того, чтобы они не захватывали целиком.

— Он был романтиком. Мы тоже, не смотря на марксизм, были романти- ками.

— Максим, давай в небо смотреть! — говорил Коловалов своему приятелю. — Давай, читатель, смотреть в небо. — Приглашал нас тогда художник. И мы вместе с ним смотрели в небо. Голубой свод раздвигался, и пред нами возникали чудесные видения. Грязные босяки превращались в свободных, самостоятельных гордых людей, в не- стижаемых протестантов, в борцов со скукой и пошлостью мещанского огра- ниченно-лакейского уклада. В при- вольных степях жила своенравная Мальва, мы слушали степные рассказы Макара Чудры и старухи Изергиль. Земля наполнялась искателями другой, прекрасной жизни, — захватывали при- зывы Сокола и песни о Буревестнике.

Один из школьных друзей, прочи- тав томик Горького, сказал:

— Ей-богу! Прямо на ножи готов полезть — и не страшно будет!

— Нам говорили: — жизнь косна. Ее не преодолешь. К чему усилия нова- торов и смелых мечтателей? — А к нам приходил свежий большой художник и утверждал:

— Только для этого строительства и нужно жить. Жизнь косна, но в ней есть зачатки другой, новой правды, новой жизни.

Человеческое общество, в изобра- жении Горького, особенно и преиму- щественно в низах, на дне — все на- сквозь бурлило, мучилось, искало правды, „праведной земли“, презирало сытую, тупую, жвачную повседне- вность, ненавидело богатых и сильных мира сего. Мы видели сквозь призму произведений Горького Русь неспокой- ную, ищущую, взалкавшую правды и истины, а в людях на дне, в опорах,

сквозь отекишие от пьянства черты нам открывались истинно-человеческие лица. „Человек — это звучит гордо“. Вместе с художником мы создавали в своих мечтаниях этого гордого чело- века, не чувствовали себя одиночками и верили в будущее.

Говорили и писали после 905 года, что Горький выдохся, что он даже совсем и не крупный художник. Но посмотрите его рассказы о детстве: это мастерские вещи. Чего стоит одна бабушка! Есть даже прямая перегру- женность художественных образов в последних произведениях Горького. Они как гроздь зрелого винограда. Не так давно Горький выпустил в печати небольшую книжку о Толстом — лучшее из того, что было написано о нем. Сколько теплоты, художест- венного проникновения, чуткости и поразительных по меткости замечаний!

Нет, Горький не выдохся, его песня еще не спета!..

Смотрю в его лицо. Он постарел. Много морщин, но почти нет седых волос. Еще квадратнее сделалось лицо и около подбородка внизу у щеки по временам появляется ямочка и что-то слегка дрожит около нее и подерги- вается. Большой, угловатый и попреж- нему сутулится. А пиджак — поношен- ный, далеко не первой свежести и около отложного воротника пристали пушинки. Совсем будничная фигура, ничем не привлекающая внимание. И особенно обидены глаза. Они глубоко ушли в орбиты и в их взгляде реши- тельно нет ничего примечательного. Каким же образом они схватывают и так художественно перевоплощают мир? Должно быть только передают материал, а вся работа совершается где то глубже, ушла целиком, без из'ятия во внутрь.

Речь заходит об одном литератур- ном предприятии. Попутно Горький высказывает несколько мыслей о те- перешнем состоянии художественного слова:

— Бытописателем теперь быть не- возможно. Старый быт сплошь контр- революционен. И ничего помимо

сплошной контр-революции старые писатели, целиком связанные с этим бытом, дать не могут. По моему над ними нужно поставить крест. Нужно искать новых людей. И я уверен, что новые художники будут романтиками. Совершенно уверен в этом. Ближайшее будущее принадлежит романтизму.

Вот что думает Горький об искусстве наших дней.

Какого писателя должен иметь в виду теперь писатель?

— Он должен иметь в виду новую рабоче-крестьянскую интеллигенцию, ту, которая учится сейчас на рабочих факультетах, в советских и партийных школах, на командных курсах.

Это и есть читатель настоящего дня, и ему нужно помочь...

Горький в настоящий момент с особым вниманием следит за всеми успехами техники и науки в Советской России.

— У нас есть, что показать. У нас есть большие достижения: к сожалению о них мало знают и почти ничего не сообщают. И знаете, у нас много изобретений и усовершенствований, до которых додумались простые рабочие, стоящие у станка. Об этом нужно говорить как можно больше...

А вот столкнулись две правды.

В комнату быстро входит В. И. Ленин, не входит, а почти вбегает. Он спешит. Только что кончилось одно заседание, теперь начинается другое. Почти на ходу наливает стакан чая, быстрым и особо характерным жестом перевертывает к себе одну из книг, привезенных Горьким. Так же бегло перелистывает ее. И в этих приемах видна прочно установившаяся привычка обращаться с книгой и оценивать ее, когда нужно, что называется «на глазок». Такие жесты вырабатываются только долголетней практикой и обращением с печатным словом.

Горький немного из подлобья наблюдает и присматривается к Ленину. У Ленина изумительно живые, бойкие, искрящиеся глаза и весь он сжатый, сконцентрированный комок энергии. Как будто должно быть наоборот: глаза В. И. должны быть у Горького,

а „догматик“, „узко-лобый партиец“, „доктринер“—должен иметь серые и маловыразительные глаза Горького.—

Так думается, когда сравниваешь их обоих.

Горький имеет какое-то отношение к берлинскому книгоиздательству Гржебина, издающего на русском языке русских классиков, книги по естествознанию и т. д. Видно, хорошо изданные книги привлекают Горького к себе. Он привез с собой в чемодане ряд книг, заказанных им у Гржебина, любовно смотрит на них и вступает по этому в разговор с Лениным.

— Да, да,—соглашается Ленин.—Превосходные издания. Только поменьше беллетристики и побольше деловых книг. А то вот тут голод у нас. Нужно разделаться в первую голову с ним.

— Да, ведь, дешевка, Владимир Ильич,—убеждает Горький.

Мне понятен Горький, но еще более понятен Ленин. Издания превосходны. Но за них нужно платить чистым золотом. А золото теперь вещь дорогая и если можно и нужно тратить его, то пускай идет оно на паровозы на то, чтобы остановить разруху и голод. А беллетристика потом. Или может быть не о хлебе едином жив будет человек?

Две правды, две истины.

Один забирает с собой книги. Среди них вижу прекрасно изданные индийские сказки... Другой торопливо убегает на заседание «голодной комиссии».

В русской белой зарубежной прессе против Горького ведется самая неистовая и бесшабашная кампания. Стыдно читать. Один желает, чтобы он поскорее „издох“. Бунин печатает бешеные статьи, стараясь уронить Горького перед Европой, а Чириков недавно напечатал позорную статью, в которой доказывал, что Горький бесчестный, лично непорядочный человек, трус и т. д. Доказательства: Горький, видите ли, одно время был против октября, а теперь коммунист. Как будто Горький не был с большевиками в 1916—18 годах! И как повертывается язык у Чирикова, раньше работавшего с марксистами, а те-

перь подписывающегося на страницах бурцевского «Общего Дела»! Для усиления впечатления время от времени печатаются известия: где Горький? Оказывается, он под домашним арестом, около него «комиссар», Это для тех, кого нельзя уловить гнусными статьями Чирикова и других.

И вот, когда я вижу, как Горький носится с книжками Гржебина, как собирает он вокруг себя беспартийную массу ученых, педагогов, профессоров, художников, — как ищет он нового читателя, с каким восторгом рассказывает он о том, что на таком то заводе такой-то совсем простой рабочий изобрел какую-то штуку, благодаря которой ось для вагонного колеса может выдвигаться в 5 раз быстрее, жалкими кажутся мне все эти укусы Бушковых и Чириковых. И сколько бы ни твердили и ни изводили они чернил для доказательства пагубной роли, которую якобы играет для России Горький, — я твердо знаю, что все это ложь, неправда. Горький — истинный друг народа, а вот эти ослепшие от злобы господа, «братья писатели», — у них нет ни грена правды сейчас. И эту уверенность хочется передать другим.

Еще замечание.

Сейчас в Москве среди известных кругов очень много говорят «о массовом действе», о новых творческих коллективных путях и т. д. Конечно, нужно искать новые пути, конечно, честь и слава коллективизму. Но... не нужно с водой выплескивать ребенка. Этого нужно бояться. Эта мысль с особой отчетливостью выступает, когда присматриваешься к Горькому. Он обиден на первый взгляд, но в каждом движении, в манере говорить, вы чувствуете свое, глубоко индивидуальное, своеобразное, принадлежащее только ему. И потому так своеобразно преобразуется у него под пером мир, потому он так интересен в своих произведениях. И за разговорами о коллективном творчестве не следует забывать, что всякий художник только тогда велик, интересен, поучителен, когда он говорит по своему, когда в его произведениях проявляется все своеобразие и оригинальность его духа. Без этого нет искусства. Голый индивидуализм заводит в дебри, но ведь в коллективе не должно тонуть своеобразие человека. Нужен синтез, слияние.

Москва.

А. ВОРОНСКИЙ.

Частушки и современность.

1 „Яблочко“.

(Украинские частушки*).

На Украине современность отразилась в частушках, известных под названием „яблочко“.

Яблочко — здесь символ, в который вкладывается самое широкое содержание.

„Ой, яблочко
Тай з листочками.
Иде Махно
Тай з синопками.“

В этой удивительно поэтической

частушке яблочко сам „батько“ Махно, атаман разбойничьих банд, гуляющих по Украине.

В других случаях под яблочком подразумевается сама Украина, это „яблочко раздора“ между враждующими на юге партиями и лагерями.

„Ой, яблочко!
Так и вертится.
До Петлюри попаде —
Батько сердится“.

„Ой, яблочко,
Куди катишься?
До Махно попадешь
Не воротись“.

Покатилось—завертелось яблочко,
кинутое какой-то титанической ру-
кой в карусель событий, переходя
от гетманщины к советскому строю,
от форм пролетарской республики
к формам буржуазного государства
и обратно. И частушка отмечает
все эти перемены.

„Куди, яблочко,
Покатилося?
Буржуазна власть
Провалилася“.

„Куди яблочко
Покатилося?
Советська власть
Воротилася“.

„Ой, яблочко,
Куди катиться?
Буржуазна власть
Не воротиться“.

Обильна и прекрасна Украина,
но и ее захватили войны, разруха
и голод. Трудно живется ее детям.

„Ой, яблочко,
Ти з виду кругленько.
Ой, мамонько.
Жити трудненько“.

„Україна
Хлібородная
Німцю хліб отдала—
Сама голодная“.

Много горя испытала бедная
Украина! Нал ней тяготело немец-
кое иго. Затем пришли суровые
времена гетманщины, когда власт-
вовал Павло Скоропадский. Ужасом
и беспросветным мраком была ох-
вачена Малороссия. Но миновали
черные дни, на Украине появились
советы и принесли с собой осво-
бождение и радость. Вот как гово-
рит об этом частушка:

„Україна
Ніс повісила.
Прийшов большевик—
Стала весела“.

Иной раз упоминание о яблочке
нужно частушке просто, как поэ-
тическое украшение, как запев, как
прелюдия:

„Ой, яблочко
Крутиться—вертится.
Вийшла дочка за австрийця
Мама сердиться“.

„Ой, яблочки,
Ви все крисиві,
А карбованці
Все фальшиві“.

„Карбованці“, о которых гово-
рит частушка, это выпущенные
быв. гетманом деньги, которые
(особенно билеты в „50 карбованців“
неохотно брались населением).

Есть ряд частушек, в которых
поэтическим украшением вместо
„яблочка“ служит „бочка“. При-
водим эти частушки, сложенные
очевидно в ту смутную пору, когда
по Украине бродили гайдамаки,
пышно расцветала спекуляция, бед-
няк умирал с голоду, а Советы
еще не внушали к себе доверия
со стороны населения, так как в
них проходили в большинстве слу-
чаев кулаки и богатеи.

„Я на бочці сижу,
Бочка катиться.
У кішені ні гроша,
А їйсти хочеться“.

„Я на бочці сижу,
А під бочкою склянка.
Чоловік*)—комиссар,
Женка—спекулянтка“.

Но и в то время у простого на-
рода уже намечался уклон к боль-
шевизму:

„Я на бочці сижу,
А під бочкою—качка**).
Чоловік—большевик,
А я—гайдамачка“.

„Я на бочці сижу,
А під бочкою—птичка.
Чоловік мій—гайдамак,
А я—большевичка“.

*) Чоловік—муж.
**) Качка—утка.

II. ЩЕПКИ.

(Злободневные куплеты)*).

В пригородных местностях, какой является и наш Ив.-Вознесенский район, очень распространены сатирические куплеты, похожие на частушки, но отличающиеся от них своей формой.

Все они построены на один лад и родились, вероятно, где нибудь в балагане под балалайку заезжего „куплетиста“. Они не так интересны и не столь художественны, как частушки, но так-как и в них отразилось наше „сегодня“, то, говоря об элементах современности в устных произведениях народа, мы не можем обойти их молчанием.

Ведь буря прибывает к берегу не только красивые раковины, но также водоросли и щепки. Приводимые здесь куплеты суть щепки, выброшенные войной и революцией. Они напоминают нам о буре. И в этом их ценность.

Содержание куплетов сатирическое. Сатира подчас груба и неум-

*) Записаны в Ив.-Вознесенской г.

на, будучи направлена то в сестру милосердия, вышедшую из прачек, то в офицера из рабочих, то в бондаря, или сторожа, выбранных в Совет:

„Раньше была прачка
И звалась Лукерья,
А теперь на фронте—
Сестра милосердия“.

„Раньше был он смазчик,
Смазывал вагоны,
А теперь на фронте
Носит он погоны“.

„Раньше был он бондарь,
Набивал кадушки,
А теперь в Совете
Сидит на подушке“.

Сколько здесь хамского пренебрежения и зависти белоручки—лакея к человеку черного труда, ставшему „властью“.

Впрочем нередко стрела насмешки попадает и в бывшего купца, взятого на принудительные работы и в нечистого на руку комиссара, одного из тех, кто создает в советской республике „маленькие недостатки механизма“.

Дм. Семеновский.

Собрал б. продармеец Украинского отряда М. КАТАЕВ.

Песни северного рабочего края.*)

„Крылья свободы“ Иваново-Вознесенск 1919 г. стр. 99.

„Красная улица“. Стихи и песни. Иваново - Вознесенск 1920 г. стр. 111.

„Сноп“. Стихи и рассказы. Иваново-Вознесенск. 1920 г. стр. 70.

Среди русских северных равнин, пересекаемых лесами, стоит город, в котором много старинных церквей и часовен, но еще больше фабричных труб. Древний посад и рядом гнезда фабричных корпусов вдоль небольшой и неизменно загрязненной реченки Уводи. Есть что-то глубоко своеобразное, я сказал бы, исключительно русское в этом сочетании осколков старины с сооружениями машинного века, часть которых оборудована не хуже перво-классных фабрик Манчестера.

На всем пелена безмолвной, незримой, но ясно ощутимой, тихой, родной северной печали, и веет старым недавно казавшимся вековечным бытом, понятным сердцу. Если перенестись дальше на север, на несколько десятков верст к Волге, то взгляду откроется тихий заштатный городок Плес, одно из лучших мест на Волге, ее жемчужина, городок, где проводили когда-то время Левитан, Чехов, Шаляпин, „Над вечным покоем“—это Плес. И вся губерния обвеяна Плесом, „вечным покоем“ русской северной природы.

Губерния рабочая. В ней живет суровое рабочее племя, северный ткач. Северный ткач молчалив, сосредоточен, его движения медлительны, он тяжел на подъем. У него холодные голубые глаза. Он вынослив, терпелив, решителен и дисциплинирован лучше питерского и московского рабочего.

Во время русской революции Ивановские рабочие десятками тысяч отправлялись на фронт. Они были под Ярославлем, под Казанью, под Уфой, в Сибири, на Дону, в Туркестане, на Кавказе, в Архангельске, в Польше, под Киевом. Бились упорно и крепко. И так же крепко голо-

дали их жены, дети и товарищи в родном краю. Но упорно отстаивали каждую пядь революции и строили новую жизнь, и строили умело и с толком.

Русская революция дала Ленина, Троцкого, но главное, она дала героические рабочие массы. Среди них видное место занимает голодный, сосредоточенный ткач красной губернии, совершивший ряд чудес.

О северном неярком дне, и белых ночах, о лесах, и перелесках, о плакучих берегах, об убогих деревеньках и овинах, о душе, которая тянется к любви и новому будущему, о революции и многострадальной Советской родине нашей, о борьбе со злым черным врагом, о рабочей околице и грохоте фабрик, „о миллионах сотканных аршин“ в адском труде, обо всем этом сложены стихи и песни Иваново-Вознесенских поэтов. Мы насчитали в этих сборниках более 25 авторов, певцов рабочего Северного Края. Некоторые из них были достаточно известны уже раньше: печатались в толстых журналах, в ежедневной прессе. Таковы: Мих. Артамонов, Д. Семеновский, Василий Смирнов, но большинство из них молоды и даже юны и начали слагать свои стихи и песни во время революции: Ив. Жижин, Сергей Семин, Калика Перехожая (Баркова), Огурцов, Ник. Смирнов, Н. Уронов и т. д. В предисловии к сборнику „Сноп“ авторы говорят о себе:—многие из нас, прежде чем выйти на ниву слова с серпом поэтического творчества, еще так недавно расстались с реальным, а не аллегорическим серпом земледельца и молотом рабочего. Это в самом деле так. Нам, по крайней мере, известно, что Сергей Семин простой

*) От редакции. Настоящий отрывок представляет часть статьи т. Воронского, сланной в набор для № 2 журнала „Красная Ночь“. Мы помещаем ее, потому что она касается литературной деятельности нашего Ив. Вознесенского кружка поэтов и писателей.

пастух, попавший с поля в армию и сделавшийся на войне инвалидом, Калика Перехожая (Баркова) дочь училищного сторожа, Мих. Артамонов—рабочий, Ив. Жижин—сын прачки, другие—люди мелкого конторского труда; некоторые, как Тимонин, Н. Смирнов и др., недавно еще входили в союз молодежи. Во всяком случае это подлинный рабочекрестьянский демос.

Тов. Луначарский в свое время писал по поводу первого сборника Иваново-Вознесенских поэтов:

„Я хочу отметить, что тенденция к использованию уже весьма значительного и вполне художественного материала, живое исполнение его на эстраде является делом, напрашивающимся само собой.“

Так, в Иваново-Вознесенске издан сборник „Крылья Свободы“, специально как сборник рекомендованных для эстрады номеров. Туда вошли стихотворения Клюева, Есенина и Орешина, пролетарских поэтов, и целого ряда поэтов самого Иваново-Вознесенска, в том числе бывшего пастуха Семина. И заимствованные и местные стихотворения в большинстве случаев весьма недурны и почти сплошь эффектны для декламации и пения („Известия“ от 27 ноября 1919 года).

Отзыв тов. Луначарского правдивен, но дан по специальному поводу, и для оценки стихов и песен Иваново-Вознесенских поэтов недостаточен. Мы имеем дело с кружком поэтов, вышедших из трудовой революционной молодежи, в котором числится по крайней мере 25 человек. Это само по себе чрезвычайно важно. Это большой поэтический выводок, вскормленный полями, рабочей околицей и гулом фабрик. Факт примечательный, о котором нужно знать всей мыслящей Советской России.

Он свидетельствует еще раз, что в нашем народе, в недрах его, таятся большие духовные богатства и что не напрасны наши надежды, что на смену старой дворянско буржуазной литературе трудящиеся смогут выдвинуть своих поэтов, романистов,

художников. Разумеется, дело не в одном количестве. Более важно, что дали и дают Ивановские поэты. И здесь мы должны сказать: результаты, достигнутые ими, весьма значительны. Не все напечатанное в сборниках одинаково ценно. Есть неровности, промахи, шероховатости. Чувствуется подражательность: Николай Смирнов подражает Бунину, у Жижина порой ощущается Бодлэр, но в этом большой беды нет: мы имеем дело с поэтами, недавно выступившими со своими вещами. В целом же у большинства намечается свой собственный язык, свой подход, сформировывается свое литературное „я“.

Совсем ясен и сложился Мих. Артамонов. Удаль слободских парней, хмельные, привольные, полевые песни, колокольчики-бубенчики, гармонь, алые ленты, сарафаны, поцелуй—это душа, первооснова его стихов.

Бывало над угорами
Гармонь зовет, звеня,
Глаза горят задорами
Поймай ка мол меня.
Венки плетут и венчики,
Бросают в бочаги,
Рвут алые бубенчики
В поеме у реки.

Это было в прошлом. Но оно ушло

Прошло то время вольное—
Былой разгульный взмах.
На фабрику раздольное
Попрягано впотымах.
Стоят на прежнем гульбище
На Высельском холму
Три корпуса фабричные,
Стоят, гудят в дыму...
.. И старые и малые
Стоят по корпусам;
Ой, снежки, снега талые
Не бегать в поле нам...
Шумит, гремит и охает
И стонет меж полей
На горе нам построенный
Стокий корпус-змея...

Душа рвется к поемным лугам, к летним росным ночам, к милой «Девушке-Зорянушке» «с очами синими», а фабрика приковала прочно к себе. „Люд затих и угрюм“, старый патриархальный быт безжалостно сломлен. Но еще живы и свежи воспоминания о деревенском полевом приволье, о деревенских гульбищах, и тянет к

простору, в поле, в лес. Мих. Артамонов весь еще в прошлом. Он деревенский парень, попавший в плен каменных стен. Оглушенный, растерянный, измученный, непонимающий стоит он среди стальных матиц, среди грохота и шума. Поэзия огромных городов, стальных машин, каменных корпусов — ему неведома. Города, фабрики он не принимает. Он коммунист, он за новую Советскую Русь, но потому, что в тайниках души он верит, что новая Русь даст в конце концов возможность тысячам деревенских парней вернуться домой в родимые деревни, к лугам, перелескам, к свежему сену и снова взызвет разухабистые частушки, разольется гармонь и будут прыгать через костры „в Купала дивью ночь“. Город вызывает у Артамонова тоску, скуку; он только гнетет, выхолащивает душу. Стих Артамонова по деревенски звонок, наивен, свеж, непритязателен, часто похож на частушки, легок и прост, что не мешает ему быть довольно богатым. Он тоже весь от деревни.

Мотивы поэтического творчества Артамонова характерны для литературного облика почти всего поэтического кружка Красной губернии. Каждый из поэтов по своему слагает стихи и песни, но есть в них одно общее, присущее всем. В итоге это песни и стихи деревни, вынужденной стихией общественного развития двинуться в города, в каменные «стойкие корпуса», и еще не понявшей и не приемлющей ни города, ни этих корпусов. Это поэзия текстильных рабочих, ибо на севере ткач наполовину еще связан с деревней, живет в деревне, и город и каменные корпуса с особой жестокостью дают недавних деревенских парней. А деревня так близка, северные поля и леса совсем на виду, за грязной околицей. На зеленом пригорке, почти бок о бок с фабрикой — стоит старинная незатейливая часовенка, а в лесах еще недавно в пещерах спасались отшельники и из глубины лесного озера вот-вот выглянет старинный Китеж-град. От этой близости

острее чувствуется противоречие машинного века; деревня тянет к себе своей непосредственностью, своим северным очарованием.

Особенности молодых поэтов северного рабочего края бросаются в глаза при сравнении их творчества с творчеством поэтов тяжелой металлургии. Здесь преобладает рабочий, уже давно порвавший с деревней, забывший о ней; он уже весь городской. Для него рабочий молот, паровая машина, приводные ремни, шум и свист шестерни, не только символ угнетения и рабства, но и символ нового будущего, когда человек сознательно подчинит себе стихию природы и общественного развития. Наоборот, деревня в его глазах — синоним косности, невежества, тьмы. От этого различие в тонах, в настроении, в направлении, в характере. Поэзия Гастевых — это гимны стали, бетону, доменным печам; она скупа к деревне. Деревни в ней нет. В стихах поэтов северного текстильного края мало, очень мало о стали и бетоне, но за то сколько в ней тяги к деревне, любви к ней.

Самый значительный и даровитый из поэтов этой группы несомненно Д. Семеновский. У него почти чувственная влюбленность в северную деревню.

„Не пойму. Но мне всего дороже
Хмурой елки встрепанный шатер,
Тишина пустынных придорожий,
Облака, да ветряной простор“.

Эта влюбленность доходит до благоговейного, молитвенного преклонения.

Я молюсь и березкам плачущим
И деревне на дальнем пригорке,
Птичьей песенке, ветрам и тучам
И повязанной облаком зорьке;
Отуманенным синим просторам,
И жердям пошатнувшимся прясел,
И лесам, что пахучим убором
Хмурый север несмело украсил.

Оттого у Семеновского то и дело церковные сравнения: „кадят луговые цветы“; он говорит о „Золотых глаголах“, об „иконе небес и полей“, а свои стихи он называет „канонам ласкательных и сладких песен“.

Русской революции и Октябрю
Д. Семеновский посвятил довольно
много стихов, но и здесь города нет.

Перелески, овражки, овины....
Тонким ладаном рощи кадят....
Как цветы посереде луговины....
Собирались сельчане у хат.
Билось красное знамя Жар-Птица
Словно пчелы гудело в толпе:
Нам, товарищи, надо сплотиться
Как колосьям в косматом снопе.

Будущее торжество социализма
представляется поэту, как возвраще-
ние, как близость к природе.

И мирно вы сдружитесь с васильками.
О дочери работы и борьбы.

Совсем деревенский — пастух Семин.
Он тоже уверен, что наступает
новый день:

Мы стоим у иного порога,
У порога в неведомый край.

Он готов все отдать на борьбу за
новую Советскую Русь, но на пер-
вом плане для него земля деревня:

За тебя я жизнь свою с любовью
Положу, кормилица-земля,
Я вспоил тебя своею кровью,
Орошал слезами я поля.

Исцеление от сирости, нищеты,
горя он видит в общении с природой.

Все, чья грудь иссушила забота,
Кому скресу нужда не дает,
Кто истек от кровавого пота,
Кто до сыта не ест и не пьет,
Все, кто плачет о милой свободе,
Чья душа от страданий болит,
Приходите молиться природе:
Вас святыня ее исцелит.

В грех сборниках есть, разумеется,
не одно стихотворение, где опозити-
вирован город, фабрика (см. стихи
Уронова, Луганского и других), но
не они создают тон. Больше всего
городских мотивов у Артамонова, но
мы уже видели, куда и почему тя-
нется его душа.

Северные ткачи проявили неслы-
ханный героизм за эти годы, поги-
бая от голода, на фронтах. Эта
борьба совсем слабо отразилась по
указанной выше причине в сборниках.

Есть не мало стихотворений, в ко-
торых горячим ключом бьется лю-
бовь к новой Советской России и

некависть к ее многочисленным бога-
тым врагам.

За дело правое, за твой багряный
О, Русь, разбившая свои оковы!

Воскликает Ив. Жижин.

И в светлый полк меня причисли
Распятьх за поля твои.
Тебе вся жизнь моя,—и мысли
И песни робкие мои. (Д. Семеновский).
О, Русь... В восстаньи многоликом
Ты гимн ликующей весны... (Д. Кост-
ромской).

Русь голодная, я верю—
Ты рассеешь смертный страх...
И хочется тебе молиться,
От сна воспрянувшая Русь. (А. Со-
сневский).

Но напряжения, революционного
быта рабочей околицы в сборниках
почти нет.

Несколько особняком стоит в не-
котором отхождении Ив Жижин. Но
и он говорит прежде всего о мучи-
тельном плена в „каменных гробах“.

И нет мучительнее плена
Замкнуться в каменных гробах,
Где мертвой силой давят стены
И ржавит душу жуть и страх...

Если город и фабричные корпуса
лишили Мих. Артамонова деревен-
ского раздолья, размаха, гармонии,
если Семеновский не находит в го-
роде выхода своему молитвенному
преклонению пред дарами природы,
если Семин полон мужицких дум, то
Жижин испытал в городе „жуть и
страх“ и страшится городского хаоса

Я спутал все пути и перепутья.
В толпе, где каждый, зверь и человек
Томит меня тоска зловецей жутью
И зелень зла в оправе пухлых век.

Когда читаешь стихи Жижина,
кажется, что время от времени из
глубины души у автора поднимается
едкое отравленное испарение, душат
мысли и несут с собой безумие, дво-
ится явь и сон и реют кошмары.
Жижин знает, что выход из этого
плена один: борьба за новое будущее.
Во дни наступления Юденича на
Петроград он взывает:

Товарищи, враги кольцом проклятым
Текут на Русь, на милый наш гранит.
От Гдова на Залив и по Олояцу,

Как рой мокриц их движется орда.
Дадим обет немеркнущему солнцу:
Могила гадам—наши города...

В ряде стихов Жижин воспевает победу труда, но порой чудится, что пережитая жуть каменных гробов вновь вторгается в душу. Подобно глазам гадюки, о встрече с которой с большой художественной силой рассказал как-то Жижин, прошлое каменных гробов продолжает смотреть своим стеклянно-синим взглядом.

Дымился ствол. И жгут змеи разбитой.
Был недвижим. Рассеялся заряд,
Но мне казалось, что на гнили взрытой
Еще горит стеклянно синий взгляд...

Нам думается, что в сборниках поэтов Красной губернии есть своя правда, как и в поэзии тяжелой индустрии, талантливым представителем которой является Гастев. В поэзии бетона и стали—сознание, что грядущее будет опираться на чудеса техники и науки, что в свисте приводных ремней—освобождение человека от позорной зависимости от злого мирового хаоса, — что здесь зреет новая сила—сила коллектива. В полевых песнях Артамонова, в молитвах-песнопениях Семеновского, в мужицких думках Семина, в стихах Сумарокова и других — боль человеческой души, отравленной городом, оторванной от лесов, приволья степей,—тоска искривленного человека по жизни, где не только бетон и сталь, но и цветы, много воздуха, неба, вольного ветра. В этой тяге, в этой тоске и жажде—есть своя правда. На сборниках в целом отпечаток рабочего севера, где рядом: фабрики, тяжелый непосильный труд, и тихий простор полей, Плес, овины, гумна, благоуханные задумчивые леса. И это

очень хорошо, что о своем заветном поют дети сурового рабочего племени. И поют хорошо.

В последнем сборнике «Сноп» не трудно уловить кое-что «новое». Но это „новое“ хуже старого. Часть литературного кружка, повидимому, соблазнилась лаврами имажинизма. Это не нужно, это лишнее. Выражения «олунен», «красит тротуарам губы» являются неудачным подражанием неудачным вещам. Не этих тротуаров не хватает литературному кружку Красной губернии. Им не хватает близости к повседневной нашей борьбе, близости к рабочим массам. На это следует обратить внимание, и уже совсем не стать заигрывать с имажинизмом. Вообще же у авторов сборников есть, о чем слагать стихи, и есть то, что называют данными, есть „искра божия“. Значительно и заметно выросла и окрепла Калика-Перехожая (Баркова), хотя ее творчество становится все более и более интимным. Хороши последние стихи Сумарокова. По прежнему с пафосом пишет Вас. Смирнов. Правда, на некоторых сказались наши тяжелые дни, но мы уверены, что дело молодого кружка не будет гложуть, и следующие словесные снопы с каждым разом будут становиться все более и более зрелыми.

В последнем сборнике помещены небольшие недурные рассказы Семеновского, Артамонова. Этим делом—рассказами, очерками и т. п. следует заняться поэтам рабочего Севера более серьезно. В нашей литературе есть хорошие стихи, но почти нет хорошей художественной оправы.

Москва.

А. Воронский.

Забывший писатель из народа Ф. Д. Нефедов.

Можно смело сказать, что писатель-народник Ф. Д. Нефедов в наши дни совершенно забыт. Издание сочинений его давно разошлось и является теперь библиографической редкостью. Биография его до сих пор никем не написана, и сведения о нем ограничиваются скудными данными, рассеянными по старым газетам и журналам.

А между тем Нефедов писатель талантливый, имевший в свое время широкий круг читателей и заслуживший себе в истории литературы почетное место. И предавать имя его забвению поэтому в высшей степени незаслуженно и несправедливо. Располагая довольно достаточным материалом о Нефедове, мы хотим напомнить о нем хотя-бы беглым очерком и отдать этим ему нашу слабую, по-сильную дань.

Филипп Диомидович Нефедов родился 6-го октября 1838 года в селе Иванове, (ныне губ. гор. Иваново-Вознесенск).

Отец его, крепостной крестьянин гр. Шереметева, занимался торговлей и обладал небольшой фабричкой, (ваточной, работавшей ручным способом), каких в то время в Иванове было много.

Тихо и беззаботно протекло в родной семье детство Нефедова, описанное им впоследствии в повести „Детство Протасова“. Учился он в местном I-м приходском училище, курсом которого и закончилось все его образование. О большем образовании в Иванове в то время не помышляли даже богатые, „именитые“ люди. А отец Нефедова, человек далеко не богатый, не только признавал его вполне достаточным, но окончание сыном курса училища считал даже за великую роскошь. И талантливому мальчику поэтому пришлось сесть за прилавок и погрузиться в торговлю.

Рано зародилась у Нефедова жажда знания и желание учиться. Из дневника, веденного им в эту пору, видно, что в кругу его товарищей царили литературные интересы и что самим им в это время уже было написано

несколько произведений в прозе: „Вечер или девичник“, „Ночная прогулка“ *) и „Матрос Черноморского флота“. На Рождестве молодежь разыгрывала по домам знакомых различные пьесы, и, между прочим, в „Симоне сиротинке“ Нефедов исполнял роль Симона. Но все это шло бессистемно так как совершенно не было какого-либо руководителя, могущего дать настоящее направление. И Нефедов вследствие этого нередко впадал в уныние и тоску. Об этом мрачном настроении в дневнике его за 1856 год есть интересная запись:

„Я так молод, что легко могу изучать все прекрасное и полезное. Но я не понимаю своего назначения, не знаю, к чему стремиться мне... Большая часть дня у меня свободна: тогда я читаю, рисую или чтонибудь пишу. Душа моя рвется ко всему прекрасному и высокому, но ей никто не сочувствует. Мысли стремятся к познанию и развитию умственному, но они не находят себе учителя“ **).

Бывая часто по торговым делам отца в Костроме, Нефедов познакомился здесь с Н. Ашмариним. В нем он нашел себе до некоторой степени руководителя и с этого времени в занятиях самообразованием перестал быть одиноким. Н. Ашмарин, писавший стихи и выступавший с ними в „Костромских Губернских Ведомостях“ конца 1850-х годов, снабжал его книгами, учил грамматике и был судьей первых его литературных опытов. Скоро и сам Нефедов выступил в печати, поместив в „Костромск. Губ. Ведом.“ две свои статьи, навеянные торговыми поездками: „Галичская ярмарка“ 1858 г. № 50, и „Из путевых заметок по Нерехтскому уезду“ 1859 г. № 6.

*) Напечатаны в газете „Старый Владимирец“ 1913 г. № 56. Под „Вечер или девичник“ стоит дата „1854 декабря 27“, а под „Ночной прогулкой“ — „1855 года января 8 дня“.

***) „Старый Владимирец“ 1909 г. № 220 „Памяти Ф. Д. Нефедова“.

Богатое и промышленное село Иваново в то время было темно, грубо и далеко от всякой культуры. Но с конца 1850-х годов оно всколыхнулось, и стало изменяться к лучшему: начали открываться школы, появляться в некоторых богатых семействах учителя, и молодежь, задыхавшаяся в удушливой домашней обстановке, потянулась к знаниям и свежим людям.

А такими свежими людьми в Иваново были приезжие учителя.

Из числа их В. А. Дементьев *) был поистине светлым лучом в темном царстве. Богато одаренный и отзывчивый, он имел большое благотворное влияние на стремившуюся к нему молодежь. Нефедов и безвременно угасший В. А. Рязанцев **) нашли в нем истинного друга и руководителя. Из них и некоторых других лиц около Дементьева скоро образовался литературный кружок, где читались новые книги и журналы, велись рассуждения о литературе и разных вопросах, в изобилии возникавших в то предреформенное время в нашей общественной жизни. Впрочем, для многих участников кружка этим все и ограничилось. Только Нефедов, оказавшийся энергичнее других, пошел по другой дороге. В конце сентября месяца 1862 г. он оставил Иваново и против воли родителей уехал в Москву.

В Москву Нефедов приехал с целью сдать при университете экзамен на звание домашнего учителя.

*) Вас. Ар. Дементьев (умер 15 сентября 1871 г.) писатель, автор народного рассказа „Левка бобыль“ (Москвитянин 1852 г.), ряда статей „Педагогические очерки и заметки домашнего учителя“ („Воспитание“ 1859—61 г.г.); долгое время жил в Москве, работая в журн. „Москвитянин“ вместе с известным критиком Ап. Григорьевым и талантливым писателем И. Т. Кокоревым. Возвратясь в середине 1850-х г.г. на родину, Костромск. губ., собирал этнографические материалы и около 1858 г. поселился в селе Иваново, где занял место учителя в прогимназии и бесплатно у себя на дому учил детей Ивановской бедноты.

Л. Б—в.

**) Вас. Ал. Рязанцев, писатель из народа, род. в 1829 г., ум. 7-го ноября 1866 г. в с. Иваново. О нем см. мою статью в „Ив.-Воз. Губ. Ежегоднике“ на 1921 г., стр. 294—96.

Л. Б—в.

По законам того времени, (действовавшим, впрочем, до „высочайшего“ указа 5-го октября 1906 г.) лица, податного состояния, (крестьяне, мещане и рабочие), к поступлению в учебные заведения и к экзаменам на звание учителя и т. п. без разрешения своего общества не должны были допускаться.

Такое разрешение должен был иметь и Нефедов, принадлежавший к крестьянскому сословию. Но Ивановское общество, всегда вообще враждебно относившееся к „выскачкам“, отказало ему в этом.

Вот какую интересную запись сделал по этому поводу Нефедов 28-го марта 1863 г. в своем дневнике:

„В течение трех месяцев я ничего не записывал. Хотя и многое, многое нужно было бы сказать о своем житье-бытье. Но теперь не время отдавать отчет за три месяца: через два часа еду в свое родное болото. Здесь скажу одно, что не достиг своей цели: общество не выслало увольнительного акта, и правление университета не допустило меня к экзамену.

Не знаю, что ждет меня в болоте. Воображение рисует не радостную перспективу: двусмысленные взгляды антагонистов, а они—все население болота; война с невежеством и с грубою силою зоологического царства и многое, многое в этом роде... Не радостна картина будущего!

Москву я оставляю не без грусти, но и не без надежды скоро опять ее увидеть. Неужели эта грубая, материальная сила станет поперек дороги и заставит меня отказаться от всех стремлений, которыми жила душа с младенчества, и затянет в самую глубину омута животного царства? Нет, тогда я откажусь от самой жизни и с презрением скажу животной силе: я не буду твоим рабом!“ *)...

И, действительно, Нефедов не покорился, сумел-таки вырваться из общества, и в мае месяце того же 1863 г. опять уехал в Москву.

Он стал прилежно готовиться к поступлению вольнослушателем в университет, добывая средства к жизни

*) „Старый Владимирец“ 1916 г. № 72.

службой в частной библиотеке, уроками и литературным трудом. Писал в это время он усердно и напечатал много рассказов, злободневных фельетонов (главным образом в „Развлечении“) и публицистических статей (в „Веке“, „Моск. Газете“, „Молве“, „Дне“ и „СПБ Ведомост.“), подписывая все это псевдонимами: Ф. Уводин, Незаметный, Нескажуся, Д. Яблоков, Н. Глебов, И. Б., Ф-в, Н. Оврагов и Н. Позднее к ним прибавились: Иван Беспечальный, Житель желтого дома, Н. Погромов, Иван Вознесенский и др.

Материалом для работ ему нередко служила своеобразная жизнь родного села Иванова. Из произведений, написанных на эти темы, наиболее крупным и выдающимся является рассказ „Чертово болото. „Фома неверный и его деяния“ („Развлечение“ 1864 г. №№ 18, 24, 29, 31, 36, 46, 49, 50), рисующий жизнь ивановцев, сосредоточенную около проделок судебного следователя-взяточника.

Поступление затем в университет на правах вольнослушателя и постоянное общение с литераторами и учеными отразилось на Нефедове в высшей степени благотворно и развивающе. Этот период жизни в Москве он впоследствии подробно описал в биографии своего друга, известного писателя А. И. Левитова *), выведя себя здесь под буквами NN.

В 1868 г. он женился, и с этого же года начали появляться в лучших изданиях более крупные его произведения, заставившие обратить на себя внимание: „Деревенские очерки“ („Современное обозрение“ 1862 г. № 2), „Девичник. Очерк фабричных нравов“ („Отеч. Записки“ 1868 г. № 9), „Иван воин“ („Неделя“ 1868 г. №№ 42, 43), „Святки в селе Данилово. Очерки русской фабричной жизни“ („Вестник Европы“ 1871 г. № 3), „Леший обошел“ (там же № 9), „Безоброчный“ („Грамотей“ 1871 г.).

Семейное счастье Нефедова продолжалось, однако, не долго. В конце 1870 года он вынужден был разойтись

с женой и уехать в Иваново, чтобы в одиночестве забыться и отдохнуть.

Как раз в это время между крестьянами села Иванова и их бывшим помещиком гр. Шереметевым обострилась давняя борьба из-за земли. Нефедов, и ранее (в начале 1860-х годов) полемизировавший в печати с управляющим, по этому поводу вновь написал и поместил в „Молве“ и „Беседе“ („Новый выкуп“ № 1 1872 года) несколько горячих статей, доказывающих всю несправедливость вторичного выкупа крестьянами своей земли.

В это же время по поручению редакций „Русских Ведомостей“ он занялся исследованием Иваново-Вознесенского фабричного быта, в результате чего в этой газете, (1872 г. №№ 59, 60, 61, 62, 79, 80, 82, 83, 84, 85), появился ряд статей „Наши фабрики и заводы“, обративший на себя общее внимание.

В начале 1872 г. Нефедов вернулся в Москву и принял деятельное участие в Политехнической выставке. В качестве управляющего делами комитета по устройству выставки ему пришлось много потрудиться сначала по организации ее, а затем по ликвидации всех дел. Не мало поработал он и для Антропологической выставки.

В 1874 г. Нефедов был избран Московским Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии в свои члены и командирован для собрания этнографических материалов в Рязанскую губернию. С этого года начались многочисленные экскурсии его по различным местностям России, во время которых он записывал образцы народного творчества, особенности языка, обряды, и т. п. Все это Нефедов разрабатывал потом в научных статьях, печатавшихся в специальных изданиях, а также и использовал в своих беллетристических произведениях. Но самый материал, в высшей степени богатый и разнообразный, собранный в громадном количестве и после смерти Нефедова хранившийся во Владимирской Ученой Архивной Комиссии, до сих пор к великому сожалению не издан. Исключение составляет только небольшая

*) Приложена к собранию сочинений А. И. Левитова М. 1884 г. т. I.

часть, опубликованная во „Владимирских Губернских Ведомостях“. („Причитания Владимирского уезда“ 1897 г. № 28; „Вои (голошения), или причитания Владимир. уезда“ 1897 г. № 50; „Заговоры“. (Наговоры, нашептывания, заклинания“) 1902 г. №№ 26—32).

Во время своих экскурсий Нефедов занимался и археологией, произведя, по поручению ученых обществ, много археологических раскопок в Рязанской, Костромской и Владимирской губерниях, на южном берегу Крыма, в южном Приуралье и в Прикамьи. Им были исследованы многие могильники и городища, из которых Ананьевский могильник стоит на первом месте. Все эти исследования и раскопки дали богатый материал для изучения культуры в эпоху глубокой древности.

В 1876 году Нефедов взялся за редактирование „Ремесленной Газеты“ и сумел привлечь в сотрудники многих лучших писателей того времени: Г. И. Успенского, Н. Н. Златовратского, В. С. Слепцова и многих других. Но издатель газеты, Желтов, оказался человеком без всяких средств, что послужило к возникновению ряда недоразумений, в результате которых газета в 1877 г. на № 5 закрылась.

В середине 1879 г. Нефедов был приглашен на должность редактора газеты „Русский Курьер“. Под его редакцией и эта газета, заручившаяся такими сотрудниками, как Д. Н. Анучин, В. А. Гольцев, И. И. Янжул, Н. П. Колюпанов, В. П. Даневский, Дриль и мн. др., скоро завоевала всеобщие симпатии и получила широкое распространение.

Время редактирования „Русского Курьера“ для Нефедова, существовавшего до этого исключительно на непостоянный литературный заработок, а теперь обеспеченного сравнительно хорошим редакторским содержанием, было самым лучшим временем в его жизни. Но эта счастливая во всех отношениях пора длилась недолго: 19-го марта 1881 года он был арестован и подвергнут одиночному заключению. Поводом к аресту, как выяснилось потом, послужила найденная у известного анархиста того времени

С. Г. Нечаева (тоже уроженца Ив.-Вознесенска) шифрованная записка, в которой сообщалось им неизвестному лицу, что для поднятия восстания следует воспользоваться благоприятной почвой Иваново-Вознесенска и что Нефедов в этом может помочь. Через три месяца по ходатайству друзей Нефедов был освобожден под надзор полиции, но от редактирования „Русского Курьера“ его однако отстранили.

Лишившись достигнутого благополучия, Нефедов опять превратился в литературного пролетария и с этого времени почти всецело отдался созданию беллетристических произведений, теперь уже более крупных и законченных. Печатались они в лучших журналах, как „Наблюдатель“, „Русская Мысль“ и „Северный Вестник“, а из прежних изданий только изредка в „Развлечении“ и „Будильнике“. Состоял в это время Нефедов также постоянным сотрудником „Русских Ведомостей“, где, между прочим, поместил ряд статей об Иваново-Вознесенске: „Русский Манчестер“ 1885 г. № № 267, 269, 292, 301.

Существовать одним литературным трудом ему было, однако, крайне трудно. Скоро к тому же добавились заботы о старике отце и о сыне, только что начавшем вступать в самостоятельную жизнь. И в погоне за средствами Нефедов вынужден был постоянно хлопотать о командировках, субсидиях, брать авансы в редакциях, входить в долги. Все это в конце 1880-х годов заставило его переселиться из Москвы в деревню Перебор, Владимирского уезда.

Тихо и скромно зажил он здесь, существуя сотрудничеством в прежних изданиях, а с 1898 г. только в „Русских Ведомостях“.

За этот период времени Нефедовым были написаны такие произведения как „Евлампева дочь“, „Детство Протасова“, „Тайна реки“, „Чудесник Варнава“, „Стеня Дубков“.

На новом месте время от времени навещали его старые московские знакомые и завязались более тесные сношения с г. Владимиром и Плесом, где он любил бывать.

10-го марта 1902 г. Нефедов заболел от кровоизлияния в мозг, а 12-го марта в 11 часов вечера скончался в присутствии приехавшего друга своего, литератора Ф. Н. Митропольского и Владимирского писателя библиотекаря А. В. Смирнова.

Похоронен Нефедов за счет редакции „Рус. Ведомостей“ в Москве на Ваганьковском кладбище рядом с писателями-горемыками А. И. Левитовым и М. А. Вороновым.

В мае месяце 1913 г. на могиле его поставлен гранитный памятник.

Обладая сравнительно скромным по размерам художественным талантом, Нефедов не был крупным писателем. Тем не менее в истории литературы ему принадлежит почетное место, как одному из типичнейших писателей народников. Посвящая свои произведения описанию народной жизни, он первый из русских писателей познакомил читающую публику с бытом и оттенками нашей фабричной жизни, дав ряд прекрасных картин, полных глубокой правды. Еще более верно действительности и изображение им деревенской жизни, сделанное без всякого сокрытия темных сторон и явлений.

Нефедов является представителем народничества, протестующего против отчуждения крестьян от земли и деревни, и в особенности против ухода их на фабрики и заводы. Считая идеалом патриархальную и семейную жизнь крестьянина, он не жалел мрачных красок в обрисовке жизни и типов фабрики, ничего, по его мнению, не дающей человеку, а лишь развращающей и награждающей его болезнями. В типичнейших произведениях этого, рода („Стеня Дубков“, „Чудес-

ник Варнава“), у него непременно рисуется рознь фабричных и деревенских, причем первые всегда выступают отрицательными типами, а вторые — обладающими хорошими нравственными качествами. Общественное настроение изменилось, но Нефедов до конца дней остался верным своему отношению к деревне, устои которой представлялись ему добрыми и прочными в противоположность развращающему и шаткому в своих стремлениях и идеалах городу.

С художественной стороны произведения Нефедова не все одинакового достоинства. Но тут вина не его, а скорее тех обстоятельств, при которых они писались. Приехав в Москву без гроша в кармане, он должен был средства к жизни добывать исключительно литературным трудом. Постоянная погоня за заработком, не дававшая возможности сосредоточиваться на работе, и отражалась неблагоприятно на его таланте. И нужно было обладать громадной энергией, чтобы при таких условиях стать одним из известных писателей своего времени и произведениями своими сделать ценный вклад не только в историю литературы, но и в историю культуры.

Сочинения Ф. Д. Нефедова, еще при жизни его, начали выходить отдельными томами, сначала в издании К. Т. Солдатенкова (т. I—М. 1894 г. 80. т. II—М. 1895 г. 80) а потом — Чарушникова и Дароватовского (т. т. III и IV—СПБ. 1900 г. 80). Но этим все издание и ограничилось, хотя всех сочинений набралось еще бы на несколько томов.

Леон. Богданов.

СЫН ЗЕМЛИ.

(Иван Филипченко. «Эра Славы». Стихи и поэмы 1913—1918 гг. Государств. Изд. Москва 1920 г.).

Земля, земля,
Комок сгущенной грязи,
Средь золотых нулей ты вил
нуля,
Средь пламенных кружащихся
планет.
Я на коленях, в неземном
экстазе,
Тебе молюсь, твой сын—поэт.
(„Земля“, поэма Ив. Филипченко).

„Земля клубок космический, жизнью намотанных нити“, „планета прекраснейшая всех планет“, «любовница», „Солнца жена“, „букет круглый вселенский“ и т. д.,—очарованно восклицает коленапрекломенный поэт, принося пламенными губами души своей к лику земному. Он не дерзает воспарить к небу, он весь земной, он как бы растворен в свободном творческом труде грядущей демократии, он среди тех, у кого „сила и мощь орля десятилетиями растет“, среди „тысячерукой, тысячесильной силы народа“.

В этом мы убедимся, если прочтем от начала до конца книгу стихов и поэм Ив. Филипченко „Эра Славы“.

Порою кажется, что поэт дерзает приподнять на ладони шар земной и показать людям всю огромность, всю грандиозность совершающихся на нем событий.

Или земля откроет поэту свою стихийную душу, или ему не быть. В поэме „Моя поэма“ он говорит своей земной музе, перевоплощаемой им в образ возлюбленной.

За тебя,
За грядущую долю России,
Быть может умру, пламенея. любя.
Я буду твой Дант,—
Будь моей Беатриче,
Отдай все величье,
Все, все в мой талант,
В мою о тебе мечту...

Но всего проникновеннее и глубже выражается любовь и очарование поэта землей, слияние с космосом, в приведенных нами строках эпиграфа

и в таких же, несколько видоизмененных им в „Поэме славы“ стихах:

Миллионы солнц во мглах тебя вскор-
мили,
Орбитой плыть толкнули тьмы систем,
Тьмы тем
Законов на тебе застыли.
Любой поэма мировых поэм.
Земля, земля,
Ком грязи дерзновенный.
Среди светил без паруса, руля,
Средь пламенных кружащихся планет,
В мирах миров тебя прекрасней нет.
Нет счастливей тебя во всей вселенной
На миллионы, миллионы лет.

Все это весьма характерно для определения основной сущности творчества *нового* пролетарского поэта Ив. Филипченко. Книга его стихов и поэм бесспорно может быть названа, если не прекрасной, то единственной, пока что, книгой самобытной поэзии революционного времени.

Своей книгой Ив. Филипченко определенно заявляет, что поэзия не только в лесах, полях, цветах, утонченных переживаниях, любви к женщине и т. п., но и в меньшей степени, а может быть даже и более, в жизни больших городов с фабриками и заводами, движеньи и грохоте машин, торжественном шествии Бога-Труда.

Космическая любовь и очарование поэта славой земли дают ему вламень и силу и оправдывают все дерзкие признания: „есть у меня сердце Прометея, из любви и огня, грандиозный костер святого безумья“, „Я не только Иван Филипченко, я пролетариат, я святого безумья буйный и дерзкий набат“. О своих поэмах он говорит: „...я украл их с Олимпа веков“, „запомни эту библию библий“, „моя книга тебя всемогущим, всеушчим и вечным сделает“....

Целомудренным здоровым взором смотрит поэт на каждую девушку в своих «Симфониях пола».

Я взшел на Фавор с вами преобра-
зиться
На последний уступ горы я взшел,
Вас видеть со всех концов, ваши лица,
Фигуры, походку, прекрасный пол.

Женщину мать он сравнивает с землей:

Лицо земли, что смугло от загара,
Ее высокая напряженная грудь,
Ее утроба, знающая нудь
И радость, и властительные горы,—
Земля прообраз твой.

А открывает ли земля за любовь,
за преклонение, вещие уста поэта?
Вкладывает ли она в них раскален-
ный уголь пророка? Если да, то о
чем же она заставляет его вещать?

Эта книга—
О Демократии Грядущей вселенской,
О сегодняшнем пролетарьяте багря-
ного сдвига.

заявляет поэт, и далее говорит:

Ты не мало знал
Великих искусников слова,
.....
Но мои поэмы о Демократии
О ее труде, величьи и мощи суровой.

Поэт созерцает, как

Человечество шествует на первоевече,
Человечество шествует на свободный
труд.

И пропустив мимо себя рати ра-
бочих, восклицает:

Только век один, век труда такого,
Только век напряженья творческих
воль,

И шелками оденется голь,
И мощью сравняется с мощью Бога.
И земля родимая, золото света
Прекраснее станет всех планет пла-
нетой

Во всей вселенной,...

Следовательно читатель напрасно
станет искать в творчестве Ивана
Филипченко отображения наших дней
со всеми их скорбями и радостями.
Поэт дерзко заглядывает в завтра и,
пламенеющий энтузиазмом, поет во-
сторженный псалом творческому тру-
ду.

В своей „Поэме славы“ он вещает
устаами провидца о жизни Грядущей
Демократии за 70 лет вперед. Пере-
воплощаясь в созерцателя столь от-
даленных дней, поэт заражает и чи-
тателя верой в жизненность вос-
производимых им картин путем опи-
сания по-уйтменовски частных и
мелочей различных работ, с порази-
тельной точной пластичностью.

Но теперь нас спросят читатели:
оправдывает ли поэт целой книгой
все свои самонадеянные и дерзкие
признания? Мы ответим: может быть
—да, а может быть и нет.

Но что же из этого. Ведь поэт и
сам говорит:

Эта книга—отдельные звуки единой
Симфонии мною творимой...
Это только слова из огненной речи,
Выраженья отдельные.
Я иду далече,
Горизонты мои беспредельные.

И каждый, прочитавший вниматель-
но книгу за один присест, увидит и
поверит поэту, что у него

Есть безудержная, мятежная сила
самумья,
Есть молодость, страшная воля.

А также и культура, столь необхо-
димая поэту наших дней.

И было бы очень странно, если бы
поэт заявил, что вот он дает нам
свою первую и последнюю книгу, и
больше от него нечего ждать.

Вот именно нас восторгаться-то и
заставляет то, что эта книга несом-
ненно-преддверие к другим книгам, го-
ворящая читателю, что продолжение
симфонии будет, его не может не быть,
т. к. Иван Филипченко поэт божьей
милостью. И что особенно для него
характерно, так это то, что облик по-
эта не вырисовывается из какого ни-
будь одного стихотворения, а, чтобы
увидать его, необходимо прочесть
всю книгу полностью.

Чтобы закончить свою беглую оцен-
ку творчества поэта, мы находим нуж-
ным коснуться и некоторых недоче-
тов его стихов с чисто внешней
стороны.

На ряду с тем, что язык Филипчен-
ко творчески упруг, решителен, ве-
личав, местами совершенен, отдель-
ные строки пламенеют горячим ды-
ханием, встречаются и своего рода
очевидные недочеты. Мы не берем
на себя смелости касаться здесь по-
грешностей, относящихся к внутрен-
ней сущности творчества, так как
охватить сразу то, что писалось в те-
чении пяти лет, очень трудно и рис-
кованно и можно случайно допустить
незаслуженный упрек поэту.

Когда читаешь книгу Ив. Филипченко, временами приходит мысль: почему он пишет стихи с рифмами и без рифм в одном и том же произведении? Не расхолаживает ли это цельности обаяния? Не величавее ли был бы здесь свободный не рифмованный стих?

И синий свет в ночи немой,
Точно прожектор мировой...
...Несметное, многое делают властно,
На поля поглядывая участно.

Такие строки встречаются только в фельетонах дурного вкуса.

В иных местах автор в угоду рифме портит внутреннюю стройность стиха. В стихотворении „С работы“, где он заставляет преклониться перед шествием тех, чьи руки «пересоздали мир после бога» и приказывает даже погребальному кортежу остановиться и дать прежде пройти рабочим, есть такие строки:

Идут с наростами пыли, как грима
Из каменоломен Атланты Труда.

Здесь театральным термин «грима» портит и уменьшает силу восхищения «атлантами труда». И все это получалось оттого, что автору потребовалась рифма к слову «дыма». В другом месте к словам „тверди“ и „смерти“ он неудачно притягивает рифмой „жерди“ и т. д. То и дело к словам «шар земной» или „земля“ прибавляет эпитет „круглый“, „круглая“ и в одном месте даже „титанический“.

Это небрежность к словам и эпитетам.

Или еще читаем такую банальную, фельетонную строчку.

Здесь миллионов миллионы батраков
первый сорт.

Неудачны также следующие строки в стих «пролетариату».

Бушуют дубы, в дуги гнутся ивы,
Срываются стропила кровель хат,
Табун летит по степи вздыбив гривы,
Метая ржанье, дикие призывы,
Как труб тревогу конских гор набат.

В стихотворении «Города» поэт мысли грядущие города, города демократии, так.

Города Грядущие
Сквозь туман мне видны едва
Точно факелов огненных локоны
Полыхают кресты церквей, соборные
главы.

То, что бросается поэту с первого взгляда в глаза—это церкви или вернее он в будущем видит возрожденные религии.

Может ли это быть?

И много еще подобных мелочей. Но мелочи пусть остаются мелочами. Ив. Филипченко поэт больших возможностей, перед ним открыты широкие горизонты. Одного хотелось бы пожелать поэту—сгущения красок своего творчества путем насыщения образами. Может быть внешняя простота поэзии и будет главенствующей основой искусства завтрашнего дня, но в данное время искания необходимы.

В заключение своей заметки скажем, что Ив. Филипченко, несмотря на проглядывающие в его творчестве следы влияния Уота Уитмана, Э. Верхарна и др.—самобытен. И вместе с восторгающимся в предисловии Юргисом Балтрушайтисом повторим, что рассматриваемая нами книга «могла бы дать автору право называться крупным и, может быть, первым по этому революционного времени».

Будем надеяться, что звезда сына земли не погаснет.

Ив. Жижиин.

Сергей Семин.

Умер Сергей Афанасьевич Семин. Наши ивановцы хорошо знают это имя. Это был поэт незаурядного дарования, творчество которого сразу же обратило на себя внимание.

С. А. Семин происходил из крестьян Владимирской губ., Суздальского уезда, Тумской вол., с. Перелого, но с ранней молодости принужден был жить в людях. Всю жизнь его преследовала нужда; она толкнула его пасти скот, когда ему было 12 лет от роду, она же привела его и в наш город, где он долгое время работал на фабриках в качестве рабочего, в частности на ситцевой Бурялина. Из-за этой нужды он даже не мог окончить сельскую школу и учился в ней только одну зиму. В русском народе, главным образом в его низах, есть замечательная черта;— как бы жизнь его ни была, он стремится к свету, к образованию,—и если закрыты для него школы, он до всего доходит сам, самоучкой. Таким был и Семин. Он нес в своей душе светлый огонек, несмотря на все невзгоды, бившие его на каждом шагу; он много читал, до всего доискивался собственным умом.

Личная жизнь его была полна страдания.

Он страстно хочет учиться, он посещает библиотеки, он сидит над книгами целыми ночами, а день снова работает на фабрике, выказывая при этом удивительную русскую выносливость.

В 1914 году его берут на войну. Казалось, все двери к свету закрыты. Но нет; он и там умеет пополнять свои знания путем бесед с новыми людьми, выше его стоящими по развитию и знаниям... Находясь в окопах, он заучил наизусть почти всего Пушкина, Лермонтова и др. русских классических поэтов. А кругом адская перестрелка, дрожит земля от гула

орудий, нервы напряжены до крайности.

Бесконечные походы, атаки, штурмы. Каждый день на глазах валятся сотни людей...

В 1915 году он получает тяжелое ранение в правую ногу: снарядами раздроблены кости.

Два года он лежит в лазаретах и госпиталях. Только сильная выносливость и крестьянская крепость организма поставили его на ноги, но он уже остался навсегда инвалидом и ходил сильно прихрамывая и опираясь на палку.

Лазаретная обстановка среди людей с раздробленными костями, с оторванными руками и ногами, среди бесконечного горя и стонов, не считая своих невыносимых болей, раньше времени подорвала здоровье.

Особенно мучительны ночи,—вспоминал он.—Кругом стонут. Боль в ноге не дает повернуться. При легком повороте в глазах искры от боли. Спина от долгого лежания горит, словно ее облили кипятком и натерли солью. Желтый огонь ночника освещает стену, снизу черную, в человеческий рост, сверху белую. И не на чем оставить взгляда, отдохнуть, не с кем сказать слова,—у всех срывается крик и стон.

В 1919 году он возвращается в Иваново-Вознесенск, но работать уже совершенно не может.

Я помню первую с ним встречу в редакции „Рабочего Края“. Пришел скромный юноша с тетрадами стихов. Мы попросили оставить их. И когда вечером после работы начали рассматривать исписанные неразборчивыми крючками тетради, сразу же обратили на творчество Семина особенное внимание. С этой поры он начал широко печататься, впервые за свою жизнь в газете „Рабочий Край“ и сборниках. Редакция интересуется его судьбой, устраивает его в качестве надзира-

теля в один из детских домов. Однако, чувствуя себя недостаточно подготовленным для этой роли, он вскоре уходит, терпит голод, и голод снова приводит его на больничную койку.

От голода он едет в Самарскую губ., не порывая связи с редакцией, живет в Новоузенске, в Саратове, в Дергацах. Здоровье его расшатано в конец; большую часть времени он проводит по госпиталям, живет в инвалидных домах, страстно рвется к учению, но нет одежды, обуви, не в чем выйти, и снова он не имеет возможности учиться. Это еще более подрывало его моральные силы.

В декабре 1920 года, проездом через Саратов, я разыскиваю его в одном из инвалидных домов по Гимназической улице.

Семина помещался в общей палате, где лежало человек 20 таких же, как и он, искалеченных людей. Мрачная полутемная комната, почти вплотную кровать к кровати.

В этой обстановке, при желтом слабом свете ночника, Семину приходилось учиться, работать над собой и писать.

Он никуда не выходил: у него не было даже сапог или туфель, чтобы хотя на время уйти от своей кровати. Вид у него был желтый, больной, как у людей, присужденных на долгие годы к больничной кровати. Ему шел тогда 24-й год, но лицо уже избородили морщины.

— Вот теперь учусь,—говорил он, указывая на книги и тетради на столике. Только вот в школу нельзя идти: не в чем.

Человеку, познавшему красоту и сумевшему воплотить ее в ряд прекрасных стихотворений, приходилось жить в самой невероятной, почти казарменной обстановке, и все же у него хватило силы нести в душе светлый огонек.

Весной, по назначению врачебной комиссии, он должен был отправиться на курорт в Пятигорск, заезжает в Дергачи, получает крупозное воспаление легких и 28 апреля 1921 года, 24 лет от роду, порывается его недолгая, но полная страданий жизнь.

Литературное наследие Семина не велико. Но есть вещи, которые измеряются не количественно, а качественно.

Во всех произведениях Семина чувствуется большая любовь к миру, к земле и труду, ко всему живущему.

При других условиях и обстановке из С. А. мог выйти большой русский поэт. Жизнь его лишней раз показывает, как много в русском человеке заложено творческих сил, которые, как цветы на мостовой, несмотря на самые невероятные условия, дают ростки.

Подготовлен к печати томик его стихов, но к сожалению выпуск его по техническим причинам откладывается.

Мих. Артамонов.

Стихотворения Сергея Семина.

Даль.

Душе до жуткости приятно
Тонуть в неведомой дали,
Где солнце в шири необ'ятной
Сквозные плавит хрустали;
Где над хрустальными ручьями—
Лучисто-синей высотой
Напечен радостью с краями
Раздолья кубок золотой.
Лети, душа, навстречу воле,
Об'ятя шире распахни,
От суеты, от жгучей боли
Вдали заветной отдохни.
Пусть эта даль еще загадка,
Но страстно веря в эти сны,
Душе в бреду стремиться сладко
Навстречу веющей весны.
Минуют горькие години,
Уйдет из памяти печаль,
Растопит ненависти льдины
Родных полей родная даль.

Труженикам.

Поглядите ликующим взором,
Как прекрасна под вами земля,
Как весна разноцветным узором
Украшает родные поля,
Как курятся душистые травы,

Загораясь слезами росы,
 Как в тени благовонной дубравы
 Расцветают живые красы;
 Сладкий шопот листов изумрудных,
 Поцелуи горячих лучей
 И сиянье божественно чудных
 Благодатных весенних ночей;
 Вольных птичек стозвучные трели
 Над простором желтеющих нив,
 Томный голос знакомой свирели,
 Чудный песен родных перелив:—
 Эти прелести божьего мира
 На отраду душе созданы.
 Отчего же душа ваш сира
 Если чувства благие даны?
 В день погожий весною нарядной,
 В светлый праздник, покинувши плуг,
 Выходите из хижин смрадной
 Отдыхать на муравчатый луг.
 Все, чью грудь иссушила забота,
 Кому скресу нужда не дает,
 Кто истек от кровавого пота,
 Кто до сыта не ест и не пьет;
 Все, кто плачет по милой свободе,
 Чья душа от страданий болит,—
 Приходите молиться природе,—
 Вас святыня ее исцелит.
 Храм ее лучезарней и чище
 Всех божниц золотого тельца;
 В нем обильней духовная пища,
 В нем мы ближе к престолу Творца.
 У земли и у синего неба
 Много милости, много щедрот;
 Всяких благ и насущного хлеба
 Вдоволь людям природа дает,
 В светлом храме природы-царицы,
 На восходе румяной зари
 Служат завтреню певчие птицы,
 Ей святые поют тропари.
 Утешителен, сладок их голос,
 Их кадило—ночная роса,
 С умиленьем их слушает колос,
 Им внимают вверху небеса.
 В храм пресветлый земных украшений
 Пусть и малый придет и большой.
 В нем забудете горечь лишений,
 Умилясь отдохнете душой,
 В нем от пыла борьбы освежитесь;
 Внидет радость в больные сердца.
 В правду верой святой укрепитесь
 Под покровом природы Творца.

Встреча.

Приготовь для меня уголок,
 Убери полевыми цветами,
 Вздень на кудри душистый венок,
 Разряди свою грудь васильками.
 Мне не надо ни лилий, ни роз,
 Навевающих сладкие муки,—
 Я хочу утешительных слез
 После долгой с тобою разлуки.
 Я хочу у тебя на груди
 Неутешное выплакать горе.
 Хоть улыбкой меня награди
 В просветленном ласкающем взоре.
 Может быть твой венчальный наряд
 И певучие нежные речи,
 И застенчивый девственный взгляд
 Мне напомнят минувшие встречи.
 И когда я увижусь с тобой,
 Может быть, снова счастлив я буду,
 Примирюсь с несчастливой судьбой
 И тебя никогда не забуду.

Девушкам.

Как чашечки медвяных лилий,
 Как стебли скошенной травы,
 Без упований, без усилий
 Бывало увядали вы.
 Взгляните—жизни даль светает
 Под жгучим пламенем борьбы,
 Мать жизни новой расцветает
 На место женщины рабы.
 Окиньте даль небесным взором,
 Где голубеет небосклон,
 Где ярким солнечным узором
 Ваш путь свободный расцветчен.

Б Р О Д.

Брожу в чаду твоих угаров,
 Живу в порывах грозových,
 Овеян жаром троттуаров
 И едкой пылью мостовых.
 Душа, в твой омут погружаясь,
 Гнетущий сбросила покой,
 Но в суете преображаясь
 Заныла огненной тоской.
 Где великанов вереницы
 К себе приковывывают взор,
 Душе моей невольно снится
 Благоухающий простор.

Боевая песня.

Распрямитесь сутулые плечи,
 Развернись богатырская грудь!
 Всколыхнуло призывное вече
 Вековечную старую жуть.
 Много пролито в тяжкой неволе
 Нами кровного пота и слез,
 Не напрасно на жертвенник воли
 Вековечное горе лилось.
 Не напрасно слезами кропили
 Мы просторы родимой земли,
 Мы насилье в слезах утопили,
 В яром гневе темницы сожгли.
 Слава погибшим борцам,
 Павшим за честь и свободу!
 Слава родному народу!
 Слава отважным сердцам!
 Задыхаясь без воздуха в копях,
 Изнывая за ткацким станком,
 По лесам по болотам и в топях
 Жил рабочий народ батраком.
 Но страданий великая чаша,
 Братских слез не вместив, разлилась
 И небесного солнышка краше
 Наша родина-мать поднялась.
 От набатом плающей вести,
 Что низвергнуто зло наконец,
 Чудной сказкой России—невесте
 Показался желанный венец.
 Слава погибшим борцам,
 Павшим за честь и свободу!
 Слава родному народу!
 Слава отважным сердцам!
 Над грозой, как из олова вылит,
 Встал сермяжный мужик великан.
 Буря бедствий его не осилит,
 Не сметет никакой ураган.
 Богатырское сердце выграло,
 Ломит руки неведомый зуд,
 Все сметет, что людей угнетало,
 Справедливо карающий суд.
 Разгоняя былое ненастье,
 Входит солнце от башен Кремля,
 Чтобы в мире довольство и счастье
 Процветало, родная земля.
 Слава погибшим борцам,
 Павшим за честь и свободу!
 Слава родному народу!
 Слава отважным сердцам!

Мужицкая дума.

Помолюсь я солнцу огневому,
 Поклонюсь кормилице земле,
 Ветеркам и небу голубому
 И румяной ласковой весне.
 За тебя я жизнь свою с любовью
 Положу кормилица-земля.
 Я вспоил тебя своею кровью,
 Окропил слезами я поля.
 Много лет тяжелых пережито,
 Горьких много выплакано слез,
 Лишь теперь обильней будет жито
 После трудовых кровавых рос.
 Для меня теперь настало время
 Развернуться, грудью всей вздохнуть
 И с согнутых плеч невзгоды бремя
 Навсегда последний раз стряхнуть.
 Помоги же мне весна-царица,
 Пред твоей молюсь красотой,
 Награди поля мои пшеницей
 И душистой рожью золотой.
 Не совсем душа моя во мне убита,
 Много чувств и силы у меня,
 Горечь жизни будет мной забыта,
 Не боюсь черного я дня.

БОЕВАЯ.

Выходите померяться силой
 Все, кто тайный и явный наш враг,
 Перед вашей оравой хилой
 Мы не склоним победный наш стяг.
 Мы в бою научились сноровке,
 Здесь к лишениям каждый привык
 Крепко держим в руках мы винтовки,
 Не погнется отточенный штык.
 Не страшны никакие угрозы,
 Нас не сломит ни голод, ни мор;
 Чем сильнее раздражаются грозы,
 Тем сильнее даем мы отпор.
 Близок гибели час неминучий
 Всех неправых возмездие ждет.
 Все падет перед ратью могучей,
 Что на волю труда восстает.
 Подними свое красное знамя
 Выше труженик честный народ.
 Верьте, братья, победа за нами;
 Дружным натиском двинем вперед.

Отклик русского общества на отлучение Л. Н. Толстого.

В 1901 году Св. Синод отлучил Л. Н. Толстого от церкви и свое определение обнародовал в особом послании, где 7 видных тогдашних иерархов, „свидетельствуя отпадение от церкви и веры“ Л. Н., подписались под актом отлучения. Иерархи эти были: Антоний, митрополит Петербургский и Ладожский, Θεогност, митрополит Киевский и Галицкий, Владимир, митрополит Московский и Коломенский, Иероним, архиепископ Холмский и Варшавский, Паков, епископ Кишиневский и Хотинский, Маркелл, епископ и Борис, епископ.

Общественное мнение было вовсе не на стороне строгих „блюстителей веры и благочестия“, но, стесненное специальным запрещением, откликнуться в печати на это событие не могло и ответило тогда же множеством памфлетов, басен, стихотворений и прозаических статей, которые в большом количестве переписывались, размножались и ходили по рукам. Создалась своего рода обильная потаенная литература. Эту литературу читали, она была порой то толчком к возбуждению разговоров на „запрещенную“ тему, то просто любопытной, особенно в то время, сатирой на главных виновников события.

Вот, два таких „летучих“ стихотворения, вызванных к жизни событием отлучения Л. Н., попали в наши руки. Предполагая, что они представляют некоторый интерес для определения общественного настроения того времени, мы печатаем их полностью.

Голуби победили.

(Басня).

Чем дело началось—не помню, хоть убей;
Но только семь смиренных голубей,
Узнав, что Лев блюсти не хочет их обычай,
А вздумал,—(дерзость какова!)
Жить на подобье льва,—
Решили отлучить его от стаи птичьей...
Ни для кого теперь уж не секрет,
Что послан Льву такой декрет,
Чтоб с голубями он не смел летать, покуда
Сам не научится, как голубь, ворковать
И крошки хлебные клевать.
Ликуют голубки: „Мы победили! Чудо!
Мы надо Львом свершили правый суд,
В лице своем соединить умея
И кротость голубя, и хитрость змея“...
Однако, может быть, вопрос им зададут:
Да где ж победа тут?
Но так как, если верить слуху,
Те голубки сродни Святому Духу,
То каждый, чтобы быть умней,
Конечно, от таких воздержится вопросцев,
И будут славить голубей,—
И первый я—Подебносцев.“
„Это один из стихов, которые ходят по
Москве по поводу известного Вам собы-

тия“, писал Федор Никитич Митропольский из Москвы писателю—народнику, уроженцу села Иванова, (ныне г. Иваново-Вознесенск,) Филиппу Диомидовичу Нефедову, *) когда он жил в небольшой деревушке Владимирской губ. и у., Переборе. Федор Никитич в 90 г.г. работал с Филиппом Диомидовичем в Русском Курьере, а в 900 г.г. он постоянный сотрудник „Русских Ведомостей“ и находится в центре свежих общественных веяний и течений.

Конкуре (по Оффенбаху).

Семь смиренных спорить стали
Как то раз с глазу на глаз:
„Саваоф“, они сказали,
„Кто смиреннее из нас“.

Вдруг как будто из тумана
Перед ними, как живой,
Бросив Ясную Поляну,
Появился граф Толстой.

Посмотрел он им (sic) на ризы
На чудные колпаки
И при этом в виде приза
Сделал фигу из руки.

Смотрят их преосвященства
И уверены вперед,
Что на конкурсе смиренства
Отличится весь синод

Но случилось дело плоше,
Чем решил святой синклит,
Подошел сперва Антоша
И Толстому говорит:

Окажи брат предпочтенье:
Наш Колкое мне говорит,
Что в Синоде по смиренью
Первый я, митрополит.

Посмотрел Толстой сурово,
На кресты ему взглянул,
Но не вымолвил ни слова,
Только бровью подмигнул.

„Врет он“ крикнул Θεогноша,
Даже злобы не тая,
Первый вовсе не Антоша,
А уж ведомо, что я.

И опять Толстой сердито,
Но ни „против“ и ни „за“,
Посмотрел митрополиту
В несмиренные глаза.

*) См. о нем статью А. В. Смирнова „Ф. Д. Нефедов“ (его жизнь и деятельность. Био-биографический очерк). Очерк этот напечатан в „Трудах Влад. Учен. Арх. Комм.“ кн. XVIII, Владимир 1917—1918 г.г.

Наконец идет Володя,
Подожел и говорит:
Стало быть... тае в Синоде,
Ведь и я митрополит.

Дальше он на полуслове
Оборвался в языке,
Так как граф, насупив брови,
Крепко фигу сжал в руке

Наконец с молитвой к Спасу,
Чуть дыша, потупя взор,
С видом грешного Колкоса
Входит обер-прокурор.

И Толстой ему, как другу,
Хоть с восторгом, но без слез,
Как услуга за услугу,
Женин кукиш преподнес.

Получено 6 апреля.

Это стихотворение хранилось в семейном архиве А. А. Бакунина, брата известного анархиста М. А. Бакунина.

В том же архиве А. А. Бакунина сохранилось его письмо к Л. Н. Толстому, написанное в связи с отлучением Л. Н. Из письма мы видим, что окованная цензурными запрещениями, тогдашняя общественная мысль все таки не замирала: переловыми людьми той эпохи писались и серьезные статьи—возражения и распространялись упрощенным путем—в рукописных тетрадках. Далее, письмо это ценно, как в том отношении, что рисует взаимные отношения двух видных сотрудников минувшего века, так и потому, что не оставляет теперь у нас сомнений относительно того, что и иначе мыслящие по другим вопросам современники Толстого в данном вопросе (свобода веры) были на его стороне и считали нужным и находили смелость выражать свое понимание и сочувствие его взглядам.

Вот письмо А. А. Бакунина: *)
Лев Николаевич!

Начну с того, что попрошу у Вас изви-

*) Письмо проводится с соблюдением новой орфографии.

нения за невольное вторжение, хотя и письменное, в тишину и спокойствие Вашей мысли и Ваших убеждений моими письменными заявлениями. Но это произошло потому, что прочитавши Вашу статью о рабстве нашего времени *) я высказал по поводу ее свои возражения. Мои друзья и знакомые просили меня эти возражения изложить письменно, что я и сделал.

Мои возражения явились в виде целой статьи; друзья и знакомые переписали, и она пошла по рукам. Все это произошло гораздо раньше, чем состоялось известное постановление Синода. В настоящее время, первое с чего я начну, это заявление, что не только обеими руками, но и головой и жизнью подписываюсь в моем совершенном согласии с Вашим ответом Синоду, с Вашим обращением к царю и его советникам по поводу студенческих волнений.

Второе же состоит в том, что посылаю Вам на Ваше усмотрение и свою статью о рабстве нашего времени, надеясь, что Вы сами обсудите и оцените причины, побудившие меня написать ее, не для публики, а только для людей, разделяющих со мной одинаковый образ мыслей и отношений к обществу.

В чем я с Вами вполне согласен, это то, что в глубине самой основы общества всегда лежит не церковность, а истинная религия, выраженная Вами в Вашем ответе Синоду.

Истинно уважающий и любящий Вас

Александр Бакунин.

1901 г. апреля 25.
Среда, с Премухино.
25 апр. 1921 г.

Н. БЕЛЬЧИКОВ.

*) Статья Л. Н. „Рабство нашего времени“, напеч. в собр. соч. изд. журн. „Неделя“, т. II, а также в собр. соч. Л. Н. изд. журн. „Ясн. Поляна“, т. II.

ИЗ ИСТОРИИ КНИГИ.

Пятьдесят лет тому назад, т. е. в 1870 г., вышла в свет книга: Сочинения „Фердинанда Лассалья“, перевод В. Зайцева, т. I. СПб. Издание Н. Полякова, 1870 г.

Книга появилась на рынке: книгопродавцы получили экземпляры для продажи и частные лица успели приобрести книгу и начитать; почти все общественные библиотеки, Московские по крайней мере, так позволяют утверждать нам сохранившиеся документы, озаботились покупкой книги этой и спокойно выдавали ее своим абонентам

Но через два года, т. е. в 1872 г., правительство спохватилось: задержало в типографии 2-й том сочинений Ф. Лассалья, который так таки и не увидел света в этом издании, и приняло крупные меры к изъятию 1-го тома из общественных библиотек и книжных магазинов и меры к совершенному уничтожению книги.

Итак, правительство решило исправить свою ошибку..

Главное Управление по делам печати, в виду „особого значения книги Лассалья, обратилось с представлением о ней в Комитет министров.

В деле (№ 75 за 1872 г.) о книге Лассалья, имеющемся в архиве Секретного отделения канцелярии Моск. военн. ген.-губернатора, ныне хранящемся в III-м отделении Государственного Архива, самого представления о книге нет, но сохранились те мероприятия, каковые были направлены к ликвидации этого издания.

Руководящая роль принадлежит самому Главному Управлению по делам печати. И вот оно прежде всего рассылает „конфиденциально“ (секретно) отношения всем Начальникам губернии. Такое отношение от 4 сент. 1872 г. № 3442 получил и московский начальник: „Комитет г.г. Министров, гласило отношение, согласно Высочайшему Его И. В. повелению о применении силы закона 7 июня 1872 г. к указанным в нем неподцензурным книгам и изданиям, по коим до обнаружения означенного закона не состоя-

лось еще судебных постановлений, положил: вышедшую в свет в 1870 году книгу под заглавием „Сочинения Фердинанда Лассалья. Перевод В. Зайцева, т. I СПб. издание Н. Полякова, 1870 г.“ *запретить*.

Вследствие сего Гл. Управление по делам печати, по распоряжению г. Управляющего Мин. В. Дел, имеет честь покорнейше просить Ваше сделать зависящее распоряжение о *конфискации* и уничтожении экземпляров означенной книги, кои окажутся в продаже в книжных магазинах и в лавках, а равно будут находиться в публичных библиотеках для чтения во вверенной Вам губернии. При этом Гл. У. покорнейше просит принять меры, чтобы настоящее распоряжение г. Управляющего Министерством было приведено в исполнение во всей точности и безотлагательно и о последующем уведомить Гл. Управление.

Подписал и. д. Нач. Гл. Управл. по делам печати Н. Вараданов.

Скрепил: правитель дел Ю. Богушевич.

Верно: помощник правителя дел В. Артемьев.

Затем, то же Управление через два дня снеслось по тому же поводу и с Моск. военн. ген.-губернатором. Это отношение имеет большой интерес, так как Управление указывает основания своих деяний—таких чрезвычайных мер, давая оценку этой „вредной“ книги.

М. В. Д.

Главное управление по делам печати. 6 сентября 1872 г. № 3571.

Господину Московскому
Генерал-Губернатору.

Комитет г. г. Министров, рассмотрев представление мое о запрещении книги „Сочинения Фердинанда Лассалья“, в двух томах, находил, что вышедшая в свет в 1870 году книга под заглавием: „Сочинения Ф. Лассалья... т. I-й задержанный в том же и 1870 г. до выпуска в свет из ти-

пографии II-й том того же издания, представляются крайне вредными, как по общему направлению сочинений Ф. Лассалья, *содержащих* в себе *изложение* подробной теории *социально-демократической революции в существующем порядке* государственного и общественного строя, так и по отдельным *закрывающимся* в означенных сочинениях *суждениям касательно* христианской *веры*, монархической *власти* и основных *начал собственности*. Посему Комитет положил: изданные Поляковым в переводе В. Зайцева два тома сочинений Ф. Лассалья запретить.....

В заключение просьба распорядиться о конфискации и уничтожении книги. Подписался Управляющий Мин. Вн. Дел К. Ловягин.

Из документов видно, что старший инспектор по делам печати в Москве Ф. Николин был призван исполнить это распоряжение. Отобрав книгу у библиотек и у книгопродавцев в количестве 9 экземпляров и уничтожив 28 октября ее *созжежением* в присутствии своем и полицеймейстера 1-го Отд. полк. Огарева, Никитин рапортом доносил о том Моск. ген.-губ. Долгорукову. *Finita comedia!*

Итак, 28 октября 1872 г. в Москве опять произошло довольно обычное в истории нашего прошлого явление, как называли встарину, — «сожжение сует», — на сей раз „суетой“ была книга Ф. Лассалья.

Об этой эпохе „гонения на книги“ у нас имеются ценные воспоминания известного славянофила Ивана Сергеевича Аксакова.

В письме к своей довольно известной современнице А. О. Смирновой 6 декабря 1872 г. тот писал:

Если бы вы ведали, что у нас творится! Знаете ли вы, что не в фигуральном смысле, а в буквальном, *воздвигнуты* у нас *костры*, на которых *жгут* книги. Прежде, благодаря в особенности покойному Милютину, был издан закон, по которому нельзя было конфисковать никакой книги, не начав в то же время против автора судебного иска. Но так как суды большею частью оправдывали авторов, то

в начале года был издан новый закон, *) позволяющий литературной полиции конфисковать и уничтожать книги, напечатанные без предварительной цензуры, **) прямо, своею властью, не прибегая к суду. И уж уничтожают!.. Трудно отважиться на какое либо издание; и свирепствует пуще всех М. Н. Лонгинов, в звании Главного Начальника Цензуры. Никогда это презрение к литературе не доходило до такой грубости, до такого цинизма и что всего замечательнее или приискорбнее, это — совершенное равнодушие общества. Прежде всякая нелепость цензуры становилась „анекдотом“, быстро распространявшимся по всей России. Теперь же действия вопиющие цензуры и вопли литераторов не имеют ни малейшего резонанса“... (см. Р. Архив, 1895, кн. 12, стр. 472).

Ясно, что на одном из тех костров, о которых писал И. С. Аксаков, была сожжена и книга Ф. Лассалья, но ведь этот костер был несомненно невелик; сожгли всего 9 экземпляров. Думается, что Ив. С. Аксаков, как современник, преувеличил размеры „костров“, но нам теперь спустя 50 лет, виднее картины той жизни.

Что преследовали и жгли книгу в то время, несомненно, но если уж такую вредную книгу, как сочинения Ф. Лассалья, могли при тщательных поисках раздобыть только 9 экземпляров, сжечь их и на том покончить дело, то к поискам менее „вредных“ книг, конечно, прилагалось куда меньше усилий. И „вредная“ книга проникла в общество, учила общество лучшему и вредила тем правительству.

Сочинения Ф. Лассалья после 1870 г. впервые были изданы в 1905 г. издательством Н. Глаголева, в 3-х томах и издание было дозволено цензурою 25 авг. 1905 г. До 1914 г. книга эта выдержала уже 3 издания. 2 августа 1920 г.

Н. Бельчиков.

*) Аксаков разумеет закон 7 июня, о котором упоминалось выше.

**) Сочинения Ф. Лассалья относились как раз к этой категории книг (см. выше).

ПЕРЕГРУППИРОВКА СИЛ.

I.

Четыре года тому назад 12 миллионов русских солдат в ответ наседавшему противнику, не знавшему ни пощады, ни жалости, воткнули штыки в землю и разошлись по домам. Событие, неслыханное в мировой истории. Но за этим событием последовало другое, не менее чудесное.

В последующие четыре года организовалась и окрепла небольшая по сравнению с общей численностью населения в стране—но прочно сколоченная, проникнутая духом внутренней железной дисциплины партия коммунистов,—собрала, связала солдат этой большой страны, этих же солдат, но уже голодных, разутых—сплотила их в новую армию и ввела их в новые бои, если и не более кровавые, то более разрушительные.

В стране останавчивался транспорт; в стране стали заводы; в стране был мор; был тиф, холод; в стране были казни египетские,—а солдаты новой армии шли, сражались, умирали, побеждали и заставили в конце концов отступить противника, вооруженного новейшими, чудеснейшими изобретениями человеческого ума и рук.

Они сражались за землю. Они сражались против господ своих. Но на их знаменах был еще другой лозунг:

Братство народов—будущее общество без войн и угнетения человека человеком.

Казалось с первого взгляда, что они гибли за далекие, чуждые непонятные идеи, за не свое, за наносное, навязанное со стороны.

И вместе с тем это было несомненным фактом...

Но армия—сколок с государства. Она живет тем же, чем живо и государство, ее создавшее. Каково государство—такова и армия. К каким берегам плывет государственный корабль—туда стремится и армия: ибо, если говорить о государственном корабле, то армия—это матросы, готовые в каждую минуту железом и кровью отстаивать свое судно от врага.

Если армия сражалась за торжество

революции в мире, за братство народов, за новое будущее—то для этого же существовало и российское советское государство.

Это так и было. Российская советская республика возникла и существует для того, чтобы была революция не только в России, но и в других странах. Конечно, прежде всего в России. Но у себя революцию закончить нельзя, пока не совершилась она в других странах. Это доказано. И вот возникает государство—самое удивительное, невиданное,—государство, смысл которого заключается в том, чтобы победила международная революция... Рязанский мужик и тульский рабочий, сражающиеся за торжество коммунистического интернационала!...

... Не забудьте, что рязанский мужик и тульский рабочий, четыре года тому назад бросили оружие и вышли из войны путем, совершенно необычайным...

II.

Что же тут удивительного?—скажет иной.

Народ был всегда Иванушкой-дуррачком, с тем однако, существенным отличием, что его Жар Птица, его королевство доставалось всегда не ему, а хитрым, немногочисленным расчетливым людям господам и властителям. Народ боролся, одурманенный какой либо идеей, а господа и властители получали реальные выгоды. Священные войны, крестовые походы, идеи нации, отечества, освободительные войны, войны во имя торжества культуры!.. Теперь пришли коммунисты,—одурманили, обманули народ международным братством, социализмом, заставили его драться во имя этих идей и на костях его основали свою силу и власть.

Но разговоры о „коммунистическом обмане и дурмане“ ни в какой мере „не спасают положения“.

Допустим на минуту обман и дурман. Но почему стал невозможен старый прежний дурман? Откуда эта потребность в новом обмане? Почему

массы отбросили идеи веры, отечества, нации и стали сражаться и умирать за странный непонятный на первый взгляд коммунистический интернационал? Или в этом нет своеобразного знаменья времени?

Факт тот, что во имя старых идей впервые многомиллионный народ отказался бороться и поднял знамя борьбы за новое право не воевать за старые иллюзии и обманы. Главное в том, что творцы советской республики сказали миллионам народа: вы умирали за религиозные химеры, за царство на небе, за отечество, нацию. Пришло время обнаружилось, что это — ложь, нужно бороться за другое. И народ согласился на это *другое*, впервые пошел и стал бороться, умирать и побеждать в обстановке неслыханной нищеты. Старым идеям был нанесен смертельный удар. Была война самая языческая, атеистическая, антинациональная — употребляя это слово в старом смысле.

Был первый случай в мире такой войны, такого государства. Есть истинная правда в стихах А. Блока в поэме „Двенадцать“.

„Товарищ, винтовку держи, не трись!

Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную
В толстозвядую!

Эх, эх, без креста!“.

Без креста воевали. Против креста, против старых фетишей. В этом вся суть.

В мир вошло новое. У народа решившегося воевать „без креста“, еще будут свои падения и победы. Еще не раз враги его будут готовы торжествовать. Но рубикон перейдем. Что бы не случилось, какие бы препятствия не встречались на пути, как бы не были тяжки поражения — новая страница истории перевернута.

— Разрезана нить жизни как мечем.

На авансцену истории вышли новые силы. Старое надломилось. Старый мир со старыми обманами рассыпается.

„Стоит буржуй, как пес голодный
Стоит безмолвный как вопрос,
И старый мир, как пес безродный
Стоит за ним, поджавши хвост
(А. Блок).

Указанием на новый коммунистический обман ничего, таким образом, не достигается, ничего не опровергается. Подобными ссылками стараются ускользнуть от самого главного, — затереть, замаять неприятнейший многим факт: была война, было и есть государство «без креста», но с красным знаменем мятежа.

III.

Враги Советской Республики теперь радуются.

— Помилуйте — полнейший крах коммунизма. Вместо социализма — ужасающая разруха, полный отказ от коммунизма, насаждение капитализма, возвращение к свободной торговле, к личной инициативе и предприимчивости; вместо „социалистического рая“ голод в Поволжье, холера, цынга и другие эпидемии.

А в области идеологии? Усталость масс, апатия, недовольство советским режимом, среди обывателей и интеллигенции, антисемитизм, религиозные устремления, реакция ума и воли.

Многие уже строят „планы“ о том, что будет „на другой день после большевиков“. Одни говорят о монархии, другие о военной бонопартистской диктатуре, третьи о возвращении к мартовским заветам. Планов сколько угодно.

Характерно, однако, что во всех этих „планах“ сквозит полная неуверенность, робость, скептицизм.

Одни держат курс по прежнему на Антанту и ждут союзного барина и американского дядюшку. Но Антанта испробована. Итоги более чем плачевны: большевиков не свалили, а хозяйство застопорили. Кроме того обнаружилось с полной очевидностью у союзного барина и у американского дядюшки нет ничего за душой по отношению к России кроме лозунга: жрать.

Разочарованные в Антанте толкуют об учредительном собрании. Но и оно

было: в Сибири, в Поволжье, на Кубани. Результат тоже известен.

Но главное, пожалуй, не в этом. Главное в том, что предсмертные тени легли на лицо старого мира. Как будто буржуазия справляется с послевоенным наследием, как будто рабочий класс оттиснут и вынужден местами перейти от нападения к обороне,—но не радуется это сегодняшних господ положения. Отчего за рубежом—не говорим о Сов. России—так много толков о гибели культуры, о закате западной цивилизации. Что-то подорвала империалистическая война, что-то нарушила русская революция: и в результате подорван кредит к западной капиталистической цивилизации. Говорят: пророчества большевиков о международной революции не сбылись. Да, мы ошиблись пока в сроках. Но только в сроках. Но наша ошибка не очень-то радует понимающих и наиболее вздумчивых из наших врагов. Европейский капиталистический мир похож сейчас на человека, получившего тяжчайшую рану. Кое как удалось ее залечить. Получена отсрочка. Надолго ли? Организм кое как пережил кризис, но остался навсегда надорванным. Наполеоновская армия после Бородина еще заставила отступить русские войска, заняла Москву, но через пять недель Наполеон бежал из Москвы: армия его под Бородино была смертельно надорвана. Старый мир теперь тоже смертельно надорван, хотя и сумел залечить кое как свои раны: не погиб непосредственно после войны. Вот вам поучительный факт: западная цивилизация оказалась пока в течение четырех лет не в состоянии победить нищую, голодную Советскую Россию в открытом бою.

Старый мир надломился. И оттого в планах наших врагов относительно завтрашнего дня нет уверенности. Они тверды и неукоснительны только в своей ненависти к большевикам. Но ведь на одном этом далеко не уедешь, раз речь заходит „о завтрашнем дне“.

А продналог, свободная торговля и т. д. разве это не крах большевизма?

По нашему убеждению в Советской республике происходит сейчас гигантская перегруппировка боевых сил для новых операций. Такие гигантские перегруппировки происходили во время прежней войны на фронте. Они продолжались месяцами. Перебрасывались огромные армии—Левиафаны, перестраивавшие штабы и тысячи учреждений; подвозились люди, снаряды, продовольствие, передвигались внутри полки и дивизии. Нечто подобное происходит и в настоящий момент в Советской России. Происходит перегруппировка сил. Происходит потому, что мы вступили в новую полосу. От „военного“ коммунизма мы переходим к „гражданскому“. Относительно военных планов наших врагов нельзя, конечно ничего сказать положительного, и, факт тот, что нам собираются дать бой и уже дают *в другой плоскости* в области экономического строительства. Отсюда и необходимость в новой перегруппировке. Не думаю что все наши „национализации“ магазинов, фабрик и т. д. вызывались экономической необходимостью, но *политически* психологически они были необходимы. Мы побеждали белых *и потому*, что происходили эти национализации. Таков был период „военного“ коммунизма“. Если бы мы не провели этих национализаций, их провели бы за нас, помимо нас, против нас в менее организованной форме.

Точно также в период „военного“ коммунизма мы не могли обойтись без продразверстки; нужно вспомнить только одно: было время когда Советская Россия состояла из 19 губерний с населением в 50 миллионов, причем все хлебные районы были в руках врагов. Этими соображениями, разумеется, ни в какой мере не следует затушевывать излишества в области „национализации“ и прямые безобразия в области продовольственной разверстки.

Следует все же вспомнить, что белые армии сказались разбитыми не

только потому, что были наименее крепкими, но и потому, что экономическая политика белых никуда не годилась, несмотря на поддержку Антанты. А ведь эта политика целиком базировалась на частной собственности. Говорят о крахе большевизма, но советская система пока что существует, а система белых сметена историей. Толковать о нашем крахе, заканчивая экономический крах Деникина, Врангеля—просто неумно и недобросовестно.

Экономическая политика белых провалилась потому, что они строили ее исключительно на основе частной собственности. Если теперь Советская республика переходит в известной мере, к капитализму и к свободной торговле, то во первых, не нужно забывать, что в известной мере, а во вторых, что это только необходимые «коррективы».

«Смутное время» сейчас оттого, что мы в стадии перегруппировки. В новых боях, в войне по новому методы военного коммунизма нуждаются в существенных поправках. Обнаружилось, что нужно привлечь, подкрепить себя частной инициативой в известной мере. Это теперь и делается.

О том, крах ли это—окончательно решит будущее. Пока же не мешает вспоминать время от времени о несомненном крахе принципов П.Струве и Бернадского на юге при Деникине и Врангеле.

IV

Как это всегда бывает при гигантских перегруппировках, происходящих под угрозой непосредственных ударов со стороны вражеского стана—сейчас есть большая опасность. Враг может воспользоваться моментом и неожиданно ударить, когда подготовка еще не закончена. Возникает также ряд других трудностей: многие теряют представление об общем ходе дел, перестают представлять картину в целом. Одни потеряли связи с частями. Куда то движется огромный обоз, часть безуспешно ищет указанного места и не находит его, путается сама и путает

других. Что происходит в этой передвижке? А враг не дремлет.

Смешно и преступно скрывать серьезность положения. Нужно большое хладнокровие, умение, чтобы удачно перегруппироваться на глазах у врага.

Опасность для Советской республики увеличивается еще оттого, что свалилась большая, непредвиденная стихийная беда—голод в ряде губерний.

Главное, что требуется в такие моменты, заключается в том, чтобы уяснить себе общую картину, не растеряться, не потонуть в мелочах, осмыслить то, что делается кругом. И, конечно, действовать.

Сейчас многие готовы потонуть в этих мелочах, за частностями готовы забыть основное. Этого нельзя делать. Это увеличивает суматоху и только на руку врагу.

Основное же в том, что 12 миллионов солдат четыре года тому назад вышли из войны, воткнув штыки и показав спины неприятелю.

Основное в том, что они перестали драться за старые цели и дрались за новые.

Основное в том, что республика советов окружена врагами и существует как государство возникшее для гибели старого мира.

Основное в торжестве социализма.

Этого нельзя забывать. Оппортунист и безпринципный человек не тот, кто прибегает к зигзагообразной политике, а тот, кто в повседневной деятельности забывает об основных принципах. Ложь, что Ленин оппортунист: у него все им предлагаемое, служит для торжества социализма. Величайшие оппортунисты наши «отцы духовные», ибо у них христианские принципы в одном ящике, а «житейская практика» в другом: одно другого не касается: идеи одно, а жизнь другое. Кто так думает и так живет—тот и есть подлинный оппортунист.

В тяжелых испытаниях, постигших Советскую Россию, нужно прежде всего сохранить и прочно удерживать в памяти, что 4 года тому

назад началась борьба со старым миром во имя нового будущего, что эту борьбу нужно довести до конца.

Нужно, чтобы соль не теряла свою соленость. Чтобы все, кто строит новую Россию, кто борется с голодом и разрухой были спаяны одним руководящим идеалом.

Самое страшное для наших многочисленных врагов, когда они видят наши ряды, объединенные твердой уверенностью в своих чаяниях и ожиданиях.

Самое страшное для нас, когда

тухнет огонь веры в идеал, а повседневное засоряет глаза.

Этого не будет. И Советская Россия выйдет из голодного испытания и сумеет перегруппировать свои силы.

Пусть, кому не лень толкует о крахе большевизма.

Мы то знаем, что старый мир смертельно ранен.

— Будет некогда день и погибнет священная троя.

Капиталистическая троя.

А. Воронский.

П. Струве о „крахе“ социализма.

Белая пресса усиленно толкует о крахе большевизма. Бурцевское «Общее Дело» даже уверяет, что до краха остались немногие недели.

— Мы находимся на пороге огромнейших событий. Остались недели—немногие недели, а затем мы будем присутствовать при небывалом в истории политическом крахе, какой только переживала какая-либо страна—(№ 341 от 22 го июня).

Большевики отказались от коммунизма... Большевики насаждают капитализм... Большевики вводят свободу торговли и т. д. Особенно окрепли надежды белогвардейцев после крошадтских дней. Всякий раз, когда на почве голода, разрухи, там и сям в Советской России останавливаются заводы и фабрики, белая пресса испытывает приливы бодрости и упоает. Правда, раздаются иногда и скептические голоса. Так, в том же «Общем Деле» английский журналист Вильямс поднимал на смех тех, кто думает, что Ленин и Троцкий смогут отказаться от коммунизма, а относительно торговых договоров он утверждал, что они выгодны только большевикам. Правда также и то, что во всей этой шумихе больше всего политикамства, дешевой агитации, сознательной и бессознательной лжи. Тем не менее

зарубежные «изгнанники» ждут, надеются, готовятся, «подводят итоги», ищут причины «краха», намечают «планы» действия и стараются заглянуть в будущее.

«Крахом» занят прежде всего П. Струве. Его рассуждения, и доклады на эту тему можно считать наиболее характерными для современной белогвардейской мысли. С похвальной откровенностью П. Струве полагает, что настоящими, а не сусальными социалистами, являются большевики. Поэтому он говорит не о крахе большевизма, а о крахе социализма вообще. Этому вопросу посвящена значительная часть его статьи «размышления о русской революции», помещенной в № 1-2 возобновленного им в Софии журнала „Русская мысль“.

Большевизм есть крушение социализма. В большевизме столкнулись две идеи, две стороны социализма, и это столкновение на опыте обнаружило невозможность социализма, как он мыслился до сих пор, т. е. как целостного построения.

Социализм требует, во первых, равенства людей (эгалитарный принцип). Социализм требует, во вторых, организации всего народного хозяйства и, в частности, процесса производства.

Социализм требует и того и другого, и одного во имя другого. Но оба эти начала в своем полном или конечном осуществлении противора-

чат человеческой природе и оба они, что быть может несомненное и еще важнее, противоречат друг другу. На основе равенства людей вы не можете организовать производства. Рост производительных сил есть теоретическая и практическая альфа и омега марксизма, этой основы научного социализма.

Социализм, учит марксизм, требует роста производительных сил. Социализм, учит опыт Русской революции, несовместим с ростом производительных сил; более того, он означает их упадок.

Русская революция потому имеет всемирно-историческое значение, что она есть практическое опровержение социализма в его подлинном смысле, учения об организации производства на основе равенства людей, есть опровержение эгалитарного социализма. На этой основе не только нельзя повысить производительных сил общества, она означает роковым образом их упадок. Ибо эгалитарный социализм есть отрицание двух основных начал, на которых зиждется всякое развивающееся общество: идеи ответственности лица за свое поведение вообще и экономическое поведение в частности, и идеи расценки людей по их личной годности, в частности по их экономической годности. Хозяйственной санкцией и фундаментом этих двух начал всякого движущегося вперед общества является институт частной, или личной собственности (стр. 19-20).

Ту же самую мысль, но в другой форме и по другому поводу, Струве развил в докладе об основе экономической политики Советской власти на торгово-промышленном съезде, в Париже. Струве утверждает, что в результате этой политики получились „тирания и гнет“, „невиданные в истории человечества“. Почему? Струве отвечает: «Советский режим отменил не только свободу публичной жизни, но и упразднил индивидуальную собственность, уничтожил частное хозяйство, и тем подрезал эти подлинные глубинные корни личной свободы и личного достоинства. В коммунистической России остались построенные капиталистическим миром железные дороги, но свобода передвижения и на них и вообще эта свобода,—одно из проявлений начала хозяйственной свободы, упразднена так радикально, как этого не было ни в одну эпоху русской истории. Все это сводится к

одному: у всего населения, вместе с правом личной собственности принципиально отнята экономическая свобода и тем подрезаны самые корни личной свободы, Русский коммунистический опыт в новой обстановке вновь подтверждает социологическую и политическую истину, гласящую, что собственность и экономическая свобода есть основа и палладиум личной свободы во всех ее проявлениях, даже наиболее тонких и вершинных. («Речь» № 153).

Так рассуждает г-н Петр Струве.

В то время, как десятки представителей рафинированной буржуазной учености Запада объявили себя «социалистами», в то время, как г-да Карлы Бюхеры, никогда раньше не грешившие против «собственности и экономической свободы», стали в серьез писать о «социализации», г-н Петр Струве не перестает твердить о полном крушении социализма и доказывает, что «организация всего народного хозяйства» несовместима с присущим социализму «равенством людей»...

Ревностный апологет капитализма, пропитанный до мозга костей идеологией буржуа, он не может и не хочет понять, что организация «процесса производства» на основе принципиально новой системы управления вовсе не означает отрицания „равенства людей“. Если г-н Струве имеет в виду „равенство“ в понимании допотопного эгалитарного социализма, то он совершенно прав, но где, спрашивается, почтенный друг генерала Врангеля находит теперь подобного рода социалистов? Наш социализм, коммунизм Маркса и Энгельса, как хорошо известно и г. Струве, вовсе не ставит своей целью организацию такого «производственного процесса», в котором все занимают одинаковое место и выполняют одинаковые производственно-организационные функции, ибо такого рода организация действительно означала бы отрицание всякой организации и, стало-быть, всякого социализма. Там, где есть организация, есть и известный организующий скелет, состоящий из живых людей; там, где есть планомерное производство,

есть и руководство, которое также осуществляется живыми людьми. Социалистическое хозяйство, как и капиталистическое, знает органы управления, инженеров, мастеров, работников физического труда. Мы имеем, следовательно, «неравенство людей». Но это есть «неравенство» совсем иного порядка, чем при капитализме, ибо здесь нет больше неравенства *социально классового*: здесь нет эксплуататоров и эксплуатируемых, а есть лишь единый самоуправляющийся общественный коллектив, совершенно чуждый антагонистических отношений классового общества.

Да и то отсутствие «эгалитарности», которым столь неудачно оперирует г. Струве, представляет собою явление преходящее. В самом деле, одна из основных задач пролетарского государства, строящего социализм, заключается в том, чтобы широким распространением света знания вывести народные массы из той темноты, в которой держали их поклонники мракобесия и апостолы невежества. Общий подьем интеллектуального развития сопровождается прогрессирующей интеллигентизацией людей, а это делает возможным переход на высшую ступень производственной организации, и наоборот. Руководящие и «командные» функции уже не закрепляются на всю жизнь за отдельными лицами, как это имеет место в капиталистическом обществе, и тенденция к установлению даже струвевской эгалитарности становится совершенно неоспоримым фактом. Стоит посмотреть на Советскую Россию, чтобы убедиться, что даже в этой нищей, разутой, разоренной империалистической и гражданской войною стране, сделаны в этом направлении колоссальные успехи. В Советской России можно сплошь и рядом встретить развитых рабочих, которые сегодня командуют полком, завтра управляют фабрикой, а после завтра работают у токарного станка. Правда, подобные факты не стали еще всеобщим явлением; этого мы далеко еще не достигли, но много ли времени прошло с тех пор, как мы вступили на путь мирного строительства, с тех

пор, как г. Струве был министром генерала Врангеля?

Социализм, в его «подлинном» понимании исключает «ответственность лица за свое поведение вообще и экономическое поведение в частности», утверждает наш почтенный министр в отставке. Раз нет хозяина—капиталиста, хозяина—банкира и хозяина—помещика, то перед кем же будут ответственны людские массы и кто будет определять их «экономическое поведение»? Где жег ну Струве постигнуть ответственность перед *коллективом*, перед общественным целым? Ведь он даже не понимает, что вожди пролетарских боевых организаций, поскольку они выполняют дело рабочего класса, ответственны только перед ним, и что социальные нормы буржуазного права и буржуазной морали ни в малой мере не определяют ни их «поведения вообще, ни их экономического поведения в частности». Нормативное принуждение покоится на противоречии стремлений индивида и общественного целого. Это противоречие целиком исчезает на известном уровне развития материальной культуры и социального чувства. Принудительные нормы при этих условиях отходя в прошлое. Но никто, конечно, не станет оспаривать того факта, что ступившая (только ступившая) на путь социалистического развития Россия далеко еще не достигла *такого* уровня духовной и, тем более, материальной культуры. Поэтому ответственность, о которой говорит г. Струве, поскольку то или другое лицо не проникнуто еще коллективистическим сознанием, определяется нормами, мосящими, как это хорошо известно нашим врагам, не менее суровый характер, чем правовые и моральные нормы, охранявшие капиталистический строй...

Другой мотив банкротства социализма—это отрицание «расщепки людей по их личной годности и, в частности, по их экономической годности». По скольку речь идет о первых ступенях социализма, приходится иметь дела с колоссальным дванадью колебаний «личной годности». Неопыт-

ный в делах управления, необразованный пролетарий, конечно, менее „пригоден“ к руководящим хозяйственным функциям, чем образованный и опытный организатор капиталистического треста. Это бесспорно. Но неужели г. Струве, потеряв все, потерял и здравый смысл? Неужели он думает, что пролетарий потому необразован и неопытен, а организатор треста потому просвещен и опытен, что такова их природа, что они таковыми родились на белый свет? Ведь наблюдаемая при капитализме и на первых порах при социализме огромная разница в «личной годности» людей является функцией социально-классовых антагонизмов. Ведь, если образование и среднее и высшее становится достоянием широких народных масс,—а оно в России, повторяем, нищей и голодной России, становится, то исчезает и та разница «в годности», которая так мила сердцам апологетов эксплуатации человека человеком. Однако, поскольку молодому социалистическому государству приходится считаться с людьми далеко еще не нивелированными по своим организационным и прочим навыкам, оно, вопреки г. Струве, вовсе не отказывается расценивать их по их «личной годности». Это настолько известно, что едва ли стоит об этом говорить.

Социализм, утверждает г. Струве, несовместим с ростом производительных сил; он означает их упадок. А при упадке производительных невозможен никакой социализм. Наш автор находит, что русская революция является тому опытным подтверждением. г. Струве, как, впрочем, и многие quasi-социалисты, очевидно, представляет себе дело так, что социализм моментально поднимает производительные силы на недостижимую высоту и с «сегодня на завтра» осуществляет царство божье на земле. Между тем социалистическая революция означает прежде всего разрушение государственного аппарата буржуазии. Все его органы, его бюрократия, его армия, его полиция и т. д., приспособлены к целям капиталистической эксплуатации, к охране капиталисти-

ческой собственности. Они должны быть уничтожены и на их место должны быть поставлены органы пролетарской диктатуры, имеющей целью переустройство общественного строя. Так же обстоит дело с производственным аппаратом буржуазного общества. Он также идет на слом, и на долю пролетарского государства выпадает труднейшая задача из новых и старых элементов создать новую систему управления хозяйственной жизнью. Неужели же можно думать, что при этой колоссальной разрушительной задаче, очищающей пути к безграничному подьему материальной и духовной культуры, возможен рост производительных сил? Неужели саботаж «мозга нации», гражданская война, иностранные интервенции и блокады делают возможным подьем производительных сил?

Торжествуя над крушением самой идеи социализма, г. Струве утешает себя старым избитым выводом профессиональных социалистоедов: «собственность и экономическая свобода есть основа и палладиум личной свободы (!)», а „фундаментом“ всякого движущегося вперед общества является институт частной или личной собственности.

Господин Струве в своих размышлениях исходит из вечной и неизменной природы человека и остается до конца верным самым реакционным традициям экономического либерализма. В этом выражается настроение значительной части русской буржуазии, которая начинает хвататься за старый идеологический хлам, давным давно выброшенный за борт подавляющей частью представителей буржуазной мысли на Западе, которая серьезно усумнилась в формулированной Струве «социалистической истине».

В чем причина этих настроений? Почему г. Струве начинает хвататься за мертвое?

На этот вопрос отвечает другая старая истина, которая никому неизвестна так хорошо, как самому г-ну Струве: «чем дальше на восток Европы, тем трусливее и подлее становится буржуазия».

Ш. Дволайцкий.

Из белой литературы.

I. ФАБРИКА ЛЖИ.

Когда просматриваешь номера издающейся в Берлине «Русской книги», то поражаешься, видя какое громадное количество старых русских буржуазных литераторов бежало к белогвардейцам. Старых, опытных литераторов-журналистов у белогвардейцев сколько угодно.

Казалось бы, что при таких условиях легко было поставить за границей серьезные политические газеты. И действительно, во главе некоторых газет мы видим старых, опытных, видных литераторов и политических деятелей. А между тем трудно представить себе более негодную информацию о Советской России. Нет такой глупости, которую не изобрели бы белогвардейские писаки, говоря о России. Приходилось читать о том, что Ленин и Троцкий подрались на дуэли из-за какой-то машинистки. Есть рассказы о том, как Ленин ест всегда с золотого блюда. Десятки раз печаталось о том, что Ленин арестовал Троцкого, или Троцкий Ленина. Недавно проскользнуло известие чуть ли не во всех белогвардейских газетах о том, что Вухарин и Дзержинский ссылаются в Туркестан. В апреле в «Последних новостях» была напечатана якобы появившаяся в советских газетах «сводка», в которой говорилось, что советские войска оставили под давлением противника Вологод и отступают на Тверь, что они отдали Казань и т. п. И эту сводку, лживость которой должна была быть ясна всякому, напечатала газета, редактируемая Милюковым.

Особенно отличаются лживостью своих сообщений петлюровские «Украинские агентства». В Гельсингфорской ярко белогвардейской газете М. Первухин посвящает этим агентствам длинную статью. Приведем конец ее.

«Все существующее „самостийническое“ движение в южной России играет в ее жизни до удивительного скромную роль, тогда как «Украинские агентства» путем самой бессты-

жей, доходящей до цинизма, лжи стремятся убедить весь мир в том, что движение это, будто бы, имеет массовый характер, охватывает собою сплошь почти все население в добрых сорок миллионов человек, охватывает колоссальное пространство, равное Англии, Франции и Италии, взятым вместе, и является решающим фактором в совершающихся событиях».

«Спорадически Украинские агентства сообщают о том, что такие те «атаманы» подступают. — сегодня к Киеву, завтра к Одессе, после завтра — к Екатеринославу или Харькову. В дни, когда шло кронштадтское восстание, в русских же газетах появилось сообщение из украинских источников о том, что Одесса взята украинцами, отнята у них большевиками и опять взята теми же украинцами, которые, дескать, погнались большевиков на Херсон-Николаев и даже за Херсон и Николаев. А всего несколько дней спустя беженцы из Одессы — настоящие, а не вымышленные украинскими брехунами, рассказали, что ничего подобного не было, что «атаманы» и гайдамаки в штанах шириной с Черное море и не показывались в одесском районе».

«Теперь циркулирует слух о том, что пресловутый «атаман Зеленый» вошел в соглашение с другою знаменитостью того же рода, Батько Махно, на предмет образования единого противобольшевицкого фронта, и грозные рати двух атаманов уже движутся, сметая большевиков, как кучу сухих листьев. А завтра уже из действительно серьезного источника проскочит сообщение, что между территориями, где оперируют банды Махно и Зеленого, имеется пространство в добрых триста или четыреста верст, и что о «едином фронте» и речи быть не может. Но это не мешает тому, что после завтра те же украинские агентства торжественно оповестят мир о новой сенсации».

— Атаман Ромашко победоносно подвигается на юг, гоня деморализованных красноармейцев.

«Вспомните, сколько раз „украинские повстанцы“ уже овладели предместьями Киева, сколько раз они, будто бы, проникали в непосредственные окрестности Одессы и Харькова, сколько раз они „приближались“ к Тагайрогу, сколько раз брали Бирзулу.

„Если бы только одна десятая часть украинских сообщений этого рода была верна, то от большевиков давно уже и помину не было бы. А они, как—никак, сидят в южной России, владеют и Одессою, и Харьковом. Да и пресловутая Бирзула, которую украинцы берут через два дня на третий, и сейчас в руках тех же большевиков.

„Но добавьте к этим сообщениям и другие. Вот весь мир облетает украинская телеграмма об успешных действиях какой то таинственной «Маруси»:

— „У Маруси имеется настоящая армия в сорок тысяч хорошо вооруженных человек. Маруся победоносно борется с большевиками.

„А потом полгода—ни одного слова ни о Марусе, ни о ее „армии в сорок тысяч человек“, словно и сама Маруся и эта армия сквозь землю провалились...

„Не сочтешь, сколько десятков раз те же украинские агентства, объявляя Махно самым что ни на есть отчаянным сторонником украинской самостоятельности, заставляли его, Махно, ов-

ладеть Елисаветградом и Екатеринославом. А между тем, на самом то деле, в Екатеринослав Махно не входил ни одного разу, да, кажется, не побывал ни разу и в Елисаветграде. Разве только показывался где то поблизости...

„Я знаю, что в такие критические периоды, каков переживаемый нами, совершенно естественным путем рождаются самые фантастические слухи, принимаемые населением на веру. Но тут мы имеем дело с совершенно иным явлением: это явление—организованное мошенничество так называемых «украинских агентств», совершенно планомерная колоссальная мистификация политического характера.

„Главная цель этих агентств, повторяю, мистифицировать заграничное общественное мнение. Но попутно мистифицируются и русские народные массы“.

Все, что г. Первухин говорит об украинских агентствах, правильно. Но ведь дожью белогвардейские газеты питаются не только из украинских, а из многих других источников. И „Новая Русская Жизнь“, печатающая мегодующую статью М. Первухина, не отстаёт от других белогвардейских газет по части этой лжи.

Приходится признать, что вся информация белогвардейских газет есть „организованное мошенничество“, „колоссальная мистификация политического характера“.

Н. Мещеряков.

АРТУР РАНСОМ.

Шесть недель в России
в 1919 г. (перевод Пьера
1919 г. стр. 188)

ARTHUR RANSOME.

Six semaines en Russie
en 1919 (Traduit par A.
Pierre. Edition de „L' Hu-
manité“, 1919, стр. 188),

Прежде всего самое название книги «Шесть недель в России в 1919 году». Это так же звучит, как например «Путешествие вокруг света в 80 дней», или «Шесть недель в пустыне Гоби, или «Шамо», или «Два месяца во льдах Северного полюса» и т. п.

Неслыханный, небывалый героизм. Не только пробраться в Россию в 1919 году, но и провести в ней шесть недель! Целых шесть недель! Нет, Кук или Пари, путешествовавшие на Северный полюс ничего не стоят перед английским журналистом Рансомом, отважившимся отправиться не куда-нибудь в Гоби или Шамо или на Северный полюс, а прямо в Россию!

Попутным ветром помогшим Рансому пробраться в Россию были наши товарищи Воровский и Литвинов, гонимые в свою очередь из Англии совсем не попутным ветром.

Переходя мостик на границе между Финляндией и Россией автор рассуждает так: мы переходим от одного мирозерцания к другому, с одного конца борьбы классов к другому, от диктатуры буржуазии к диктатуре пролетариата.

Что до мирозерцания, то его не сразу «восчувствовал» уважаемый английский журналист, а вот пока что на первом же грязном вокзалишке диктатура пролетариата дала себя почувствовать отсутствием в буфетах какой бы то ни было «zakouski»*.

Затем идут маленькие главы, в которых описываются встречи с большими советскими работниками, а также чисто уличные наблюдения.

Прежде всего Рансом попал в Петроград, поэтому прежде всего идет

*) Это слово (закуска) так и пишет английский журналист.

описание встречи с петербургскими товарищами. Первым под перо английского наблюдателя попадает тов. Зиновьев. Его Рансом, по моему, не совсем удачно характеризует, так, например, автор говорит, что Зиновьев имеет очень «резкие» манеры. Едва ли это так. Тут же говорится, что опять таки не совсем верно, что Зиновьев был против октябрьского переворота, но что уже после этого переворота он возвратился к «прежней верности» Ленину. Зиновьев, говорит Рансом, был сильно потрясен убийством своих друзей Володарского и Урицкого, а после покушения на тов. Ленина, Зиновьев «совсем потерял голову». Я не заметил, продолжает Рансом, чтобы Зиновьев был гермаофилом, он просто приверженец ученья Маркса. Постоянно было заметно, что он имеет предубеждение против англичан... и мне было ясно, что он с недоверием смотрит на мои «близкие отношения с Радеком».

В вышеприведенных рассуждениях сказывается между прочим, что Рансом далеко не так объективен в описании того что делалось тогда в России и не так чужд политике, как он обещал читателям в своем предисловии.

После т. Зиновьева в кратких чертах описан и тов. Позери, но мне сдается, не ошибся ли автор? Действительно-ли он разговаривал с т. Позериом, ибо по его описанию выходит, что Позери, „человек худой, бородатый, с очками на носу“. По внешности т. Позери не таков.

В Москве Рансом встретил прежде всего т. Карахана «с сигарой, которую, казалось, он курит месяцев шесть». Затем характеризуя внешность т. Карахана, приводит слова Радека, не совсем удобные, чтоб о них писать, и годные пожалуй только для английского журналиста, опять-таки весьма возможно в видах его политики.

За Караханом следует Чичерин. Как Чичерин, так и Карахан, приняли английского путешественника весьма любезно. Любезностью того и другого Рансом был растроган до чрезвычайности. Карахан предложил англичанину поселиться в Кремле. Рансом отклонил это и поселился в Лоскутной. Потом мучился от метрополевских обедов, от советских „чаев“, которые он подслащал захваченной с собой бутылочкой сахара, потом не мог спать от холода в своем номере, и наконец потратил весь следующий день на безрезультатное искание другой, лучшей комнаты.

Комнаты английский путешественник, конечно, не нашел. Но за то, гуляя по Московским улицам, имел возможность наблюдать памятники и фигуры, поставленные революцией в равных углах Москвы.

Некоторые произведения из скульптурных работ Рансому весьма понравились, хотя все они, как он совершенно справедливо отмечает были сделаны на спех и были приурочены главным образом к годовщине Октябрьской революции.

«Но что было самое лучшее говорит Рансом это по моему убеждению ряд деревянных построек, находившихся в «Okhotnia Riady» *). Эти постройки были раскрашены футуристами и другими художниками того же жанра и производили необыкновенно приятное впечатление. Эти живые краски наивные рисунки казались до того естественными для Москвы, что я сам себя спрашивал почему эти торговые ряды не были раньше раскрашены так... Теперь, голубое, красное, желтое, раскиданное в наивных рисунках цветов на белом или пестром фоне, на пьедестале смежных сугробов у дороги, где проходили взад и вперед женщины в ярко цветных платках и крестьяне в обечьих полушубках—все это казалось картиной не столько футуристической, сколько давно прошедшей жизнью, жизнью не новой Москвы, а Москвы средних веков».

*) Охотный ряд.

Автор отмечает, что некоторые советские деятели протестуют против футуризма и требуют, чтобы искусство революции было понятно всем, а поэтому не должно быть вычурным. Однако, говорит он, что эта критика не касалась раскрашенных лавок и ларей Охотного ряда.

Большое впечатление на Рансона произвел старый американский и русский коммунист т. Рейнштейн. Последний поразил английского журналиста своей неутомимой энергией, аккуратностью и точностью работы, своим весьма продуманным отношением и своей долголетней непрерывной революционной деятельностью. „Рейнштейну, говорит автор—70 лет“. Едва ли это вполне точно. За то деятельность т. Рейнштейна обрисована автором весьма обстоятельно и, пожалуй, даже сочувственно.

Рансом не даром старый журналист. Он пишет удивительно живо, умело разнообразя свое повествование. Так, после характеристики и описания деятельности т. Рейнштейна, после описания митинга, который имел место у английских военно-пленных в присутствии т. Рейнштейна, английский путешественник—рассказывает, что ему удалось переехать из Лоскутной в Националь. И вслед за этим идет подробное описание номера кухни, куба с кипятком, женщины и девушек хлопчущих у плиты, членов Ц. И. К., пришедших за кипятком и т. д.

Весьма характерно следующее: горничная, убиравшая номер Рансона, отвечая на его вопрос, как она относится к советской власти, сказала, что она голодает, но чувствует себя более свободной чем раньше. Эта горничная служит в «Национале» со времени его основания.

Затем идет весьма интересная глава о заседании ЦИК, по поводу предложения союзников о Принцевых островах. Здесь Рансом был у самого, можно сказать, руля Советской власти. Здесь он, как сторонний наблюдатель, мог бы дать Европе весьма много такого, что могло бы убедить Европу в действи-

тельном миролюбии Советского правительства. К сожалению английский буржуазный журналист слишком усердно стремился к объективности. Вместо серьезной передачи самой сути доклада т. Чичерина и прений, которые развернулись, а также отношения к этому вопросу со стороны других партий, автор опять дает нам галерею портретов и, как всегда, при этом не всегда удачную.

Перед читателем книги Рансома проходят Чичерин, Бухарин, Коллонтай, Демьян Бедный. Последний, по моему, описан весьма метко и верно. Рансом называет его: «Настоящий крестьянин, поэт революции». Опять характеристики. Подчас мелочные наблюдения. И только в самом начале этой главы говорится, что ответная нота Советского правительства союзникам не только сплотила страну, но и привлекла на сторону Советской власти даже некоторые круги оппозиционных партий.

Видимо это заседание ЦИК кое в чем убедило английского путешественника. Видно на многое она открыла ему глаза. И волей неволей его симпатии начинают перемещаться в сторону Советской власти. Эту главу Рансом кончает следующими словами:

«Надал снег, когда я возвращался домой. Впереди меня шли двое рабочих и спорили. «Эх, если бы не голод!»—сказал один. «Но ведь пройдет же он когда нибудь!»—возразил другой.

После этого следует небольшая глава о Московском Совете и т. Камефеве. На заседании Московского Совета выступал с приветствием представитель китайских рабочих т. Шитая Куни.

Но особенным интересом на мой взгляд отличаются главы в книге Рансома об одном провинциальном экс-капиталисте*, о разговоре с тов. Лениным, несколько глав о наших экономических организациях и, наконец, о первом конгрессе III го Интернационала.

Экс-капиталиста Рансом тщательно

«законспирировал». Он не только не назвал его по фамилии, но даже не отметил той губернии или уезда, где жил и действовал этот экс-капиталист.

Все усилия бывшего владельца небольшого кожевенного предприятия были направлены к тому, чтобы сохранить свое хозяйство в целостности. Он даже ссудил рабочих значительными суммами. Фактически остался руководителем на заводе. Очень не хотелось ему, чтобы рабочие его считали хозяином. А рабочие упрямо смотрели на него, как на своего классового врага. Местная Советская власть требовала с него чрезвычайный налог. Все это было весьма неприятно бывшему хозяину. Однако, несмотря на все это бывший капиталист утверждает, что рабочие сами, одни могли бы вести производство, что они способны сами без внешних толчков поддерживать свою производительность труда. Наконец, тот же самый экс-капиталист утверждает, что Советская власть становится на путь порядка, что поэтому при ней есть возможность спокойно работать. И уже возможные нападения на Советскую Россию со стороны союзников начинают казаться бывшему контр-революционеру величайшей опасностью.

Т. Ленин английский журналист характеризует весьма осторожно. Так же осторожно передает он и тот разговор, который у него происходил с т. Лениным. Разговаривали о многом. О Бернарде Шоу, о Сидней-Веббе, о возможности английской революции, о Робенсе и наконец об американском социалисте Даннеле Делсоне. Даниель Делсон развивал теорию о представительстве не по территориальным округам, а по индустриальным линиям. Названная теория весьма близко подходит к советской системе, где избирательным правом пользуются только трудящиеся.

Таким образом разговор носил весьма разнообразный характер. В той характеристике, которую дает Рансом Ленину, замечательно то, что Ленин производит впечатление человека, в котором всегда присутствует радость.

*) Бывшем капиталисте.

«У этого маленького лысого человека, с морщинистым лицом, который покачивается в своем кресле, смеясь то над тем, то над другим, готовый в месте с тем в каждый момент развить самое серьезное положение, подать самый нужный совет—каждая морщина на лице—морщина радости, а не скорби... Он не имеет бессмысленного личного гомора. ...Он марксист, стоящий в движении масс, которое все равно будет развиваться с ним или без него... Он не верит, чтобы кто-нибудь мог либо сделать, либо задержать революцию, которая есть неизбежный процесс... Поэтому он свободен, так свободен, как никто из великих людей всех времен и народов... Он, в глазах самого себя, простой толкователь событий, а не причина их, хотя эти события на веки будут связаны с его именем».

Вот как характеризует тов. Ленина буржуазный английский журналист.

Из деятелей экономических государственных организаций замечательна встреча Рансома с т. Павловичем, тогда председателем комитета государственных сооружений *). В разговоре с Рансомом т. Павлович, как представитель такого гражданского учреждения, задачей которого является именно совидание, строительство в полном смысле этого слова, совершенно справедливо указывал английскому путешественнику, что война навязана нам Англией и Францией, что она портит нам все, что мы ее ведем за счет нашего обнищания. Т. Павлович развил перед Рансомом свой грандиозный план о соединении Балтийского моря с Волгой, о том, какие это раскрывает перед Россией перспективы. Почти вся эта глава есть изложение тех величай-

ших заданий, которые выдвигает эюха перед комитетом государственных сооружений Советской Республики.

В своем кабинете т. Павлович познакомил Рансома с Сухановым, известным и постоянным оппозиционером Советской системы. Глава кончается опять таки развитием той производительной картины, которая имела бы место, еслиб Советской власти удалось получить мир. Объясняя это, тов. Павлович в некоторых местах почти предвосхищал возможность иностранных концессий в России.

Описав вкратце состояние других партий, с-р левых, с-р правых и меньшевиков, английский журналист в кратких словах и на слух конец своей книги посвятил 1-му конгрессу III-го Интернационала.

Конгресс произвел на него большое впечатление, но описан довольно бледно, должно быть «страха ради иудейска» (или вернее, «европейска»).

Ведь Рансом ставил себе задачей быть нейтральной фотографической пластинкой.

Однако трудно сохранить эту нейтральность, когда смертным боем бьются друг с другом две половины человечества: эксплуататоры и эксплуатируемые!

Вот почему вся книга Рансома представляет из себя не фотографический снимок, а колеблющиеся свето-тени, что указывает на колебания самого автора, на колебания между капитализмом и коммунизмом.

В общем книга Рансома весьма интересна: в ней мы видим себя в наиболее добросовестном изображении буржуазного наблюдателя.

По всему ее необходимо перевести на русский язык.

Москва.

А. Аросев.

*) Ныне член коллегии Наркома Национальностей.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЕЙ.

I.

В № 1-м „Вестника Литературы“ за 1921 год имеются данные о том, как живут и работают писатели.

В. Г. Короленко живет в Полтаве.

„Я пока еще особой нужды не испытываю, имею даже дрова и не голодаю, пишет он в своем письме в редакцию „В. Л.“ Советская власть обращается лично со мною и моей семьей со всевозможной предупредительностью, так что я не испытал пока ни реквизиции, ни подобных неудобств.

Здоровьем В. Г., как видно из письма, похвалиться не может.

Известный поэт, историк литературы и библиограф П. В. Быков, несмотря на свои 78 лет и 60-летнюю разнообразную литературную деятельность, продолжает с прежней неутомимостью свои литературные занятия. В своем уединении в Детском селе (быв. Царское село) заслуженный старец, обреченный на всякие лишения и недоедание, с утра до глубокой ночи не выпускает пера из рук, за исключением тех часов, когда ему приходится стряпать для себя свою скудную снедь. П. В. не получает ни ученого, ни писательского пайка, хотя имел бы на это сугубое право.

Критик М. П. Неведомский (Миклашевский) живет в Твери, служит в Губ. союзе Потребительских обществ. В той же Твери в роли инструкторов при Губ. Отд. Народн. Образования подвизаются поэты Л. Андрусон и Я. Годин. С. Д. Дрожжин почти без выезда коротает дни у себя в деревне Низовке. В Тверь перекочевали многие члены Московского Суриковского кружка, завсегдатаи Москвы.

В статье „Литература в провинции“ (письмо из Владикавказа) Юрий Слезкин приводит много интересных данных о писателях:

„Из писателей в Харькове я встретил,—пишет он,—поэта Эренбурга, Агнивцева, журналиста Фрида и неунывающего Н. Брешко Брешковского. Но жизни литературной не было, все работали по кафе и театрам. Журналы не выходили, книги не печатались. Поражало после Советской России обилие спиртных напитков, злчных мест, шансонеток и скандалов.

Ростов по части литературы был счастливее: там выходило несколько литературных журналов, печатались книги. Я застал там Евг. Чирикова, Ив. Билибина, Лазаревского, А. Дроздова. О Петербурге, о жизни в Советской России у них у всех были самые фантастические представления.

В Владикавказе Ю. Слезкин застал Григория Петрова, читавшего свои лекции.

„Если в Чернигове поэты отмечены знаком Блока и Брюсова,—далее говорит он,—то во Владикавказе царит Маяковский. В пух и прах на диспутах разносится Пушкин, как „буржуазный“, „контр-революционный“ писатель. Мольер и Гоголь в театре на большом подозрении“. Поэты во Владикавказе печатаются в „Творчестве“, издающемся Кавк. ростой. Выпустили сборник „Костер“ со стихами Г. Астахова, Людвиг Берндзе, Г. Евангулова, Рюрика Ивнева и Кон. Юста.

Рюрик Ивнев задержался во Владикавказе проездом. Прочел две лекции „О любви и смерти“, напечатал стихи, продал пьесу „Глаза, которые не видят“ и укатил дальше. За ним последовали в Россию Н. Н. Евреинов, Осип Мендельштам и Эренбург.

Отдельной книжкой во Владикавказе вышла повесть Евангулова (молодого тифлисского поэта) „Ноев Ковчег“, но тотчас же была опечатана цензурой. В Баку вышла книга „Алая нефть“, где фигурируют Астахов, Юст, Крученых и Сергей Городецкий с пролетарскими стихами.

II.

Есть на Ваганьковском кладбище в Москве из серого гранита памятник с надписью: „Николай Артемьевич Лазарев (Н. Темный) писатель из рабочих.“

Рассказы его, под редакцией Ив. Белоусова, изданы в прошлом году Государ. Издательством в одном сборнике в 108 страниц.

Им написано всего 7 рассказов; большая часть их печаталась в „Русском Богатстве“ и выходила дешевыми изданиями. В своих рассказах Лазарев изображает жизнь бедного класса, тяжелую безрадостную жизнь рабочего люда.

Рассказы Лазарева не блещут красотами, написаны просто, но зато в них много голой правды и искренности. То, что описано в его рассказах, мы видели под своими окнами и у соседей в рабочих поселках, — это сколки обыденной серой жизни.

Лазарев по профессии был слесарь. Кроме писательства, он сделал несколько изобретений. На прядильных фабриках употребляются английские веретена; Лазарев заинтересовался им, купил подержанный точильный станок и принялся за работу. По испытании образцов на фабриках, Лазарев получил официальные отзывы фабричных инженеров и механиков о том, что веретена ничуть не отличаются от английских.

К Лазареву явились предприниматели с предложением устройства фа-

брик по выделке веретен. Лазарев согласился работать только тогда, если бы фабрика обслуживалась и управлялась на товарищеских началах, где каждый был бы равноправным членом. Так дело и не вышло.

Он изобрел также песочницу для посыпки рельс песком и несколько типов насосов.

Какой то ученый техник изобрел аппарат, приделываемый к колесам вагонов, который будто бы совсем предохраняет от несчастных случаев.

На экспертизу собралась вся знать: инженеры, механики; приглашен был и Лазарев, служивший тогда в ремонтных трамвайных мастерских. Он высказал по просту свое мнение, что изобретение никуда не годится.

Изобретатель потребовал доказательства..

— Так судить нельзя, надо обоснованно делать заключение.

— А вот что, — ответил изобретателю Лазарев, — ложитесь ка на рельсы, а я по этим рельсам поведу вагон. Чего еще основательнее?

Не понравилось изобретателю.

Живя среди рабочих, Лазарев основательно знал жизнь мастеровых, их семей, борьбу за кусок хлеба, пьянство и пороки, и все это основательно выводил в своих произведениях.

Умер Лазарев 21 мая 1910 года. Книга рассказов Лазарева подкупает своей непосредственностью и простотой.

М. А.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

П. Ив. ПЕСТЕЛЬ. Н. П. ПАВЛОВА-СИЛЬВАНСКИЙ.

Царское правительство в обвинительном акте, предъявленном Пестелю, характеризует последнего следующим образом: „Он (Пестель) самовластно управлял Южным обществом, был главой общества и первойшеем пружиной всех его действий“.

Эта характеристика несомненно соответствует действительности. Роль Пестеля в движении декабристов следует бесспорно считать исключительной. Все декабристы в своих показаниях сходятся в том, что Пестель пользовался исключительным влиянием на членов общества, как Южного, так и Северного, т. н. Союза Благоденствия. Он является автором плана проведения республиканского переворота революционным путем, путем царубийства. Пестель составил и план нового государственного устройства, изложенного им в замечательном наказе „Русская Правда“. В последнем мы имеем план не только политического, но и экономического переустройства России, поскольку видное место в наказе отведено установлению „важности“ для каждого человека пользоваться необходимым для его жития. Очень интересен его проект аграрной реформы, которым каждому гражданину обеспечивается обладание землей в мере, необходимой для поддержания жизни.

Революционную провидательность и дальновзорность Пестеля особенно ярко рисует его отношение к конституционной монархии, пользовавшейся популярностью у многих декабристов. Пестель, ссылаясь на примеры реставрации абсолютизма в Испании и Португалии, доказывал, что „монархические конституции непрочны“.

Книжка Павлова-Сильванского в сжатой форме знакомит читателя с жизнью, деятельностью Пестеля, его ролью в движении декабристов.

Написана книжка несколько суховато.

Я. Шафир.

„ХОЖДЕНИЕ в НАРОД“ (из воспоминаний). Л. ДЕЙЧА.

Исторический очерк Л. Дейча посвящен героической эпохе революционного народничества, когда сотни лучших интеллигентов-революционеров, уверовавших в „социалистические“ традиции, якобы имеющиеся у крестьянства, благодаря общинной форме землевладения, бросили город и пошли в деревню, лабы сливаясь с „народом“, уподобляясь ему, вместе с ним водворить царство свободы и равенства на Руси. Особенно революционная молодежь 70-х г. верила в существование благоприятной почвы для социа-

листической пропаганды среди сектантов. Активное участие последних во всех происходивших народных движениях служило лучшим доказательством правильности возлагаемых на религиозные секты революционных надежд. Ориентация на сектантов усилилась в значительной мере после краткого опыта хождения в деревню, который доказал многим, что не совсем ладно обстоит дело с утверждением Бакунина, будто „русский народ всегда готов к бунту“.

Мытарства „деревенщиков“, прием, оказанный им среди сектанства, очень ярко обрисованы Л. Дейчем, проделавшим самолично это „хождение“.

Л. Дейч, как и многие другие из народников той эпохи, натолкнулись на невежество, косность и, главное, мелкобуржуазный индивидуализм, который был свойствен сектантам не в меньшей мере, как и всему остальному крестьянству, прарославному.

Попытки объяснить происхождение неравенства социальными причинами встречали со стороны молокан (среди которых работал наш автор) такого рода возражения.

— „Смотри: вот дождь идет на той полосе, а этой совсем не задевает. Господь лучше нас с тобой знает, кому сколько дать надо“.

Пробовал Л. Дейч агитировать молодого молоканина, стал ему рассказывать „Сказку о четырех братьях“ Льва Тихомирова, популярную книжку про господствовавшую повсюду в России несправедливость, но в один из самых трогательных моментов рассказа наш молодой народник получил удар кулаком в бок, сопровождавшийся восклицанием молодого молоканина:

— „Сказки сказывай, а за лошадыми смотри!“

Дело в том, что правивший лошадыми (рассказ происходил на подводе) Л. Дейч, увлекшись рассказом, перестал править.

Автор прекратил рассказ, убедившись, что „ничтожные житейские интересы молодому молоканину дороже всех истин“, какие он ему преподносил.

Еще более курьезным является случай, имевший место с одним из народников, Фесенко, который работал в одной из южных губерний среди „шелапутов“. Фесенко выступил на одном собрании указанной секты, нарисовал мрачную картину современного положения трудящихся и грядущее освобождение. Его речь увлекла аудиторию. Конец этого трагикомического происшествия до того замечателен, что мы позволим себе привести это место в изложении самого Л. Дейча: „И вот произошло нечто совершенно невероятное и, во всяком случае, вполне неожиданное для этого последователя К. Маркса: сектанты, окружив тесным кольцом Фесенко, подхватили его

атем на руки и стали вертеться с ним по избе, радостно восклицая: Он пришел! Он тут! Он с нами!

„Оказалось, что какой-то вполне осведомленный сектант предсказал скорое прибытие „пророка“, и ему то всеми чертами вполне соответствовал наш марксист“.

На шум явились представители власти, которые арестовали „пророка“. Не удивительно, что этот опыт породил разочарование во всех ходивших в народ, потерявших постепенно веру в „социалистичность“ деревни, в ее подготовленность к восприятию идей коллективизма.

Написана книжка Л. Дейча в полубеллетристической форме и читается с захватывающим интересом.

Я. Шафур.

КРАСНАЯ НОВЬ. Литературно-художественный и научно-публицистический журнал № 1, июнь 1921 г., стр. 318, издатель Главполитпросвет.

„Красная Новь“ представляет из себя тип толстых до-революционных журналов, многие из них превосходя по внешности, несмотря на тяжелое положение издательского дела и множество препятствий и технических затруднений, с которыми неизбежно пришлось столкнуться Главполитпросвету при его выпуске.

Заключая в себе несколько разнообразных отделов, со статьями по вопросам искусства, науки, политики и др., журнал может удовлетворить запросы самого широкого круга читателей.

Переходя к обзору материала, остановимся прежде всего на литературно-художественном отделе. Он представлен двумя рассказами, стихами и статьей „о современных частушках“.

Рассказ „Партизаны“ Всев. Иванова, отражающий период борьбы революции и контр-революции в Сибири, содержателен и ярок. Введенные типы партизан рельефны, своеобразные обстановка и быт рисуются. Написан рассказ выразительным, немного нарочито упрощенным языком, в некоторых местах тяжеловатым и небрежным: („Он начал говорить, как его воспитывали и как его никто не жалел и сколько из-за этого у него много хороших дней пропало и может быть он был-бы сейчас иной человек“).

Поразительно реалистичен рассказ С. Под'ячева: „Голодающие“. Знарок простонародного языка, — Под'ячев сумеет заставить своих героев в живых коротких диалогах нарисовать автопортреты с фотографической точностью. В немногословных описательных фразах воспроизведет не менее точно быт.

В рассказе нарисован уголок „голодающего“ деревенского кулака — спекулянта. Погоня за наживой, бессердечность, непроглядная темнота, в которой живет вся эта семья „много голодающих“ и с другой стороны мучительные переживания действи-

тельно голодного человека. Можно было вовсе не ставить под заголовком рассказа: (С натуры) — это ясно и так.

Рассказу предшествует два стихотворения М. Пожаровой, из которых лучшее — „Голодный“, написанное красивым, нервным ритмом и как нельзя лучше гармонирующее с рассказом Под'ячева, являясь как-бы интродукцией к нему.

Интересны современные частушки, объединенные и систематизированные в статье о них Дм. Семеновским.

Отрывки поэмы „От будней к празднику“ Николая Колоколова, хотя и написаны с пафосом, довольно бледны и, кроме того, в некоторых местах страдают художественными и техническими недостатками.

Для примера можно привести первую строфу из отрывка „Творите неустанно“.

Творите неустанно,

Восторженно творите,

Чтоб серого тумана

К нам не вернулись нити.

За ограниченностью места не будем останавливаться на прекрасной статье тов. Ленина „о продовольственном налоге“ и нескольких других статьях отделов: Политико-экономического, Внутри советской России, Иностранное обозрение и др.

Интересна статья А. Луначарского „Наши задачи в области художественной жизни“.

Задачи художественного воспитания масс автор разделяет на три рубрики: 1) агитационно-пропагандистская работа через посредство искусства, 2) всяческая помощь выявлению самостоятельного классового пролетарского, а рядом с этим и крестьянского искусства и 3) популяризация великих произведений искусств прошлого, хотя бы и не имеющих характера прямой пропаганды и агитации.

Вопреки многим болезненным взглядам, отрицающим значение старого, „буржуазного“ искусства, т. Луначарский выражает здоровый, по нашему мнению, взгляд:

...„мы живем на земле, которая имеет богатую культуру, развивавшуюся несколько тысяч лет.“

Конечно, мы находимся в совершенно особом историческом моменте, конечно, настоящая заря подлинной человеческой истории занимается только сейчас.

Конечно, вполне человеческое искусство возможно только в относительно близком будущем, после решительных побед труда над капиталом. Но из этого вовсе не следует, чтобы в прошлом не было целых эпох, когда бодро развивающиеся впереди целых наций классы не порождали-бы искусства, чрезвычайно близкого по своему духу тому, которое не может не восприниматься пролетарием освободителем“.

Поэтому популяризировать классические произведения искусства необходимо.

Новым течениям в искусстве автор находит необходимым давать одинаковые права гражданства.

Тов. Луначарский останавливается на вопросе, довольно спорном, до сих пор, о искусстве, как виде производства, где говорит, что сводить искусство целиком к производству нелепо. Можно думать, что душа у художников, мыслящих так,—умерла. В подобных взглядах ужасающее падение искусства, симптомы распада буржуазной бездеятельности. С этим взглядом мы также вполне согласны.

Дальше автор отмечает, касаясь вопроса о пролетарской поэзии, успехов пролетарских поэтов, которые будучи собраны вместе, по его мнению, могли бы представлять собой уже замечательное достижение.

В научном отделе—статья А. Тимирязева: „периодическая система элементов Менделеева и современная физика“ и научная хроника. Первая в довольно популярном изложении трактует о разложении атома, о современном состоянии физики, в связи с электронной теорией; научная хроника дает сведения о наших достижениях в области аэрогидродинамики и успехах применения радио за границей.

Хорош в журнале отдел „Из зарубежной прессы“, просторен и интересен „Критико-библиографический“.

Должно отметить, что это лучший в данное время в России журнал и что нужда в подобных изданиях давно назрела. Пожелаем продолжения издания и регулярного выхода последующих №№.

С. С.

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ. — Красный узор (расск.). Государств. Изд. Москва 1921 г.

Миндаторна, но приметна, ярка книжечка Дм. Семеновского. Ярка не только внешностью, а и содержанием.

В книжечке всего 16 страничек, на которых уместилось целых три рассказа: „Новая рубаха“, „Ночью“ и „Работник“.

Кажется, что можно втиснуть в эти странички, набранные крупным шрифтом да еще с иллюстрациями?—Чтонибудь мертвое, схематичное.

Но стоит только прочитать их, чтобы убедиться в обратном.

Скупой на слова, но умеющий выбирать их с большой тщательностью, не нарушая стиля, автор дает три кусочка жизни, три ее уголка совершенно своеобразных.

Эти 16 страничек нарисуют вам и душную крестьянскую избу с воздухом—„хоть топор втыкай“, с желтеньким языком гасика, с лохматыми колеблющимися тенями мужиков на стенах, нарисуют и самих мужиков. Ерему с его цветистой речью о России, в которой теперь два коня: красный и белый, дьячка Федора, и ярого мужика Василия Хромого с необычной глоткой, с суровым отзывом о коммуне, и самого Ваньку—мальчугана, который све-

сил с полатей огненную, как солнце на закате, голову, мечтающего о новой рубахе.

В другом рассказике, еще меньше первого, автор набросает вам скучный и сонливый железно-дорожный полустанок с разговаривающими все от той же сонливости скуки и томительности ожидания двумя солдатами:

—Сам-от царь—махонькой, рыженькой. Мизинцем сшибить можно... А дочь его Татьяна красивая девка! Думал я за ей приударить... Была бы моя, да жалко—скоро угнали в Сибирь. Бывало стоишь на карауле,—подойдет: „Как вас звать, солдатик? Женатый али холостой?“ То да се. Тары да бары... А сама глазами, курва, так и стригот, так и стригот.

В „Работнике“ пройдет перед вами жалкий „Матреныч“—батрак, который когда то и сам был хозяином, и которого теперь в насмешку по матери величают.

Все строки книжки живы, колоритны, узорны. Издана книжка опрятно, внимательно. Иллюстрации вполне гармонируют с содержанием.

С. С.

„ЯРЬ“. Стихи. Мих. Артамонов, Александр Германов, Анатолий Субботин. 1920 г. 3-я Госуд. тип. Вологда.

Это небольшой сборничек на 32 стр., заключающий в себе 15 стихотворений трех поэтов. Издан он со вкусом, и для провинции по своей внешности—редкость.

Собранные в сборнике стихи случайны и ничего целого не представляют. Очевидно поэты просто преследовали цель выпустить свои стихи, дав сборнику и случайный заголовок.

Напечатанные в нем стихи Мих. Артамонова относятся к дням империалистской войны 1915—16 г.г. По настроениям и по технике они выдержаны вполне, но жаль, что редакция упустила из вида поставить под стихами соответствующую дату, а то получается досадное недоразумение.

Ах зачем, ах зачем пожары
Третий год стоят над нами,

Третий год кровавые зори
Каждую ночь на небе пылают.
Люди тонут в кровавом море,
Выхода ищут, и где—не знают.

Этими строками не строго внимательный читатель может быть введен в заблуждение.

Самое большее место в сборнике отведено стихам А. Субботина. Это начинающий поэт в духе Клюева, Есенина и др. В поэте проглядывает порой самобытная оригинальность, но в большинстве он небрежен с рифмами, (а это плохой признак), а иные стихи совершенно не обработаны, так что довольно хорошие образы тонут в них, как в глине.

И. Ж.

В книжном ворохе.

Маленькая изящная книжечка, словно молитвенник. Это и есть молитвы души—стихотворения Анны Ахматовой „Подорожник“, изданные в 1921 г. в Петрограде издательством Petropolis.

Издание отпечатано, как значится на титульном листе, в количестве одной тысячи экземпляров; из них 60 именных и 100 нумерованных в продажу не поступают. Обложка, марка и фронтиспис работы М. В. Добужинского.

Стоит ли говорить, что такие редкие издания совершенно не доходят до широкой публики, а между тем стихотворениями Анны Ахматовой зачитываются тонкие ценители поэзии, ее стихи заучивают наизусть, перекладывают на музыку.

В этом сборнике все те же Ахматовские тона,—тонкая прелесть стиха, полууловимая грусть, полунамек, мягкость красок и в то же время какая то тревожность настроений и образов,—все, что выделило Ахматову из тысячи других.

Каждое стихотворение в отдельности и все вместе составляют как бы молитвы души, вырисовывая такой, родственный всем по интимным переживаниям, внутренний облик поэтессы.

Нельзя удержаться не привести некоторые отрывки из сборника:

Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу...
Сосен дрогнули верхушки,
Желтый луч упал в траву,
Но не звука в чаще свежей.
Я иду домой,
И прохладный ветер нежит
Лоб горячий мой.

Я окошка не завесила, —
Прямо в горницу гляди.
Оттого мне нынче весело,
Что не можешь ты уйти.
Называй же беззаконницей,
Надо мной глумись со зла:
Я была твоей бессонницей,
Я тоской твоей была.

От любви твоей загадочной,
Как от боли, в крик кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу.
Новых песен не насвистывай,
Песней долго ль обмануть,
Но когти, когти неистовой
Мне чахоточную грудь,
Чтобы кровь из горла хлынула
Поскорее на постель,
Чтобы смерть из сердца вынула.
Навсегда проклятый хмель.

Такой же изящный томик стихов, только немного больше размером, Федора Сологуба „Фимнамы“, изд-во „Странствующий энтузиаст“ Петербург 1921 г. цена 350 руб.

Сологуб все такой же, и даже, пожалуй, в прошлом был сочнее, колоритнее.

Семен Фомин. Свирель, Стихи. Госуд. Издательство, Москва 1920 г. Книжка в 46 стран. разбивается на 4 раздела: 1. Земная тяга, 2. Свирель, 3. На родине, 4. Война и революция.

Последнее время из народа вышел целый ряд поэтов и писателей,—в числе их и Фомин. Дарование его небольшое но светлое, и стихи производят бодрое настроение.

Я из города слепого
Выйду к солнцу на поля.
Чашей неба голубого
Причасти меня, земля.
Нет молитвенней и краше
В море хлеба схижных хат,
Где за сном сизых пашен
Сосны ладаном кадят.

Фомин близок в своих стихах к крестьянскому поэту Орешину, но вернее эта близость происходит от того, что они, выйдя из одной среды, одинаково мыслят и воспринимают жизнь.

Разбитая икона—
Истерзанная Русь,
Душа моя взбурлена,
Я на тебя молюсь.
Пред заревом багряным
Твой замер скорбный лик.
К твоим припал я ранам
И тайну вдруг постиг.
Ты—сказка, ты—былина
В мерцаньях вечных звезд.
Прости меня, как сына,—
Над прошлым ставлю крест.
Я верю и не верю,
Приемлю и страшусь.
Разверзлись миру двери—
Иной предстала Русь!

Жизнь и грезы. Сборник стихотворений, изданный во Владимире губ. подотделом искусств, 1921 год. Книжка в 150 стр. делится на три раздела: 1. Жизнь, 2. Хмурые гаммы, 3. Грезы. В сборнике стихи Инны Карам, В. Филипповой, Б. Малецкого, М. Модестова, А. Листовской, А. Безыменского, Г. Яворского и многих других.

Стихи гладкие, внешне отделанные, немного скучные по провинциальному, немного под Надсона. Чувствуется, что выступает молодежь, только что начинающая творить или недавно начавшая.

Например:

Я люблю эту темную, темную ночь,
Ночь без яркого лунного света,
Когда нет никого, кто бы мог мне помочь,
Когда ждешь терпеливо рассвета.
Все дневные заботы, восторги, мечты
Умирают и никнут, бледнея,
Лишь мерцает на трауре млечной фаты
Мне созвездие Кассиопея.

Все другие стихи в этом же роде. Сказывается ученическая работа.

Мелодрама Вяч. Шишкова „Старый мир“, (в 4 дейст., изд. 1920 г., Петербург) может быть отнесена к тем произведениям, которые

написаны, как дань революции. Если бы не прекрасное знание народного языка, мелодрама затерялась бы в ворохе других подобных изданий; подкупает она прекрасной обработкой и народностью.

Действие происходит в глухой Сибири, около присков.

Кутит и распутничает пристав, которому в его самодурствах нет никаких преград. Из партии арестованных он отделяет девушку, и во время разгула, почти на виду у других, пытается овладеть ею. Девушку отбивают вольные арестанты... Приходит революция. Устраивается суд над приставом; его приговаривают к расстрелу. Самый последний момент. Стрелки пробуют курки у ружей, прицеливаются, вот-вот его расстреляют.

Вдруг Наташа, (над которой он пытался совершить насилие), кричит, загораживая собой пристава:

— Стойте, остановитесь! Опустите ружья!.. „И эта тварь—человек“; Наташа требует ему свободы.

Пристава освобождают.

Такая литература—дань времени—уже начинает устаревать.

Чуйские были. Вяч. Шишкова (Петербург 1920 г. Гос. Изд.)—большой вклад в русскую литературу.

В книжке 5 рассказов. Все они о русских алчных кушцах, плутней и хитростью обиравших монгол.

„На Чуйской степи есть маленький русский поселок Кош—Агач. Такой маленький, что с гор, обнявших степь каменным кольцом, его и не приметить,—говорит Вяч. Шишков.

„Через Кош—Агач Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он Сибирский город Байск с монгольским Кобдо.

„Весь бы этот тракт серебром можно вымостить да золотом, что загребли—захапали русские кушцы у алтайцев и монгол.

„Весь бы тракт можно слезами залить, что сочлились из узких глаз полудиких, с чистой душой, кочевников: такой большой обидой и горем наделил их русский, неистовый, алчный хищник.

Плутня прожиг—кушцов, стекавшихся туда ради обогащения, хорошо подмечена Шишковым.

Вот киргиз Юсуп, подпоенный и обставленный торгашем, а потом обобранный в степи тем же самым кушцом—„другом“. Тихий монгол Роптан, потерявший все—несметные богатства, через плутню друга, русского кушца. Вот два китайца Чанбо—миллионщики, доверившись русскому „другу“, на которого чуть не молятся, погибают через его предательство, а „друг“ их миллионные богатства прибирает к своим рукам. Вот купец Гнус, промышленявший кроме всего разбоем.

Книжка написана с четкостью языка, присутствующей Шишкову. Читается легко и представляет из себя значительный вклад в русскую литературу.

Вот я, Марец,
Вот я, воин храбр и буен.
Прошел я с востока до севера—
И нет мне ни встречника, ни поперечника,

Ни здорника, ни поборника.
Только мне встречник и поперечник
Один Аника воин...

АНИКА ВОИН

Что ты есть за Марец,
Что есть за храбрый воин,—
По белу свету таскаешься,
Да мной, Аникой, помыкаешься!
Или хочешь дань платить,
Злато-серебро возами возить?

МАРС

Я тебе дань не стану платить,
Возами злато-серебро на стану платить,
Я хочу биться—рубиться,
На вострый меч сходитьсь.

Это из книги „Царь Максимилиан“, театр Алексея Ремизова, по своду В. В. Бакрылова, Госуд. Издат. 1920 г. Петербург.

А. Ремизов задался целью по девятнадцати вариантам свода Бакрылова составить одно целое.

Откуда пришел царь Максимилиан, из какого сборника и в какое великое или малое Зерцало вписывала уставная рука московского доброписца, или какие шпильманы-игруны-плясуны-песельники занесли его на Русь с русалиями, никто ничего не знает,—говорит Ремизов в послесловии.

Если Сон Богородицы века носила в ладанке с крестом-тельником или хранила этот оберег божественный у божицы в красном углу вся земля русская, Царя Максимилиана играл весь русский народ.

Царь Максимилиан,—да ведь это царь Иван и царь Петр.

Непокорный и непослушный Адольф,—да ведь это царевич Алексей, весь русский народ.

Ремизов выбросил из „царя Максимилиана“ все лишнее, наносное, казарменное, урезал, сократил и отделал затасканное, оставив только характерное, исконное.

—Верю, русский народ не будет на меня в обиде,—говорит он в послесловии.—Все слова его—его театр—и все ему, в его книжную казну на бережение и славу.

Принять крестное имя или прозвище какое—не значит еще быть человеком.

Быть человеком—это поднять высочайший, какой ни есть, труд и, взяв его так, со сжатыми губами и стиснутым сердцем, бесстрашно нести, света и светясь по путанной ночи судьбы и суда.

...если физический труд принято считать тяжелым и соединять с ним преимущественное право господства и власти на земле, а мускулы возвести в культ, то о труде художника и ученого надо сказать так: труд их неоплатный.

И только свинья, если бы свинья вдруг зарассуждала по человечьи, только свинья могла бы сказать, что труд художника и ученого есть труд легкий и даже, пожалуй, вовсе

никакой труд, а праздное развлечение праздного человека, тунеядца, который и вязанки дров поднять не может.

Но всякий, кому хоть раз зацветили звезды, тот если и не поймет, то почувствует весь крестный жестокий путь.

Так говорит в своей статье „о человеке, звездах и о свинье“ А. Ремизов в № 1 журнала „Дом Искусств“ (Петербург 1921 г.).

Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить,—говорит Евгений Замятин в статье „Я боюсь“ того же журнала. В наши дни в театральном отделе с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во „Всемирной Литературе“, несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить,—жить так, как пять лет назад жил студент на 40 рублей,—Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре „Ревизора“, Тургеневу каждые два месяца по трое „Отцов и Детей“, Чехову в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры.

...Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. И не в бумажное дело: главная причина молчания—не хлебная и не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, железней. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатолий Франс, тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло.

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать... Если неизлечима эта болезнь,—я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое,—заканчивает статью Евг. Замятин.

„Дом Искусств“—это один из лучших в данное время толстых журналов. В нем участвуют лучшие литературные силы России: Алексей Ремизов, Анна Ахматова, Н. Гумилев, Евг. Замятин, О. Мандельштам, М. Кузмин, В. Ходасевич, К. Чуковский и целый ряд других известных по старым журналам имен.

Кроме беллетристики, в нем помещен ряд прекрасных критических статей и обширный отдел о жизни писателей, их творчестве, кем и что написано и приготовлено к изданию, обширные данные о заграничной литературной

жизни вообще и в частности о русских писателях, художниках и музыкантах за границей.

Напечатанный в ограниченном количестве, журнал представляет редкое издание.

Недавно вышедшая из печати вторая книга „Художественного Слова“ (временник литературного отдела НКП) по сравнению с „Домом Искусств“ кажется анемичной: как будто все авторы страшно устали, ужасно утомились, через силу несут свою работу. Чувствуется вымученная заученность письма, хотя стихи гладки и музыкальны, а рассказы написаны ровно, тепло и спокойно;—в них однако нет души, огонька, согревающего читательскую мысль.

И все же на фоне нашего бескнижия он представляет значительную художественную ценность.

На ряду с Бальмонтом, Брюсовым и другими от буржуазного мира, выступают молодые пролетарские силы: В. Александровский, М. Герасимов, В. Казин, С. Обрадович. Но и они нового и яркого ничего не вносят.

Из статей следует остановиться на: „Смысл современной поэзии“ Валерия Брюсова и „Октябрь в поэзии“ В. Фриче.

В журнале полны и богато разнообразны отделы: библиографический и хроника.

Переведена на русский язык и издана Госуд. Из-вом в Петрограде новая книжка польского писателя А. Немоевского „Люди революции“.

Русскому читателю Немоевский знаком по его прежним переводам, (особенно книжкой „Заглавие конфисковано“), еще в дореволюционные годы.

Талантливо и ярко набрасывает он типы польских революционеров 1905—6 года, кровавые схватки на улицах Варшавы, неистовство полиции и энтузиазм людей революции.

В книжке дано 9 рассказов-очерков; они написаны художественно, с воодушевлением, и читаются легко.

Как писатель-революционер Немоевский занимает одно из первых мест. Книжка его большой вклад в этого рода литературу.

„Зарницы“. Альманах Тверского лит.-худ. О-ва имени П. С. Никитина, книга 1-я. 1920 г.

В альманахе помещены рассказы: Н. Власова-Окского „Серая жизнь“ (речная быль), Н. Рогожина „У перевоза“, Ив. Синякова „Пять красненьких“, целый ряд стихотворений и библиографический отдел.

Если оставить в стороне С. Дрожжина, старого тверянина поэта-пахаря, в альманахе выступают молодые силы, в творчестве которых намечаются кое-какие завоевания. Альманах не хуже других провинциальных изданий. Издан прилично. М. А.

Н О В Ы Е К Н И Г И.

Ив.-Вознесенским Губернским отделением Государственного Издательства выпущены в свет следующие издания:

Аблов Н. Н. Классификация книг, ее история и методы в связи с классификацией наук вообще. Стр. 100.

Н. Ленин Брошюра „О продналоге„. На помощь—сборник статей по развитию сельского хозяйства.

Постановления и резолюции VIII и IX Губернских Съездов Советов.

Материалы к 10 Губернскому Съезду Советов. 4 брошюры.

Очередные задачи и план деятельности губернского отделения рабоче-крестьянской инспекции, Известия политехнического института.

К вопросу о катонизации льняных очесов — работы комиссии при химическом факультете Ив.-Вознесенского политехникума. Брошюра, 20 стр.

Отчет о деятельности Иваново-Вознесенского политехнического института за 3 года,

Иваново-Вознесенский Губернский Ежегодник (календарь справочник) на 1921 г. 320 стр.

„*Взмах*“ — литературный сборник. Стихи и поэмы Ив. Возн. поэтов. (В пользу голодающих губерн.)

„*Сноп*“ — Сборник стихов и рассказов Ив.-Возн. поэтов и писателей.

Проф. П. П. Будников — Крашение бумажных и льняных изделий домашним способом.

Находятся в печати.

Н. Н. Аблов. Каталогизация в общедоступных библиотеках.

Везенберг-Лунд. — Основные черты биологии и географического распространения пресноводного планктона.

Терентьев. — Программа работ по собиранию гадюк.

От редакции.

Первый номер альманаха „Начало“, выпускаемый Иваново-Вознесенским Губполитпросветом и Отделением Государственного Издательства, является в нашей Красной губернии первой попыткой дать читающей публике разнообразный литературно-художественный и публицистический материал.

Предполагалось дать и ряд статей научно-популярного характера, но, к сожалению, этого не удалось сделать. Оставляем это до следующего номера.

Мы не сомневаемся в том, что наша первая попытка не будет последней, что „Начало“ не превратится в „конец“ и что за первым номером последуют и другие.

Редакция.



Содержание.

	стр.
Стихи: <i>Мих. Артамонова, Дм. Семеновского, Ив. Жижина, Анны Барковой, Ал. Дуранского, Ав. Ноздрина А. Сумарокова.</i>	3
Рассказы: <i>Дм. Семеновский. Ярунок</i>	8
<i>Сер. Семин. Арест.</i>	12
<i>Сер. Селянин. Шиповник</i>	18
<i>Ник. Смирнов. Через улицу.</i>	21
<i>Мих. Артамонов. Пережитое</i>	26
<i>П. Яровой. Глаза кургана.</i>	32
Статьи: <i>Ник. Смирнов. Художник</i>	34
<i>А. Воронский. М. Горький.</i>	39
<i>Дм. Семеновский. Частушки и современность.</i>	41
<i>А. Воронский. Песни северного рабочего края.</i>	44
<i>Леон. Богданов. Забытый писатель из народа Ф. Д. Нефедов</i>	49
<i>Ив. Жижин. Сын земли.</i>	54
<i>Мих. Артамонов. Сергей Семин.</i>	57
<i>Стихотворения Сергея Семина</i>	58
<i>Н. Бельчиков. Отклики русского общества на отлучение Л. Н. Толстого.</i>	61
<i>Н. Бельчиков. Из истории книги.</i>	63
<i>А. Воронский. Перегруппировка сил.</i>	65
<i>Ш. Дволацкий. П. Струве о „крахе“ социализма.</i>	69
<i>П. Мещеряков. Из белой литературы.</i>	73
<i>А. Аросев. Артур Рансом.</i>	75
<i>М. А. Из жизни писателей.</i>	79
Критика и библиография.	81
В книжном ворохе	84
Новые книги	87

Иваново-Вознесенское Отделение
Государственного Издательства,

Редакционная коллегия при Иваново-
Вознесенском Губполитпросвете.

Адрес редакции: Гор. Иваново-Вознесенск. Губполитпросвет. Лито.
Редакция альманаха „Начало“.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Начало

Литературно-художественный,
научно-популярный и
публицистический альманах

№ 2-3.

Год издания второй.

Издание Иваново-Вознесенского Гублитпросвета.
1922.

Р. В. Ц. Кинешма.

Тираж 1000 экз.

3-я Государственная типография Г. С. Н. Х. в гор. Кинешме.

ЗВУКОПИСНЫЙ УЗОРНИК.

П О Р Т Р Е Т Ы.

А. А. Невскому.

I В у н д т.

Волос лывлезших ключек
Над лбом раскинувши ехидно.
Косой угрюмый старичек
На мир взирает безобидно.

Мы все, в плену суровых стен.
О камни бьемся головами,
А он расторгнул этот плен
Простыми, ясными словами.

II Г а р т м а н.

Отец отцам. Из мировых отцов
Он самый снисходительный и старший.
Как кроет птица забнувших птенцов.
Он бородой укрыл нас патриаршей.

Стоит один и грозно смотрит вдаль.
На где-то пламенеющие грозы,
Таа в душе суровую печаль
И мяром непостиженные слезы.

III Н и ц ш е.

Сверлящий взгляд, как жало у осы.
И кротость умиленья человечья.
Оскалив рот, взъерошивши усы,
Он нимба ждет на слабые оплечья.

Какой восторг плененной Красоты
Запечатлен нетленным этим ликом,
Что, в бездну бездн срываясь с высоты,
Во тьму кричал нам истушенным криком!

IV.

Ш о п е н г а у э р.

Зловещий облик, тягостный как труп.
Всех зол в себе таящий ожиданье.
В углах отвисших стариковских губ
Насмешливая злоба и страданье.

Он жинет мысли царственный алмаз
В людскую жизнь с ее мышиной слешкой.
Сверкнет зелеными зрачками глаз—
И мир похерит с дьявольской уменшкой.

V.

Г е г е л ь.

Подлазников мясистых желваки.
Прямых волос свисающие пряди
Не знали беспокойства и тоски,
Не зажигали искр в суровом взгляде.

В бесстрастный мир логической мечты,
Где правда, ложь—простой познания метод.
С своей недостижимой высоты
Лишь может заглянуть такой, как этот.

VI.

К а н т.

Скрыв череп раздвоенный в завитки
И горло сжав брыжжами кружевными.
С спокойным престодушнем тоски
Он шел один дорогами пными.

За ним гнался невежд угрюмый вой,
А он, больной и ласковый калека,
Всю глубину, весь разум мировой
Запечатлел в сознании человека.

VII.

Т о л с т о й.

За беспокойным блеском быстрых глаз
Таилась мысль могучая в размахе
И просияла, как сермяжный Спас,
В босых ногах и сконческой рубахе.

Создав препоны гордому уму,
В глубокой тайне и молчаньи строгом
Он спрятал лиру в нищую суму,
Что б Христа-ради бродить по дорогам.

VIII.

Гоголь.

Курьезный карла! Кажется, что он
Вот-вот вас клюнет острым длинным носом.
А он, в людские бездны погружен,
Томил себя мучительным вопросом:

«Как быть? Что делать? Всюду грязь и грязь,
Застой, невежество, камье, кликуши»...
И сердце разорвав свое, смеясь
Он мертвенные наши вынул души.

IX.

Кантемир.

Посланник дикой, варварской страны,
Он таял в черном дыме Альбиона.
Он видел царство старого закона,
Но знал, что нам законы не даны.

Парижем принят в царственное лоно,
Познал культурной жизни глубины.
Была ему, как тягостные сны
Царицы азиатская корона.

В заботе вечной, с утра до утра,
О поддержаньи царского престижа,
Он был посмешищем всего Парижа
Среди придворных чуждого двора.

И лишь в минуты творческого мира
Лялась его незлобная сатира.

X.

Тредиаковский.

У астраханского пана Кирилла
Родился сын Василий как-то раз.
Не будет мудр о мальчике рассказ:
Ученым стать мечта его пленила.

И вот года, не отрывая глаз
Он шел, куда влекла познания сила.
А жизнь текла. У царского кормила
Он стал шутком для царственных проказ.

Профессор элоквенции, пиита,
Не знал он, что в его жестокий век
Равно ценился зверь и человек,
А от зверей людских—плоха защита.

Не всякий жил с таким успехом быстрым:
Был бит царшей и ее министром.

А. Сумароков.

Сентябрь.

Качалась ставни желтых окон
У отгоревших вечеров,
И всякий плакал, что не мог он
Зажечь золоченных костров.

Устали дни в просонках шитопать,
Смотря сквозь тусклый дым очков,
Полей кружащуюся копоть
И темь облезлых облаков.

Лишь блекло стынущая синеть
Порой, как порыжелый плат,
На крыше изб уныло кинет
Скупой коричневый закат.

Листопад.

I.

Весь день сегодня в лесу
Кружился в листьях багряных.
Хочешь, как букеты в стаканах
Я тебе багрецы принесу?
Не знаю: бродяга я, или мудрец,
Или просто с лучем румяным
В золотой осенний дворец
Я пришел незванным?
Господи! мир твой чуден и прост.
От земли и листьев горький запах.
Распушила осень рыжий хвост
И прилегла на лапах.
Открылось сердце—всему привет:
Ни друзей ни врагов не знаю,
И люблю этот поздний, меркнущий свет.
Оттого, что сам умираю.

II.

В первые почувал вашу утрату,
О, милые листья—земная краса!
Сегодня ходил по закату
В золотые леса.
Идешь осторожно, тихонько,
Ногами листву теребя.
Легко как! За сучья тронь-ка—
Золотом звонким осыплет тебя.
И к болям печалей и знаний
Вот так подойти бы путем сторожким.
О, лес, облетевший моих воспоминаний,
Когда-то ты был не таким!
Но мне ли живую радость славить,
А прошлое кинуть, забыть, не знать?
Я только могу расставаться, оставить,
И горько потом вспоминать.

В полях.

Шуршит, шелестит ветерок в бурьяне.
Веселей и светлей.
Как будто домой к старой няне,
Иду в просторы полей.
Мне не скучно и ничего не жалко:
Все пройдет и само-собой справится
На кочке охорашивается галка,
Должно быть, хочет понравиться.
Осень на солнце сегодня скупа:
Глянет из облака рыжий рожок,
И засветится, как яичная скорлупа,
В канавах талый снежок.

Вода еще не замерла, но студит.
А завтра, наверное, с утра
Солнце прополаскивать будет
Светлые дни и вечера.
В полях просторнее, глуше, пустей.
Перелезаю полосатые дороги,
Исхоженные словно ногами чертей,
Если вообще у чертей есть ноги.
Иду и смеюсь, чудо-юрод.
Смеюсь-то смеюсь, а выходит жалко.
Пугаю хочу поставить себя в огород
Для тебя, моя подруга, галка.

А. Сумароков.

За морями — земли великие

Как взгорья, как синие кручи,
Как крылья стоголового змея,
Над морем тяжелые тучи
Зарю задавили, немея
Царевна с пустынного взморья
Глядит на небесные взгорья.

Царевна глядит безглагольно,
Как синь потемнела морская,
Как вдаль устремляются вольно
Суда, паруса распуская,
Как, засты зарю, безрассудно
За судном уносится судно.

Стремительны девичьи взоры,
Протяжные речи, как песни.
Пестры зарукавья узоры,
Горят самоцветные перстни
И шелком богато заткана
Литая парча сарафана.

А взморье сурово и древне.
Слетаются чайки на вече.
И чудятся смутно царевне
Великие земли далече,
Где белому свету кончина,
Где с небом граничит пучина.

Там свет заряницы ночует,
Туда над волною, как враны,
Суда полетели и чуят
Их стая заветные страны.
Там солнце впотьмах задремало,
Там всяких диковин не мало.

Чудесным мечтаньям подвластна.
За синего моря границы
Царевна, бледна и безгласна.
Стремит неотступно зеницы.
Ей мнится, что сказка правдива,
Что за морем — дивные дива!

А чайки, как стрелы из луков,
Летают, скликаясь на вече,
А волны, суда убаюкав,
Ведут непонятные речи
И, берег суровый лаская,
Синеет пучина морская.

Сонет о петухах.

Задорный взор со взором тесно сцеплен
На грозный спор бойца зовет боец.
Враг ва врага насккивает Слеплен
Один с другим. Неровен стук сердец.

В обоих пыл воинственный затеплен.
Вот разошлись. Гудят. И наконец
Схватились вновь. У одного расщеплен
Когтями лап малиновый венец.

Недолго бой. Покрыв себя позором,
Слабейший враг с опципаным узором
Нарядных крыл, взъерошен, хром и хмур,

Уже спешит в родимую обитель —
Под кров двора. А гордый победитель
Поет и в круг скликает верных кур.

Рябина.

Обищала рябина: последнее злато
Скрудным нивам она отдала
И грустит и трепещет и рвется куда-то.
Сиротлива, бедна и гола

Так душа золотые дары песнопений
Потаенной несет красоте
И грустит и томится рябиной осеяней
В немоте, в нищете, в наготе

Я.

Я, рожденный на прелестной
Обольстительной земле. —
Только след звезды небесной,
Закатившейся во мгле.

Вот идут дорогой трудной,
Прелесть мира полюбив,
И какой то грустью чудной,
Светлой грустью я счастлив.

Словно вспомнил я иные —
За пределом бытия —
Неземные, но родные
Позабитые края.

Дм. Семеновский.

Н л я с.

Я больна. Не люблю я танца.
Перестаньте на танцы звать.
Я горю предсмертным багрянцем
Неудобна моя кровать.
Ну я встану. Только уйдите
Я последний танец спляшу,
На ногах — железные нити
В голове — неотвязный шум.
Я танцую. Легко, как в сказке
Не касался пола, лечу.
Кто там смотрит сурово, без лзевн
И немножко хмурясь, чуть-чуть?

Счастливы, кто ослушаться может.
А я должна танцевать
И упасть на смертное ложе
На больничную мою кровать.
Вот капли предсмертного пота
Едко ползут по лицу.
Я кончу. О что ты, что ты,
Потанцуй, еще потанцуй!

Анна Баркова.

* * *

Весь день суетилась, как Марфа.—
Обычными были встречи.—
Края пурпурного шарфа
К земле опускает вечер.
И шарф, зацепившись за трубы,
Повис, разорванный в клочья
Рукой беспощадной и грубой
Ревниво подкравшейся ночи.
И ночь спеленала город...
Растаяли люди и вещи,
Дома взгромоздились, как горы,
И звездами небо трепещет.
Спрошу благосклонного Бога:
— Не все-ль чудеса Ты роздал?
Смогу ли по млечной дороге
Пройти к трепещущим звездам?...
И Бог мне ответит: После,
Как станет бессильной отравы,
И мудрая, кроткая Осень
Дохнув, успокоит травы.
И так простую до зари я,
Забыв очарованный город,
Душе—исконной Марии—
Нездешние слышатся хоры.

Марианна Ямольская.

К о р о л е в а.

За окном в ночной тиши застыла
Темень пропастью бездонною,
Город спит.
Над машинкою швеи склонилась
Светлокудрюю головку полусонную,
Колесо журчит-журчит;
Шум, как струйка монотонная,
Говорливый треплет льет,
В грезах отзвуком мечтательным поет:
— Милый... милый...
Гонят пальцы в белых волнах легкой ткани...
— Милый... милый...
Млеют грезы—как в тумане
Улыбнулась...
— Милый... милый...
Как красиво это слово...
— Милый... милый...
Нету ласковой иного...
— Милый... милый...
За стеной забредил кто-то.
Встрепенулась
Шевельнулась беспокойная забота:
Надо шить скорей, скорей:
Завтра придут за работой,

Колесо журчит быстрее;
Шум, как струйка, льется-льется.
В думах нудно отдается:
— Шей... Шей... Шей...

* * *

Поздно... Гудок—
Переулоч.
Запоздалые шаги гуляки
Прозвучали неуверенно во мраке
Под окном.
Нету сил бороться с сном.
Разливается усталая истома
По упругим юным членам.
Сводит ногу от работы—
Под коленом.
На ресничках липнет дрема
Сонь зевоты
Мутит грудь...
Отдохнуть...
Вздрыхнуть...
Чуть-чуть...
Опустила голову на руки
Миг—
И спит.
Иссякли звуки
Только в часиках сверчат:
— Чок-чик... Чок-чик...
А меж тем бледнеют стекла.
Блекло,
Как больной цветок осенний,
В лампе желтый огонек мерцает
Тают тени...
Полусвет...
Заглянул в окно рассвет
С улыбкой алой...
Снится девушке усталой
Светлый сон...

* * *

Льется-вьется струйный звон:
— Милый... милый...
Дуг как бархат... Сколько света!
— Милый... милый...
„Посмотри, как я одета!“
— Милый... милый...
Дышет близко—ловят губы...
— Милый... милый...
„Дорогой, желанный, любимый“...
— Милый... милый...
„Дорогая, золотая...“
— Милый... милый...
„Любишь?“—„Милая, родная“...
— Милый... милый...
Врови крыльями мелькнули
— Милый... милый...
Ленты губ к губам прильнули...
— Милый... милый...

* * *

Сладко спится девушке в тумане
Юных грез:
А сквозь герани,
Яркой зеленью заткавшие оконце,
На волнистый
Ворох ткани,

На пушистый
Шель волос
Росцветающее солнце
Золотистый
Трепет льет;
И сверкают
На головке утомленной
Волоса
Золотистой короной.

* *

Сни, покуда голоса
Надоедливых забот
Дум тревогой не терзают!

* *

День идет...

Вас. Смирнов.

Из деревенских песен.

I.

Белая черемуха цветет на перекрестке —
Дышешь--не надынешься. срывай--не оборвать.
Вот белает кофточка: девчонка в преческе
Вудет сговоренного к себе на встречу ждать

Белая черемуха,
Цвети--не отцвети!
Белая черемуха,
Мне счастье вороти!
Ах, белая черемуха,
С небес упавший плат,
Любовью напоенные
К тебе сердца спешат.

Белая часовенка стоит на перекрестке.
Девушка-зорянушка глядит на образа
Роспись бора теплится. В сердце ветер жесткий,
Непогодь упала на талые глаза.

Взяли бы заботы
Да горе у людей,
Дальние отлеты
Белых лебедей.
Быть бы хоть последней
В вашей цепи мне...
Звон из за обедни
Стынет в стороне.

II.

У нанятой горницы
Девушки-проворницы
Свежками играют,
Песни распевают,
Песенки--начеты
Для парней почет!

Тот почет так влечет,
Нет, не удержаться!
Стали парни подступать.
Свежками бросаться.
Попаду-ли? попаду
Либо в эту, либо ту?
Эй, лови на лету,
Полно закрываться!
Но боятся настудиться,
Дома вечер не сидится
Вольно так на холоду.
Попаду-ли? Попаду!

У избы нанятой
Снег лежит примятый
Окна освещены,
Двери растворены,—
Там на новосельи
Полное веселье
Песни да игра!

Ах, мила, мила игра,
Весела, нарядна!
На народе вечера
Так сидеть повадно!
Той ли ночью дурговой
Чтоб тоску рассеять
Песню-песенку с игрой
Любо так затеять!
Милы сборы, вечера,
Девчьи смотринны,
Шумен говор да игра,
Выступ лебедный!

Лампа подвесная
Освещает ярко
На дворе-то холод,
А в избе то жарко
Распахнулись полы
Под напев веселый!

Весела--мила игра,
Бойкая--нарядна!
На народе вечера
Так сидеть повадно!
Не заметить, не видать--
Петухи начнут кричать,
Знать пора и со двора
Кончить день нарядный!

Мих. Артамонов.

* *

Затерянный в огне рассеянном
Поблескивающих витрин,
Идет, в пыли, мятелью взвезанной
Пошатываясь Арлекин.

Возмолвы улицы пустынные
Ни пестроты, ни шумов нет.
Так ново все. Дома старинные
Пугливо жмутся в полусвет.

Смешно цветное одеяние,
Смешен звенящий Арлекин
В перекрестившемся сиянии
Поблескивающих витрин.

С высот луна меланхоличная,
Задумчивая клонит лик.
Вдруг вздрагивает мгла столичная,
Вдали шатается двойник.

И сравниваются бездомные
Два Арлекина на углу,
Притихшие, немые, скромные
И исчезают в полумглу.

С тускнеющими оба взорами
Вредут распутьями дорог
Шагами тихими, нескорыми
Куда указывает Рок.

Огня мерцают придорожно,
Стушевываются в туман,
Где может сбыться невозможное
И где возможное — обман.

1921 г.

У притихшего серого дома
И опять тебя стерегу, —
Ты близка, но так незнакома. —
Отойти никак не могу.

Жду и знаю: ты верно глянешь
В непроглядную темноту
И когда мое сердце ранишь
И оставлю пост на свету.

Буду помнить, шатаюсь, как пьяный
От невыпитого вина
Боль незримой, но жгучей раны,
Подусвет твоего окна.

1921 г.

Сергей Селянин.

Перевал.

Бывало, рассветом тихонько разбужен,
Мечту за мечтой, как стрелу за стрелой
С тетивы невидимой спускаешь — и ту же.
Все ту же лук гибкий становится твой.

То смело стреляешь, то метишь украдкой
И вправо и влево, назад и вперед, —
А стрелы звенят. И так сладко, так сладко
Следить их неверный, но легкий полет.

И бодрость вливается в душу и в плечи
Все — счастье, удача и пламенный стих.
И утренней свежести каждая встреча
Желанней и жарче объятий любых.

К тебе, от тебя, от былинки к былинке
Протянуты нити, все слито с тобой.
И каждой летящей по-ветру пылинке
Готов ты, как другу, кивать головой.

Проснешься теперь на рассвете: закуришь.
К столу подойдешь, как свинцом налитой
И лоб перед зеркалом тусклым нахмуришь,
И, молча, погладишь морщины рукой:

Из зеркала смотрит двойник безответный.
Тая за собою судьбу — перевал.
О, кто ты, палач мой, что с силой несметной
Рассек тетиву и все нити порвал?

Как обручем, властно тобою обжаты
Все мысли ума и мой каждый порыв.
Отдай мне мое достоянье, проклятый!
Возвзвную юность! — И буду счастлив

О, ужас! Ужель пригвожденным стать к стону,
От рая в себе затерявши ключи?
Кто молод: как в красном углу на икону,
Молитесь на молодость. Вы — богачи.

Фабрика.

Пер. с немецкого. Из Фридриха Блюма,
поэта рабочего (слесаря).

Вот, смотрите, как этот зловещий корпус похож
На огромную голову слепорожденного зверя;
В лике его сочтались как бы тысячи рожа,
Тысячи пар незрячих зияющих окон-глаз.
Внизу — настезь разверстая пасть, имя которой
двери. —

Вглатывает молчащие ключья рабочих масс.
Ха-ха... Двери!.. А куда же ведут
Они тех, что сейчас проглотили?
Тсс... Молчите!.. Сквозь двери те путь
К могиле.

Солнца лик выводят и прячут лазурные дни;
А плетей работать должны до кровавого пота...
Мчат колеса, шуршат и хлопают грозно ремни,
Как удавы грызя, разминая сталь шестерен...
Ночь. Корпус, точно из ада, в мрак, через те
же ворота

Массы чубарые лют, дразня, что кончился день:
— Ха-ха... Спешите скорей отдохнуть,
До солнца новой набраться силы,
Чтоб завтра еще сократить свой путь
До могилы!..

Вот, друг на друга натыкаясь в глухой темноте
И мужчины и женщины, склонив усталые лица,
Горбятся бредут точно с тяжестью на каждом
хребте;

Рахитичные бледные дети за ними спешат...
— Кто же высосал кровь, кто унизил и кто
твой убийца?

Кем обращен ты в скота, несчастный пролетарьят?

— Нам не свободный и радостный труд
Вымотал кровь и вытянул жилы.
Капитал нас обрек на один лишь путь —
В пасть могилы.

Ив. Жижин.

Одиночество.

На портрет все какой-то глядит.
Да читает какую-то книжку.
И. А. Некрасов.

Провожая угасший закат,
Сердце плачет и плача томится.
Не облечься-ль в бухарский халат —
Молодым стариком варядиться?
Гляну в зеркало: ишь, по вискам
Седина. Над губами — морщины.
Отчего каждый вечер тоска
И душа, словно осень, пустынна?
Если в зеркало долго смотрю, —
Мне мерещится грустный Печорин.
Старый сад заглядывая на зарю,
Как зара, и цветист, и узорен.
Может-быть, к рдяной печке присесть?

Пламя — ласковый карточный домик —
 Будем ломкое кружево плесть,
 Озаряя в руках молчу томик —
 Милый томик, любимый давно,
 Со стихами венчалника — Блока.
 Иль, открыв голубое окно,
 Бросить мысли далеко далеко —
 В вышины, в тишину, в глубину:
 Пусть кружат голубиною стаей.
 Лечь в кровать? — Все равно не усну...
 Не усну... Что же делать? — Не знаю?
 Черной розой — любовью — томик,
 С неумной и лютой тоскою
 Наклонюсь над портретом твоим:
 Ты, далекая, снова со мною.
 Месяц влиел, заскользив в вышины.
 В кудри яблони розовый бантик.
 Не придешь ли ко мне в тишине? —
 Эх, какой же я, право, романтик...
 Про меня моя мать говорит
 (Чутьким сердцем жалея сынишку): —
 „На портрет все какой-то глядит,
 Да читает какую-то книжку“...
 Говорит — и слезу, как звезду,
 Гасит тучей — траурной шалью:
 Если в синее поле уйду —
 Все равно, не расстанусь с печалью.
 Может быть, как и в детстве, позвать
 Мою тихую, грустную маму
 На рождественских картах гадать
 Про червонную, гордую даму?..
 К тихой матери с лаской прильнуть,
 Как к земле в поле ласковом, вешнем,
 А, прильнув, позабыться, заснуть —
 Безмятежным, любимым и нежным...

Ник. Смирнов.

Лесной человечек.

Из ствола соснового
 Вышел человечек:
 По коре, как лесенке
 Слез у царских свечек
 Зашагал задумчиво
 Тронкой муравьиной,
 Надушил он папоротник
 Теплой древесиной
 Вдунул в капли росные
 Огонек зеленый.
 Колыхнул нечаянно
 Можжевеловый сонный...
 Сел на корни темные
 К муравьиной тропке:
 Иглы вниз упавшие
 Складывает в стопки.
 И к нему с докладами
 Пристают докучно:
 „От сосны до ельника
 Все благополучно!“

Лесовики.

Бурый медведь в берлоге лежит —
 Лапу сосет, когти грызет...
 Чует: к порою кто-то ползет,
 Ветвями шуршат, от стужи визжит

Хитро мигнул ленивый медведь:
 „Это сосед — волк — потаскун!“
 — Что, брат, того... Надо зипун!
 С первой овцы, хоть в первую клеть?
 — Или плохо, болезный, дела?
 Или мужик стал прижимать?
 Или постарел начал хромать?
 Старость пришла, сноровка ушла?
 — Надо тебе в медведи птиц!
 Лег да соси — лапа своя!
 Ни те овца, ни те телля!..
 Стал бы я так крутить без пути!
 — Бурый ты скот. — сказа ему волк. —
 — Что ты? Бревно! Чурка в шерсти!
 Спи, брат, каляй! Лапу верти!
 Что с тебя взять? Какой в тебе толк?
 Разве в овце у нас все дела?
 Дальше овцы прыгнуть не смей?
 Нет — есть у нас воля полей,
 Шорох кустов, трущобная мгла!
 Выйдешь с зарей к опушке лесов —
 Красным огнем светят снега,
 Целым селом встали стога,
 Сколько кругом пахучих следов...
 Знойный мороз хватает бока,
 Иней седой вяжет усы,
 Брешут в селе сонные псы,
 Балкой лежит в сугробах река,
 Встретишь других соседей волков,
 Вихрем летишь — ветер свистит,
 Снежная пыль след порошит;
 Воля вокруг — не видно концов!
 Так-то, старик, лежи себе, спи!
 Встанешь весной меду искать —
 Будем тебя в дуг выдирать,
 Будем таскать запасы твои!

Лев Зильов.

Рожь.

В золотистом пожаре ржи
 Васильковые звезды сини.
 Над душистой калмой межи
 Мотыльковый трепещет иней.

В небе огненный сноп повою,
 Осypает зернами света
 В многоцветные кудри лета
 Пчелы звонким дождем влились.

Скоро здесь сплывутся серны
 Серебристою рыбьей стаей —
 Васильковые звезды растают
 И сбегутся колосья в снопы.

Соберутся в бугры копен.
 На телеги недвижно лягут.
 Как пшеница трудовому благу —
 Их трещающий шелест звон.

Пропоет он о светлых днях
 Тем, с чьих рук не сжили мезоли
 Не зря ли горит в полях
 И, как ветер, шепчет о воле?

Н. Колоколов.

Песенка.

Ветер начал. Я ему попутно
Подтянул случайным голоском
Солнышко втянулось и уютно
Мы запели песенку втроем.
Ветер заливался голосом быстрым
Я его старался слить со мной
Солнышко рассыпало звончатые искры.
Увлекало песенку весной.
Шли и пели, пели по дороге
Пели трое о сердечном, о своем
И у каждого таяли, таяли тревоги,
Потому что песенку пели втроем.

Василий Казин.

Ты помнишь.

Ты помнишь, как мы ожидали
От новой жизни — новых бурь,
Березы золотом плескали,
Смеясь в осеннюю лазурь...
И в далах блекнувших наивно
Не заливался бубенец,
Судьба нам, сумрачная, гневно
Судила жизненный конец.
Молилась ты в простор бездонный
Иному солнцу и мечтам,
А жизнь летела непреклонно
К неясным, дальним берегам...
И грозы жизни оттремели,
Угасла дивная заря...
— Ты помнишь ранние мятели
И гул победный октября?..

Сер. Огурцов.

* * *

Люблю тебя я, сумрак предосенний,
Закатных вечеров торжественный разлив;
Играет ветерок, и тих, и сиротлив
Листвою прибережных пр
И облака гуськом бегут, как в сновиденьи:
Редает лес, и льются на дорогу
Серебряные колокольчики синиц:
То осень старый бор обходит вдоль границ
И линии темные с божиц
Глядят в углу задумчиво и строго.
Вкушает мир покой и увяданье,
И в сердце у меня такой-же тихий свет:
Не ты ль, золотая быль благоуханных лет,
Не ты ль завороченный след
Давно в душе угасшего страданья?

* * *

Куда ни глянь, везде ометы хлеба
И в дымке спозарань не видно деревень.
Идешь, идешь и только целый день
Ячмень и рожь пугливо зыблят тень
От облака, бегущего по небу.
Ой, хорошо в привольи и безлюдьи
Без боли мир оглянуть и вздохнуть
И хорошо уйти в безвестный путь
И где нибудь в ковыльную погудь
Прильнуть на грудь земли усталой грудью.
И верю я, идя безбрежной новью,
Что сладко жить, тая благую весть.
Есть в мире радость, есть: принят и перенести
И, словно облаку закату, довести,
Страхнув с крыла последний луч с любовью.

С. Клычков.

* * *

Лавина, сонная от груза,
Дохнула холодом на шлях,—
И град — не град, а кукуруза,
Что в синих вызрела полях.
Сыпнуло мутным и каленым
По косогорам и низам,—
И, как павлин, хвостом зеленым
Играет день по небесам.
Взмордованный ройбою улей,
Шумит и гаснет темный гром.
И красноперую зозулей
Кукует сердце под ребром.
И вновь по жилам, что стеблями
Взросли в меня, ползет вино,—
И в златосолнечном Адаме
Яйцо грозой опылено.

Владимир Нарбут.

Переклик свирелей.

I

Сергею Семину.

Медовых слов и дум свирельных
Еще застенчивый пастух
Ты шел из далей беспредельных
Земли родимой красоту.

В земле любимой лик твой стынет,
Но не забудем твой напев,
Затем что в росах на полыни
Ты видел солнечный посев.

II.

Михайлу Артамонову.

Застучало в подоконники
Солнце палочкой луча,
Кличет звон твоей гармоникки
Песню радости начать.

Эй, свисти, гони-выгонивай
Горе-темень вон из сел!
Дали пахот, боры за-ливой—
Наше все!

III.

Ивану Жижину.

Глядела черным оком озера
Лесная Русь из мхов бровей,
И тьма ее глухого озера
Пугался дикий соловей.

Но мертвый взгляд ожгла лучинами
И мглу расценила гроза.
И Русь, звеня песнепучинами,
Открыла светлые глаза.

IV.

Дмитрию Семеновскому.

Гонялась Русь разгульной тройкою,
А после калыкою шла.
Горела над сивушной стойкою
Лампадой красного угла.

А вынче солнцу воли молится
Свирелями певцов своих,
И деревенская околиця
Всемирный поднимает вихрь.

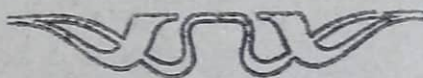
V.

Анне Барковой.

Нашла песни диконравы
У цветов в колоколах,
В волоса свои лукавы
Ключья солнца заплела—

И пошла грозой—мужичкою
Долю рабскую ломать.,
Только с сердцем-невеличком
Не управится сама.

С. Горюбецкий.



Хлеб наш насущный.

1.

Николай Сергеич заканчивает повесть. По утрам Анна Владимировна вешает корзинку на левую руку, в правую берет старенький ридикуль. Иногда нагружается книгами, уцелевшими журналами, бельем, детскими игрушками. Долго бродит по базару, в черной косынке, улыбается знакомым торговкам, радится, украдкой вздыхает и приносит домой молока, немного мяса. После обеда Николай Сергеич вынимает зубочистку, привезенную из Москвы, садится в мягкое кресло, закуривает. Хорошо посидеть, слегка запрокинув голову. Легче создаются образы для незаконченной пьесы, ярче вырисовываются картины, чуть-чуть затушеванные грустью. Вечером уходит за город. Горит вечернее небо, четко обозначаются синие уплывающие дали. Висят узорные паутинки, чувствуется запах умирающей осени. Маячат села с белыми колокольнями церквей, грустным взором глядят далекие монастыри с зажженными куполами. Вспыхивают огненные стрелы на западе, гудят косматые облака на востоке, точно дикие кони с распущенными гривами.

В городе голод.

Около квартальных лавок стоят бесконечные очереди, но то, что выдается квартальными лавками, жадно съедается дорогой, общипывается крошками и люди возвращаются домой с тоской и отчаянием. На всех перекрестках и улицах слышится одно слово:

— Х л е б.

Дома горит керосиновый пузырек, вместо лампы, два окна завешены газетой. Шумит железо на крыше, плачет ребенок на кровати. Осень идет. Анна Владимировна смотрит странно прищуренными глазами. Лицо у нее скорбное, кроткое, лежит на нем печальная улыбка. Долго думает, обрывает кисточки на скатерти, рассеянно вяжет узлы.

— Цены на хлеб поднимаются, Коля! На дрова тоже.

Глаза у Николая Сергеича жалобные, брови дрожат.

— Ты, Нюрочка, не рассказывай об этом... Не надо...

А когда Анна Владимировна рассматривает кресло, пробуя обшивку, Николай Сергеич испуганно предупреждает:

— Нет, нет, кресло мы не продадим. Я так привык работать на нем, что положительно не сумею написать ни одного порядочного рассказа, если ты посадишь меня на ящик. Снеси лучше мою шляпу.

II.

В Октябре падают дожди, вьется талый пушистый снежок. Ветер срывает старые магазинные вывески, по утрам висят туманы. На разбитых тротуарах наливаются грязные лужи, с дворьев бегут вонючие ручьи из помоек. Перезванивают колокола, громко поют медные трубы на гражданских похоронах. В сырых непротопленных квартирах слышатся предсмертные стоны, конвульсивно дрожат тощие голодные челюсти.

Третий дечь Николай Сергеич лежит с полотенцем на висках. Пиджачишко на одной пуговице, шея обмотана тряпкой, длинная стариковская борода. Злобно стискивает зубы.

— Я ли это?

И кажется ему, что это не он. Из зеркала смотрит хмурое лицо с провалившимися глазами, тонкий нос, как у покойника, серые землистые губы. В воспаленном мозгу—одна неотвязная мысль:

— Х л е б.

Анна Владимировна идет на базар, но возвращается уже без молока, без мяса, с двумя фунтами черного хлеба. Плачет ребенок, завернутый в тряпки. В углу скребутся мыши, одна за другой выбегают крысы с длинными хвостами.

— Мамочка, ты тоже плачешь?—спрашивает ребенок.

— Нет, нет, я не плачу.

— Не плачешь, а слезы у тебя на глазах.

— Это от холода они: ветер на улице.

Николай Сергеич режет кусочек хлеба, обнюхивает осторожно, разжевывает и начинает шутить.

— Ну, что же? Хлеб отличный! Замечательный хлеб...

А когда садится за повесть, дрогнувшая рука выводит одну пугающую фразу:

— Ц е н ы н а х л е б п о д н и м а ю т с я.

Долго рисует домики, трубы, деревья, падает головой на стол. Анна Владимировна снимает с себя батистовую кофточку и обрадованно говорит, скрывая улыбкой печаль на лице:

— Продам и ее. Зачем она мне?

Опять едят белый хлеб с молоком—кофточки хватает не надолго. Вслед за ней уходят простыни, наволочки, детское одеяло, старые отпоротые кружева. Вещи исчезают с поразительной быстротой, а цены на хлеб и дрова поднимаются все выше и выше. Николай Сергеич прощается с креслом.

— Ну, старик, прощай! Не знаю кто будет сидеть на тебе, а мне придется заканчивать повесть на этом вот ящике...

Целый день он сидит как на похоронах: руки засунуты в рукава, спина горбатая, на лице в морщинах преждевременная старость.

— Анна, я начинаю бояться!

Анна Владимировна не отвечает. Только морщинки набираются около глаз да крепче сжимаются губы.

По три раза на дню ставят самовар, но нет сахара. Покупают коринку. Коринка тоже поднимается в цене. Пьют горячую воду. Мучительно плачет ребенок. Анна Владимировна берет его на руки, уговаривает и поет в темноте по ночам мягким растроганным голосом песню.

„Завтра купим хлеба,
Купим молочка.
Разогреем чайник,
Будем пить чаек“.

— Анна ты плачешь?—спрашивает Николай Сергеич пальцами ощупывая глаза ей.

III.

По вечерам приходит жилец из соседней квартиры, Иван Порфирыч Беркутов, в длинном наглухо застегнутом пиджаке.

— Чайку попил,—говорит он, отрывивая. Большевики хотят уморить нас с голоду, а Господь не скидывает с рук. Десять тыщенок настучал сегодня... с сотней...

Николай Сергеич молчит.

Беркутов садится рядом и хлопает его по плечу.

— Теперь интеллигенции плохо. Вашему-то брату, говорю. Встала машина! Вчера я встретил инженера Потапова. Известный человек в нашем городе, два дома имел, а теперь штаны солдатские таскает по базару.

Беркутов оглядывает комнату жадными высасывающими глазами, щупает уцелевшие тряпки и сокрушенно вздыхает:

—Д-да-а! Все умрем: кто ест и кто не ест. Продать у вас нечего?

Николай Сергеич молчит. Кажется ему, что он глупая неразумная муха, а Беркутов огромный паук. Заберет его в длинные лапы, запутает в тенетах и будет мучить до тех пор, пока не замрет последний мускул. Беркутов говорит невозмутимо:

— Хорошо заплачу—подумайте!

— Я все продал,—морщится Николай Сергеич. Только совесть осталась.

— Хэ-э! Совесть... Совесть теперь не в ходу. Только дураки, извините меня, держатся за нее. Хотите в компанью со мной? В убытке не будете!

Николай Сергеич смотрит удивленными глазами, а Беркутов сыплет веселым горошком.

— Беда с вами! Сидите, можно сказать, около нищих, а руки прячете за спину. Так негодится. Глядите на меня: была у меня бакалейная лавочка-закрыли. Устроил другую лавочку из—под полы. Борьба, если по вашему сказать, по ученому, а по нашему—кто кого обманет.

Иногда он приносит грязный жемок для ребенка.

— Ну-ка вот, покушай—толще будешь.

Ребенок глядит на отца.

— Папа, возьму...

В глазах большое не детское горе. Часто спрашивает.

— Папа, а если мы умрем? Нечего нам будет есть, мы и умрем...

Анна Владимировна несет на базар последнюю юбку и детскую книжку с картинками. Дорогой говорит себе:

— Дадут десять тысяч, куплю белого хлеба, молока, немного керосину. Коля будет заканчивать повесть. Он так измучился бедный!

А Николай Сергеич идет в редакцию газеты и тоже говорит себе.

— Ну, что же делать? Придется писать фельетоны, статьи. Один исход: или уйти от жизни, или поклониться единому хлебу и добывать его, не думая о средствах.

Доходит до редакции и вдруг останавливается. Перед глазами хихикает Иван Порфирыч с кренделем в руке:

— Спекульни! Спекульни!

Николай Сергеич плюет ему в лицо и быстро уходит назад.

В городском саду поют слепые нищие, выворачивая незрячие белки.

— Пой и ты! Выколи глаза и пой...

Несколько раз проходит мимо нищих, чувствуя, как подгибаются ноги, потеет, оглядывается и стоит изумленный.

— Попробуй. Как писатель ты и это должен знать...

Лицо горит, тело вздрагивает. Неожиданно дотрагивается до шляпы, на минуточку каменеет и уже не может сдвинуться с места. Впереди—мужик с двумя караваемы белого хлеба. Николай Сергеевич отрывается от земли, от людей, падает в темную раскрывшуюся яму и, как в тумане, видит свою протянутую руку.

— Товарищ?

— Чаво тебе?—спрашивает мужик.

Несколько человек останавливаются, подходят вплотную.

— Кто это?

— Нищий какой-то.

Николай Сергеич стоит с обнаженной головой и глупо смотрит на прохожих слезящимися глазами. С трудом опускается на скамейку и сидит сутулый, с высоко приподнятыми плечами. Левая рука, положенная на колено, по нищенски протянута ковшичком, глаза закрыты. Подходит женщина, крестится и сует в протянутую ладонь трехрублевую бумажку.

— Помяни младенца Георгия!

Николай Сергеич вздрагивает, оглядывается и судорожно сжимает бумажку в кулак. Через минуту расправляет ее, жалко улыбается уголками плачущих губ и беззлобно бросает бумажку под ноги.

Дома Анна Владимировна приводит «дешевого» доктора и отдает за визит ему последние триста рублей. Доктор долго стучит молоточком в грудь, велит дышать сильнее, совсем не дышать, выслушивает пульс, щупает виски, и, не найдя опасных признаков, неуверенно говорит:

— Что с вами?

IV.

Вечер, канун воскресенья. На церквах звонят ко всенощной. Иван Порфирыч стоит перед зажженной лампадкой в переднем углу. Длинная ситцевая рубаха высоко подпоясана узеньким ремешком, волосы на голове смазаны. Он только что кончил подводить итоги за прожитый день и теперь благодарит Бога за вырчку. Входит Анна Владимировна.

— Иван Порфирыч.

Иван Порфирыч слегка поворачивается и продолжает молиться. Беззвучно шевелит губами, делает последний поклон и неторопко гасит лампаду, зацепив фителек двумя пальцами. Плюет на ладони, попачканные копотью, вытирает их о штанину и наставительно говорит:

— Во время молитвы никогда не следует мешать человеку. Он душой возносится, можно сказать, очищается, а вы—с разговорами. Здравствуйте.

— Иван Порфирыч, Николай Сергеич умирает.

— Все смертны!—откликается Беркутов.—Грешим вот, за копейкой гонимся, а дальше кладбище куда убежишь? Присаживайтесь.

— Купите у меня кофточку.

Покупать-то невыгодно стало.

— Иван Порфирыч, голубчик!

— Да вы присядьте. Посидите в моей убогой хижине. Не уютно живу. Днем-на торговлишке, ночью сижу в размышленьях... Одинокий я, вдовый, женского глазу в дому не имеется... Которая кофта? Не эта?

Глаза у Беркутова загораются, руки дрожат. Подходит к Анне Владимировне и тычет пальцем в грудь.

— Голенькая хочешь остаться? Ну, сними, погляжу.

Уже нет стыда. Анна Владимировна стоит в одном лифчике, прикрываясь платком, а Иван Порфирыч разглядывает кофточку потемневшими глазами. То расправит на огонь, нет-ли дырочки, то судорожно стиснет в кулак. Дико смотрит на женщину, стоящую перед ним в одном лифчике и жадно хватает ее за обнаженную руку.

— Ну, вот что, Аннушка... Кофту можно не продавать... Я так дам тебе тыщу... Нравишься ты мне... За смиренность твою сам...

— Как вы смеете? Слушайте!

— Ну, ну, гордостью тут не прокормишься...

Анна Владимировна вырывает кофточку и, согнувшись, бежит от Беркутова, как от любовника, выгнавшего ее из квартиры. В коридоре долго стоит, прислонившись головой к стене. Дома плачет ребенок, завернутый в тряпки,

— Папочка, я не хочу умирать.

Николай Сергеич сидит на опрокинутом ящике, по щекам текут обильные слезы.

— Ты не плачь, сынок!—говорит он ребенку.—Сейчас мама принесет молока, затопим печку, тепло будет. Поставим самовар. Ах, какое счастье!.. поставим самовар... А когда мама продаст последнюю рубашку с себя, папа научится воровать...

Приходит поручик Осечкин, старый московский приятель. Высокий, румяный, с черными подстриженными усиками. На ногах играют шпоры, на лице—скужающая улыбка.

— Давно, давно я не был здесь... Ну, как живете, друзья? Николай, что с тобой?

Николай Сергеич молчит. Осечкин садится на ящик, закуривает.

— На улице снег идет. Скоро будет зима. Помните, как у Державина? Пришла, рассыпалась клоками, седыми машет рукавами. Кажется, у Державина. Хотя это не важно. Вообще, зима...

Ему не отвечают. Он ходит по комнате, позвякивая шпорами и снова садится, прищуривая глаза.

— Чулаки эти писатели. Пишут-пишут... Жизнь так коротка, не успеешь оглянуться, как старость лезет через порог, постукивая клюшкой, а они сидят и выдумывают какую-то эстетику. Ну, кому это нужно? Для собственного самолюбия? Теперь нужны солдаты, сапожники, портные, парикмахеры, а повесть писателя Передубова-что это такое?

Осечкин берет за руку Анну Владимировну.

— Вы сильно нуждаетесь?

— В чем?

— Как вы живете?

— Вы напрасно, Степан Аркадьич, мы пока не нуждаемся,—говорит Анна Владимировна, отворачиваясь в сторону.—Правда, мы продаем кое-что, но кто же теперь обходится без этого?

Осечкин не слушает. Вынимает из кармана кусок белого хлеба и подает Николаю Сергеичу.

— Хочешь, Николай? Только, пожалуйста, без гонору. Если сам не хочешь, отдай малышу. Да! Между прочим. Хотя не стоит об этом... После расскажу.

Николай Сергеич сидит на кровати, укутав ноги одеялом в ушах звонят колокола. Опять как на лавочке в городском саду, рука положена на колени поверх одеяла. Голова опущена, глаза закрыты. Молча берет поданный кусок хлеба и общипывает его мелкими крошками. Чувствует, что делает непоправимое гадкое, выплевывает непрожеванную крошку и ложится вниз лицом. Осечкин шепчет Анне Владимировне:

— Возьмите у меня денег на доктора: так не годится. Я ведь старый приятель.

Глаза у него как и у Беркутова, дрожит рука, сжимая ей руку, а лицо выразительно говорит:

— Я знаю женщин. Они как запертые двери: стучи сильнее—отворятся.

Анна Владимировна оборачивается и видит Николая Сергеича. Он сидит на кровати, схватив себя за голову обеими руками и озлобленный кричит:

— Анна!

V.

Идут дни. Нужно творить новую красоту—нет силы. Сказать бы людям новое неслыханное слово, открыть перед ними новые невиданные небеса, ради которых идут они на голгофу, но нет такого слова, плачет душа от тоски и безверья. Десять дней, не вставая, лежит Николай Сергеич в бреду. Иногда беспомощно скулит, точно щенок, выброшенный на дорогу, декламирует маленькие рассказы, злобно хохочет:

— Хлеб... Да будь ты проклят!

Анна Владимировна собирает щепки на улице, изредка приносит полено, оброненное извозчиками, и греет им железную печку, купленную на проданный самовар. В минуту сознания Николай Сергеич говорит ей тихим голосом:

— Анна, ты жива?

— Жива.

— А ребенок?

— Все живы.

— Где ты берешь хлеб с молоком?

Анна Владимировна рассказывает: молоко в городе отпускают бесплатно, хлеб тоже. Скоро будут отпускать мясо, овощи. Уже работают фабрики, заводы, из деревень везут продукты.

Николай Сергеич верит и не верит, но слушать отрадно и он слушает с закрытыми глазами. Но когда смотрит на Анну Владимировну, на желтое страдальческое лицо с тоскующей материнской любовью в наплаканных глазах, мучительно допытывается:

— Анна, ты правду говоришь?

— Ты не растраивайся, Коля. Поправишься немного—уедем в деревню, отдохнешь там, кончишь повесть...

— А ты веришь, что я кончу ее?

— Конечно, верю. Я всегда верила в тебя.

— Анна, Анна дружок ты мой милый!

Николай Сергеич берет ее за руку и нежно припадает сухими задрожавшими губами,

— Помоги мне окончить ее.

Анна Владимировна успокаивает. Лицо у нее старое, доброе, голос ласковый с затаенными слезинками. В глазах—просветленная мудрость, в мелких морщинах—печаль. Она стирает белье комиссару, моет полы, подбирает кусочки. Уже нет Анны Владимировны в шелковой шелестящей юбке на высоких мотающихся каблучках—пришла издалека убогая странница и шагает с любовью на сердце в далекий неведомый путь.

Комиссар молодой, жизнерадостный, ласковый. Зовет ее Аннушкой, под веселую руку Анюткой. Иногда прижимает ее в дверях, щиплет, пристально смотрит в глаза.

— Сколько лет тебе Аннушка?

Узнает—удивляется.

— Какая ты старая! Двадцать восемь лет, а глаза как у бабушки. Почему ты никогда не смеешься?

Сегодня суббота. Анна Владимировна моет полы. С трудом двигаются руки, спина онемела. Завтра праздник. Выходит жена комиссара, шумит юбками, в зубах папироса.

— Чище, чище мойте, Аннушка: завтра будут гости.

В кухне на столе лежит кусок мяса, в газете завернуто масло. В глазах у Анны Владимировны начинает темнеть. Смотрит на мясо с маслом—отворачивается. Где-то как будто-бы плачет ребенок.

— Мамочка!

В ушах шум, сердце бьет частыми неровными толчками. Вспоминается Москва, первая книжка рассказов, написанных Николаем Сергеевичем и мелкая надпись на ней: „Тебе, облегчающей путь мой“. Где-то гудит колокол, большой, неуклюжий, тяжелый и от звона его распирает виски. А ребенок все плачет и плачет.

— Мамочка, я не хочу умирать!

Анна Владимировна подходит к столу и судорожно разворачивает масло, вытянув руки. Руки не слушаются, пальцы не гнутся. Опять гудит колокол, распирая виски. Горло перехватывает.

— Я не себе.... Не себе...

И вдруг отскакивает. Долго стоит у дверей, снова подходит. Быстро режет маленький кусочек масла, сует его помимо кармана и в ужасе закрывает глаза: на пороге стоит жена комиссара.

— Это что?

Входит комиссар. Глаза у него круглые. Долго смотрит на Анну Владимировну сверху вниз.

Анна Владимировна не помнит, сколько времени простояла у позорного столба. Может быть минуту, час, сутки, целый год. Дома ее встречают отец с сыном. Лежат на одной кровати под одним одеялом и жадно хватают воздух умирающими ртами.

— Плакали мы здесь без тебя. Где ты ходишь?

— К доктору ходила.

— К какому доктору ты ходишь ежедневно?

Анна Владимировна молчит. Только нервно дрожат плотно сжатые губы. Отходит к окну, закрывает лицо и судорожно плачет.

IV.

Ночь. Дует ветер, гремят оторванные вывески, падает мокрый снежок. Фыркают, несутся военные автомобили. Темные окна в домах смотрят пугающими провалами. Свиристует эпидемия. Кто-то кричит „караул“, и голос его тонет во мраке.

Анна Владимировна скользит по камням. Останавливается и снова шагает. Кровь в висках стучит частыми тупыми ударами. Ноги подгибаются. В сетке падающего снега одиноко маячит фонарь. Проходит военный, глухо позвякивая шпорами. Анна Владимировна заглядывает в лицо ему жуткими округленными глазами.

— Товарищ!

А через минуту бежит, не зная куда.

— Господи, помоги!

Вслед за ней бежит Николай Сергеич с голодными провалившимися глазами.

— Анна! Анна!

Мимо проходит мужчина с портфелем. Анна Владимировна берет его за руку, горло сжимается.

— Позвольте, что вам нужно?

— Ради Бога... У меня умирают ребенок с мужем.

— А я при чем?

У аптеки Анна Владимировна долго смотрит в окно на расставленные банки. Умереть бы. Выглядывает Николай Сергеич под старым худым одеялом. Греет ребенка, прижатого к сердцу. Дрожат в нетопленной комнате голодные, ненужные. Совесть... Стыд... Да что это такое? Ведь двое... двое умирают.

Подходит матрос в растегнутой куртке и весело хлопает по плечу.

— Пардон, мадам! Могу пригласить?

Идут. Сворачивают в переулок. Огромный купеческий дом в три этажа. Матрос долго стучит кулаком в парадную дверь,

А когда поднимаются по лестнице, Николай Сергеич перегораживает дорогу.

— Анна! Анна!

На верхней площадке Анна Владимировна прислоняется головой к стене и тихонько плачет...

Утро скоро. Анна Владимировна несет в кармане смятые бумажки. Ребенок лежит на кровати со сложенными на груди рученками. На тонких застывших губах—хорошая, спокойная улыбка. Кончены земные печали.

— Вам нужен сапожник? Прекрасно! Парикмахер? Замечательно? Да позвольте на черта мне ваши двадцать миллионов? Я совсем не барышник! Ах, вы хотите купить меня? Прочь! Прочь! Прочь!

— Коля!

Николай Сергеич испуганно отскакивает к кровати и грозит Анне Владимировне указательным пальцем.

— Цыц! Ты кто?

— Коля, родной мой!

— Ты слышишь? Комары поют... Пчелы...

А через минуту громко хохочет:

— Да нарочно я. Господи Боже мой! Неужели вы не понимаете, что я шучу? Ну, что вам угодно? Ну? Нет ее, нет... Я после напишу, после... Устал... я. Уйдите... К доктору она ушла...

Александр Неверов.

...○○○○...

Голубой снег.

На охоту вышли очень рано, в холодном голубом тумане. Сначала долго шли полем, по колкой, мерзлой пашне, по зябким, звенящим, как гусли, травам. Шагавший впереди Сергей вел рвущихся, повизгивавших от нетерпения собак.

Он долго видел только голубую пелену тумана. Потом туман стал, колеблясь, расплываться. Вверху проглянуло,—холодно и тонко, как изумрудный слиток,—небо, а за лесом, за вершинами голых осин, вспыхнуло солнце: день затеплился морозно и тихо, с ровным, грустным, похожим на зодиакальный, светом. Этот свет—этот розовый „свете тихий“—был особенно-грустным, напоминал печальную великопостную свечу.

На опушке спустили собак. Разбрелись по лесу. Приятель—Сергея, Федор—парень лет 20—22, зычно позывал собак. Позыв раскатывался дробно, хищно и весело.

Сергей пробирался мелочами. Изредка трубил. Рог у него был старинный, дедовский, звучный. Сергей заслушивался отголосками: они плыли тихо, замирая очень нежно, словно далекая девичья песня.

На охоте не везло. Зайцы лежали плотно, и наткнуться удавалось очень редко: Все-таки, скоро подняли. Федор убил здорового, матерого беляка на первом-же круге. В полдень пили чай. Долго смотрели в далекое небо. Оно туманилось. Ползли белые, пушные облака.

— Беспременно снег будет,—пророчил Федор. Так уж завсегда. По тучам угануть можно.

И от того, что будет снег, и от того, что перед глазами сверкало потрескивавшее, горячее пламя костра, а над головой шумели-музыкально и протяжно—венценосные сосны, и от того, что кругом была осенняя глушь,—Сергею было очень хорошо; уютно, тепло и спокойно. Спокойствие осеняло душу: не хотелось ни говорить, ни думать.

После чая повеселели. Едва разошлись—Федор пошел бором, а Сергей окрайком моховью болота—зазвенел—страстно и певуче—захлебывающийся, залиvistый лай. Сразу стало ясно, что гонят „по красному“. Гон звенел непрерывно, отчаянно—злбно и весело.

Страсть, жалоба, отчаяние, надежда—нет только охотники знают эту прелестную и своеобразно-ласковую музыку хорошего гона, который заставляет дрожать, искренне волноваться, искренне печалиться и радоваться. Сергей бросился к ближней, уведящей на сечу, дороге.

Не успел: через дорогу уже «переходили» собаки.

Но вдалеке, по сече,—он видел ясно—легко и быстро скользила лисица. Гон удалялся. Удаляясь, он звенел еще полнзвучней и заливистей: казалось, что это плачет лес.

Лисица кружила собак долго, настойчиво и путанно. Порой гона было почти не слышно: он терялся в золотой глуши. Потом голоса собак звенели отчетливей и слышней. И, наконец, Сергей—он стоял в редкой березовой просеке—ожил: собаки „вели“ к нему.

Сергей хищно, чуть дрожа, прижался к холодному стволу вздрагивавшей—от легкого ветра,—как чутко спящая девушка,—березы. Его глаза пытливо заскользили по каждому ближнему кусту.

Сергей не ошибся: через несколько минут справа, шагах в сорока, сверкнула багряная шкурка легкого, изящного зверя. Он не выдержал и выстрелил: лисица заскользила по прежнему быстро и грациозно. Выпустив ее на „чистину“, Сергей „ударил“—уже шагах в семидесяти—второй раз: лисица взметнулась в сторону и растянулась: у ней тихо вздрагивали острые, синевато-черные, как дорогой бархат, ушки, а на спине и полевому боку рдяно кровянилась рана—затейливо и причудно, как дорогая вышивка.

Наратые, нестомчивые гончие „дошли“ быстро. И так-же быстро метнулись на новые поиски. Вслед им—попрежнему хищно и весело—летел окрик Федера, и попрежнему в лесных долинах кружились, как пестрая вереница бабочек, отголоски звучного дедовского рога: счастливый редкой добычей, Сергей трубил чаще, дольше и протяжней.

Было так-же морозно и звучно, но тихого розовато-фосфорического света уже небыло: небо туманилось все гуще и плотней.

Оно опускалось ниже Тучи были по-зимнему кудрявыми и пушными, как лебединый пух.

Скоро пошел снег—ровный, легкий, с нежным голубым отблеском. Лес стал глуше и уютней. И уют его—спокойствие белой зимы—заставлял мечтать о теплой лежанке, мягких валенках, солнечной школе с веселыми и простодушными, как на картине Богданова-Бельского, лицами ребятишек и белых полях, пестрых от кружева русальих следов.

Сергей крикнул Федору. В ответ послышалось близкое, охотничье, звучное: „Ого-о-о-оп“!

Федор стоял на долине, и Сергею, пробирававшемуся осиновою порослью, была видна его солдатская высокая шапка и торчавшее за плечами ружье. В снежном голубоватом свете фигура Федора казалась, почему-то, родной, напоминала о деревне, о тепле, о низкой темной избе.

Снег падал тихо-тихо. И когда в этой тишине, неподалеку от Сергея, громко взметнулись два тетерева—и один из них, ближний, сверкнул изломом своей палевой брови красиво и светло, как след ракеты,—Сергей вздрогнул.

Он вскинул ружье по направлению улетающей птицы и выстрелил—гулко, дробно—раз за разом.

Тетерева налетели на Федора и, очевидно, очень близко: было видно, как он быстро нагнулся к земле, как порхнул фиолетово-легкий язычок дымка и стукнул выстрел.

Сергей с восхищением и завистью смотрел, как черная птица неуверенно замахала крыльями, забирая выше и выше. Потом она метнулась вниз, угодила под второй выстрел и упала, четко, как футбольный мяч, стукнувшись о мерзлую землю.

— Ну, и тетеревок. Хорош,—показывал Федор подошедшему Сергею крепкую, теплую еще птицу, с лиловым оттенком на груди и снежными пятнами в смятом хвосте.

Он запрятал его в холщевую сумку, зарядил ружье, закурил:—запах „самосада“ казался приятным и милым,—оглянулся.

— А зашли мы далеко. Выберемся, почитай, не ране вечера. Надо манить собак.

Сергей затрубил. В снежной тишине рог был не так звонок, но особенно приятен и ласков.

Отзвуки глохли быстро и мягко, как тихий влюбленный шопот.

На трубу кто-то откликнулся: без сомнения, охотник. Это слышно было по отклику—он звучал по лесному: чуть таинственно и сдержанно-вкрадчиво.

Скоро из кустов вынырнула быстрая лайка—статная, черная, в крупных белых пестринах. Остановилась, насторожилась, но потом, кружась—особенная черточка „остроушек“—„подкатилась“ к Сергею. За собакой вышел и ее хозяин, Он прищурился. Потом узнал и обрадовался.

— Брат ты мой, куды вас занесло!

Подойдя к Сергею, поздоровался:—

Сергей Палыч, наше вам почтение... Закурили. Присели.

Подшедший был здоровый, красивый и крепкий мужик, около тридцати лет, с румяным лицом, но хитрыми браконьерскими глазами. Они из под заячьей шапки светились плутоватым синим огонком. Жил он неподалеку, в сторожке: Сергей, охотясь по веснам на глухариных токах, зачастую останавливался у него, в старенькой избушке.

Лесник потрепал убитую Сергеем лисицу, позавидовал.

— Добрая шкурка. Только поразбита.

Попал, видно, не того... не графно.

И пожаловался на свое горе:—

— Эх, Сережа, куницу, брат, из рук выпустил сегодня. Верхом ушла, сволочь. Опростоволосился.

На ремне у лесника болталось около десятка белок, а в сетке лежал скомканный, как клубок цветных ниток, рябчик.

Но, рассказывая о кунице, казался искренне—огорченным: было заметно по глазам, на мгновение потусклым и ребячески—грустным.

Собак сзывали долго и настойчиво. «Статакав», взяли на—цепь. Охотиться было нельзя: снег сыпал все гуще и гуще, но удивительно ровно и тихо.

Собирались домой. Лесник уговаривал.

— Останься, Сергей Палыч. Начуешь, а утречком и двинешься. Погода, авось, перестанет. Раздолье будет по пороше.

И Сергей согласился, оставив с собой одну собаку. Другую увел Федор.

Пошли бором, в зеленоватых сумерках, под ровным, ласковым и грустным, как сказка няни, снежным шумом.

Лесник, повернувшись к Сергею, улыбнулся.

— Обнову покажу тебе, Сергей Палыч: бабу свою.

— Что, красивая?

— Ровно патрет!

Сергей об этой «бабе» уже слышал. Лесник, взятый в солдаты, женился где-то на Юге. Жену ревновал к каждому проходящему и проходящему. За каждый взгляд на «чужого» — бил: дико, страстно и больно.

Он рассмеялся.

— Только, грешным делом, не приревнуй?

— Не. Што ты. Чать не безумный я.

Немо стлались сумерки. По чаще раскидывалась пелена вечернего покоя — тихой и томной усталости.

Бежавшая впереди лайка вдруг оживилась: у ней поднялись уши, задрожала (как вершины сосен под легким — легким ветром) шерсть на спине, а хвост «заходил», словно маятник, часто и весело. Она метнулась в сторону. Взвизгнув, окружила несколько сосен, потом залаяла — уверенно и злобно — строго, брасаясь на дерево и кусая сучья.

Привязав свою собаку — она, насторожившись, беспокоилась — Сергей снял ружье.

Лесник, вынув из за пояса топор, гулко стукнул по корявому, холодно-смолистому стволу. Белка, сверкая серебрянной шкуркой, перемахнула на соседнюю сосну, комочком свернувшись на кудрявой, закрапленной снежинками, ветви.

Сергей выстрелил, и она упала. Лесник отрубил лапки, бросил собаке.

Все это произошло очень быстро, но оставило в душе Сергея светлый след особенной радости, — той, которая знакома только охотникам.

За бором потянулось мелколесье — березники. В стороне тихо журчала наполовину затянута льдом речушка. От речушки по пригорку тянулись березы. Под березами, под снегом белыми и тихими, как склоненные перед образами послушницы, сквозила караулка: оттуда тянуло дымом — свежим запахом соломы, жилья, тепла и коровьего стойла.

В сенях весели лисьи, заячьи и беличьи шкурки. Пахло остро и приятно.

Изба опахнула теплом. Низкие оконца, голубея, потели. На перегородке, вправленное в деревянную рамку, пряталось в узор бумажных цветов треснувшее зеркало.

Раздеваясь, Сергей мимоходом заглянул в его мутно-синюю глубину: оттуда глянуло молодое, бледно-розоватое от мороза, лицо и тихие, с голубоватым, как у падающего снега, отблеском, глаза. Трехгодичное уединение и лесные скитанья зажигали их особым, бледным светом-лаской успокоения, осенней грусти и какой-то безотчетной, милой отроческой влюбленности.

За эти глаза — Сергей был сельским учителем — его любили ученики. Этими глазами увлекались окрестные поповны.

Эти глаза часто-часто — (давно это было, — пора забыть) — целовала Валентина — далекое, разбитое счастье Сергея.

За обедом жадно хлебали свежие щи, ели изжелта-розовый, вкусный „тыкальник“ и пили холодное, густое молоко. После обеда лесник завозился с самоваром, рассказывал об охоте, о раненом журавле, который „впоследствии концов“ улетел, шутил.

О революции говорил мало. Мужиков сильно ругал.

— Сволочь народ, алчный немонимающий.

Себя причислял к горожанам. В сторожку загнали его голод-да страсть к охоте.

До революции он портняжил, много пил, одно время, оборванный, был чуть-ли не в „золотой роте“, а потом—„продовольственным комиссаром“ в маленьком городишке.

Теперь „оклемался“: завел корову, „бараньев“, добрую сотню кроликов— в „люди вышел“, одним словом.

Но старая закваска сказывалась: по силе-возможности он поучал мужиков, ставя их на „советскую платформу“.

За это мужики ругали его, а зачастую (они здесь крепкие и хозяйственные) и били.

В избе темнело. Оконца слезились, а за ними, над голым, зябким березником, над широкой долиной, с дрожащей, как бусы речушкой—падал и падал снег. И был на всем нелет тихой северной печали, печали сумерек, глуши и одиночества.

Ровный свет реял за окнами—веяло оттуда началом долгой зимы, лебязьими крыльями сугробов, лунными ночами, далекими бубенчиками.

К началу зимы так идет усадебный покой, заклеенные окна, морозные утра, комнатное тепло и старые книги.

О, книги, милые книги, непререкаемая их радость и вечное их очарование!—Сергею так захотелось почитать что-нибудь из Тургенева или Толстого, уйти в тот мир, который скудел, хирел и умер, наконец, такой бесславной смертью.

Плохо это или хорошо—не знает никто: все так мало и ничтожно перед вечностью.

Самовар звенел музыкально и певуче, словно будильник.

Заскрипела дверь: вошла „баба“. В сумерках ее фигура, лицо ее, закутанное шалью с серебряными снежными разводами, казались в этой глуши почему-то трогательными, поэтичными, напоминали о святочных вечерах в детстве, о новогоднем гаданьи и Гоголевской Оксане.

Она взгляделась в полутьму.

— Эй, батько ты уже пришел?

И это „батько“ сразу говорило за то, что она не наша, не „здешняя“, а южанка.

Заметив Сергея, поздоровалась. Попросту, очень радушно.

Из за перегородки вышел лесник.

— Шатаешься?

И, отвернувшись, выругался.

— Где была, сволота несчастная?

Она, не отвечая, разделась, заглянув в мутное зеркальце, оправила волосы.

— А на деревне. У гостях.

Голос ее звучал низко, тихо и—странно—напоминал золотые отголоски старинного, дедовского рога.

Лесник сердился, но, очевидно, немог.

Грубость выходила мягкой, похожа была на затаенную нежность. Он хлопнул дверь; через минуту вошел с дровами.

От них тонко пахло былым, вкусным снегом.

Когда разожгли подтопок—по избе потянулся ровный, розовый свет—тот же милый, умиляющий „свете тихий“ что реял сегодня утром над озябшим, голым лесом.

Сергей взглянул на женщину. Заметил черные, с синеватым проблеском, похожие на спелую сливу, глаза. В лице не было ничего особенного, не было красоты, но зато в каждой черточке сквозила та мягкая женственность, которая особенно привлекает, придает каждому взгляду и каждому движению своеобразную гармонию, размеренность и обаяние.

Сергей смотрел на это лицо—и не отрывался: в чертах его, в складках над губами, в тонком профиле—был он грустным и задумчивым—Сергей воскрешал черты другой—другое лицо, смуглое, в темной короне отливающих бледным—бледным золотом волос.

Милая девичья головка!—Вот она склонилась над раскрытой книгой, над хрупкими осенними цветами. Как хорошо опустить на эти пышные волосы руку, легонько повернуть к себе лицо и, глядя в милые глаза, загореться их бойким, синим блеском—блеском цветов, солнца и молодости.

— Вот так у меня баба,—хлопнул лесник по плечу Сергея,—ишь, как ты загляделся.

Сергей смущенно отвернулся.

— А сходство редкостное,—подумал он.

Он не знал, впрочем, есть-ли на самом деле сходство с его Валентиной: возможно, что и нет, возможно, что он выдумывал.

Но если и так—он не виноват: так тихи сумерки и так хорош в эти часы образ всякой женщины.

Лесник смеялся. Попросил закурить.

Задымили.

„Баба“ смутилась. Отошла к печке, опустилась на колени, потирая озябшие руки.

Сделалась маленькой, худенькой и робкой, словно католичка на молитве.

Лесник сел рядом с женой. И по тому, с какой корявой нежностью он глубоко, может-быть, дико, но, по своему, красиво.

Развалясь перед огнем и пуская синеватый табачный дым, он хвастался.

— Посмотри-ка, Сергей Палыч, на мою заморскую принцессу. Аль плоха?

Из наших против нее ни одна девка не вытянет.

Женщина жеманно отмахнулась.

— Ну, уж ты, батька, завсегда.

— Што завсегда? Тебя хвалят, а ты...

И встал.

— Сволочь. Необразованность.

Потом прикрикнул:

Подавай самовар. Нечего нежиться-то...

Зажгли маленькую коптилку. Зазвенели чашки.

Женщина собирала не спеша, стараясь придать столу опрятный и чистый вид.

— Ну, паничу, пожалуйста чай кушать.

В дверь заскреблась собака. Лесник впустил. Это была сука—изящный «арлетин»—поджарая, с умными глазами.

Матушка моя, озябла,—приласкал лесник застенчиво жавшуюся к ногам собаку.

Посмотрел на жену,

— Ты-бы, матка, хоть молочка дала ей...

Стукнули в окно. Лесник пошел на улицу.

Через минуту за ним шел плюгавый, приземистый мужчина, в короткой шубейке, с быстрыми движениями, словно испуганный.

Он снял шубейку, аккуратно повесил ее и помолился. Молился истово, не спеша

С толком.

Потом опустил на лавочку.

— Уж ты, товарищ Сажин, умоляюще посмотрел он на лесника,—не оставь: я у тебя заночую.

— Вали, не жалко.

„Баба“ пригласила гостя к столу.

Покорно вас благодарим.

И, принимая чашку, покосился на сахарницу. Умильно вздохнул—кротко, словно монашек.

— Благодать у вас: с сахарком кушаете.

А мы, почитай, с семнадцатого года с язычком попиваем. Н-да-с...

Лесник ухмыльнулся.

— Зато раньше в накладку пил.

— Да, было времечко—и в накладочку попивали, и ромцом пробавлялись.

Да не только сами—других угощали.

— Жалко, небось, старого-то?

— Жалко не жалко, а нынче тоже хорошего-то не много.

— Мало-ли хорошего: вона как „променажи“ делаешь.

— И не говори. В гроб, черти, загонят.

— А откуда вы идете об эку пору?—вмешалась женщина.

— Из села Серебрякова к себе домой, в город Чувиль. Думал засветло дойти, да распогодилось.

— По делам, значит?

— Да оно, как сказать: для большевиков, может, и дела, а для нас—мука—мученская.

У них, видите-ли, лошадей нет, а надо пакеты в волость, в военный комиссариат отправлять. Вот и наряжают нашего брата, буржуазию.

— И ходите?

— Хе-хе-хе... ходим-с. Не пойдешь—в казаматочку. А то и хуже: сартиры чистить заставят.

Он отпил из стакана и покачал головой.

— Суровые времена пришли, подлые времена.

Сергей растянулся на голбце. Приятное ощущение теплоты манило к дреме. Но было и другое: тихая грусть одиночества.

Она часто захватывала Сергея, заставляя вставать по ночам, вздуть лампу и садиться за книгу, а в ясные ночи уходить—далеко, без дороги в ночную даль, на огоньки голубых, низких звезд.

Сергей завидовал леснику, уюту его избушки, близкой и родной душе—чуткой душе женщины.

О, как было-бы хорошо, если-бы у него был свой уголок и такой-же близкий человек, которому можно было-бы рассказать грусть свою и свою радость и, пряча в колени голову, чувствовать счастье ласки, тепла и уюта.

Сергей закурил. Задумался. И тихо выговорил милое слово, слово-музыку:—
Валентина!

А за столом спорили.

— Ну, скажи, нешто справедливо это: раздеть человека, добро нажитое отнять, дерьмо вывозить из сартиров?

— А справедливо было гнилой ситец за четвертак продавать, справедливо намзелей в трактире коньяком поить, когда люди на войне дохли, как мужи?

— А скажи на милость...

Сергей не слушал. Он знал, что где-то там, за лесами, в заводских корпусах, в городских шумах мучительно родилось новое, знал, что роды эти слишком тяжелы и что сидящий за столом „буржуй“ жалок в несчастьи своем и излишне, глупо затаскан, но слушать не хотелось.

Сегодня все это казалось скучным и надоевшим.

Хорошо, что сегодня он не дома. Там тускло, холодно и особенно—одиноко.

Но там есть частица его жизни, драгоценное его сокровище.

— Там, на письменном столе, в уголке, прячась в томиках и тетрадках, стоит большая фотография, в дорогой, костяной, фиолетово-голубой рамке. На рамке—сухие цветы: розово-белые астры. Из за цветов смотрят два лица. Одно печально-радостное, с глубоким взглядом—Сергея, а другое, склоненное к нему, тонкое и худощавое, но прелестное, как у персидской княжны—Валентины.

И все. Больше ничего нет. Это память.

Сухие астры он хранит ревниво и нежно.

А фотография?—Если-бы он был религиозным, он приколот-бы ее на спинке своей кровати, вместо образа, вместо «радости всех скорбящих».

О Валентине вспоминал он редко. Но три года скитаний и уединения не могли вытравить дорогого облика: был он свеж, чист и незабываемо-прекрасен.

Взглядывая на жену лесника, Сергей чувствовал острую горечь утраты.

Жене лесника окол 20—23 лет. Валентина—ее ровесница. В лице—он в этом убеждался—очень большое сходство.

Любил он Валентину так, как любят только один раз—нераздельно от себя, мученически-остро и глубоко-родственно.

И любовь была похожа на зимнюю сказку, ибо началом ее был Сентябрь, а концом—началом любви духа—Апрель.

Жила она в большом доме, в мезонине, на одной из тихих улиц шумного города.

Комната ее была светлая, белая, напоминала о белых розах.

В памяти Сергея остался запах этой комнаты: чуть пряный, цветочный, чисто-женственный: так пахнет от девичьих рук и волос. Худенькая смуглянка, то гимназически-кокетливая и веселая, то печальная, словно синьора Лаура, она была очаровательна той непосредственной красотой молодости, доверчивости и хитрой наивности, которые покоряют соперного взгляда и первой встречи.

Умела искренне хохотать и искренне плакать. Сергея любила—и, кажется,—очень глубоко.

Осенью они уходили за город, часто блуждали целыми днями, возвращаясь домой с вечерним, глухим, музыкально-старинным звоном.

Вечера часто проводили в цирке. Ах, этот цирк!—Широкие ярусы, звездный свет газовых фонарей, бледное лицо акробата, быстрая наездница, звучный бич и волнующий, страстный окрик „оп“!

Зимой уезжали на лыжах, изредка—театр, но всего чаще, по вечерам, они блуждали в тихих улицах, по снежным тротуарам, под окнами уютных, с тюлевыми занавесками, домиков, под низкими, трепетными, как купальские огни, холодными звездами.

А еще чаще—целые ночи—сидели в ее комнате, в тихой белой светелке, с опрятной кроватью под теплым оленьим одеялом, голубенькими шторами и книжными полками.

Читали, спорили, смеялись: всегда было весело, ибо были они только вдвоем, а их осеняли незримые крылья вечной ворожеи в белом—любви.

Эти вечера были настоящим счастьем. Сергей узнал и полюбил самое имя—женщина.

И, полюбив, соединил в этом слове все людские слова, сделав его «началом начал».

А весной... весной Сергей оделся в зеленую гимнастерку, стал выглядеть мужчиной, мечтал, грешным делом, об аксельбантах.

И был в ту весну тихий, тихий день, с библейски-прекрасным солнечным светом, с ломким серебром чуть холодноватого, но необыкновенно-приятного воздуха.

И идя по саду, где над головами шумели липы,—о милые, старые липы!,—они, наверное, срублены на дрова,—Валентина и Сергей глотали этот воздух жадно и долго.

Потом сели на скамейку, у обрыва, над рекой—над синей далью перелесков, над которыми тянули птицы—весенние, счастливые птицы.

Валентина, взяв револьвер Сергея, вертела его в руках. И—это самое страшное—быстро приставив к своей груди,—выстрелила.

Почему?—не знал никто: ни Сергей—ее жених, ни ее мать, которая потом, над гробом, стояла немо и скорбно, как богиня печали.

После выстрела Валентина тихо сползла со скамейки на землю, склонив обессиленную головку в пышной, короне волос и разметав руки—мягкие и теплые, но податливые и безжизненные: если прикоснуться к ним губами, в их тепле будет чувствоваться холодок хрупкого льда.

Распахнув кофточку, Сергей увидел под ее правой грудью тоненькую стрелку крови: было похоже на змею Клеопатры.

Это запомнилось на всю жизнь. И при воспоминании, сейчас, в глуши, в тихой лесной избе, было так-же мучительно как и тогда.

Сергей подошел к окну. Сидевшие за столом уже не спорили: „буржуй“ торговал у лесника овцу.

— Отдай за две!

— Дешево, сударик: за две с четвертью.

— Выступи.

— Не можем, без запросу, значит.

От этого на душе было как-то тягуче.

А от того, что в углу сидела красивая женщина, похожая на ту, далекую, и что той, далекой, нет и никогда не будет,—было больно и хотелось плакать: тихо, по детски, всхлипывая.

И чувство одиночества стало мученически—острым. И это—четвертый год. Этого никто не видит и не увидит. Слишком глубоко скрыто в душе то, тайной-оберегаемое, что Сергей не открывает никому, что переживет один, что покроется когда-нибудь тихим налетом безболезненной грусти—тихо, как за окном земля покрывается белым, пушным снегом.

Сергей смотрел в темноту. И видел: по тихой улице, над синими ручьями, под теплым небом, по которому скользили тонкие, тающие облака, а под облаками реяли голуби,—плывет на руках пестрой толпы усыпанный цветами гроб. Он колышется, и кажется, что это не гроб, а узорчатая, легкая ладья:—так много цветов—свежих, благоуханных—трепетного венка из радужных волокон.

И когда, на кладбище, ладья исчезает под землей—в тихой, вечной пристани—опять не видно могильного холма: цветы, цветы и цветы. И над цветами—первая, робкая зелень берез—вечное, шелковое кружево.

И над березами—милое небо, и где-то, в поле,—тоненькая жалеяка жаворонка—вечная жизнь и красота.

Белые цветы осыпали гроб Валентины, белые астры вьются на костяной рамке дорой фотографии и какой-то белый цветок, хрупкий, как резеда, благоухает в сердце Сергея: это-воспоминание о Валентине,

Спать легли рано. Буржуй закутавшись своей шубейкой, свернулся на лавочке, лесник с женой на кровати, а Сергей—на голбце.

Засыпая, Сергей думал о том, что за окнами падает белый снег, что далеко где то гудит героическая жизнь, и что он, Сергей, незаметный сельский учитель, лежит здесь, в чужой избе и что своего угла у него нет и—вероятно—никогда не будет: у него не будет полного счастья—он не может жить полной жизнью, ибо часть ее взята, оторвана и полюбив снова женщину, он будет любить в ней только призрак Валентины и, склонясь к лицу ее, будет искать в чужих глазах—родного и—увы!—потухшего огня...

Было грустно. Хотелось жаловаться.

Кому?—Некому: надо, как и всегда, молчать.

Проснулся он перед рассветом.

Закурил: дым показался особенно-вкусным и успокаивающим. Вечерней грусти не было.

Чувствовалась свежесть. Подбадривала охота, день в лесу, пелена свежего, блещущего снега.

Невдалеке он видел лицо спящей женщины. В томном свете голубого предутрия оно было бледно и призрачно.

И, запрокинув за голову руки, Сергей думал думал о том, что был-бы он счастливейшим из смертных, если-бы, просыпаясь по утрам, мог чувствовать около себя благоуханное тепло женских рук, слышать ландышевый запах волос и, припадая к раскрытым губам—сухим, горячим, пахнутым нежно и терпко, как солнечный шиповник,—загораться той страстью, в которой больше всего ласковой и убаюкивающей нежности.

Может-быть, это и будет? Нет, это было, а прожитое не воскресает.

Он вышел на крыльцо. Ласкаясь, повизгивали собаки. Снег шел реже. Над лесом стояла величавая тишина. Мягкий, голубоватый блеск теплился еле-зримо и трепетно-грустно, словно неугасимая лампада.

Хотелось спать—и не столько спать, сколько дремать, чутко и тревожно—радостно, как всегда перед рассветом.

Утро загорелось белое, с туманным небом, с морозцем и тусклой далью. Напоминало почему-то лениво-плывущего лебедя.

Снег падал редко—редко, крупными звездными бутонами.

Особенно-мелодичным был гул самовара и особенно-вкусными румяные, поджаренные блины.

Буржуй еще на рассвете ушел в свой Чувиль, жена лесника хлопотала на дворе и в караулке было тихо. Топилась русская печь: морозные дрова пенились тонко и серебряно.

Табачный дым тянулся легким, трепещущим крылом.

На дворе к Сергею бросилась его собака, клубком завертелась около ног и, прыгнув на грудь, опахнула теплым, приятным запахом соломы, снега и заячьей шкуры.

Из хлева вышла жена лесника.

В руке у нее покачивался дойник: сладко пахло теплым, „парным“ молоком.

Поравнявшись с Сергеем, она остановилась.

— Паньчу уже уходит?

Сергей подал руку. Она—застенчиво и неумело—протянула свою. Грубовато пожав, быстро отдернула, конфузясь.

Вышедший на крыльцо лесник провожал Сергея ласково.

— Ты, Сергей Палыч, беспременно завори в „Озерки“. Тамой русачище, как теленок, водится.

Спустив собаку, Сергей пошел окрайками, по мелочам. Следа—он знал—еще не было, и зайцы жались по сечам, по мелким, плотным, запорошенным кустам.

В лесу расползлся бледный, туманный свет. В нем сквозил голубоватый отблеск.

Свежий снег был мягок и нежен.

Ветра, по вчерашнему, не было,—и особая тишина—уже зимняя, глухая, напоминавшая о покое, коротких днях и оранжевых закатах—заставляла любить лесную глушь тихой, умиротворяющей любовью.

Но страстно хотелось гона, волнения, удачного выстрела.

В одном месте собака звонко заголосила—милая музыка полилась в тишине стозвучно и певуче—заяц сразу пошел на утек, напрямиком и „пересечь“ его не удалось.

Покружив по чаще, Сергей выбрался снова в мелколесье, к овражкам, с серебряно-синими чашами можжевельника по краям, к вздрагивавшей осиновой поросли, где снег был особенно—мягким и ярким, напоминая о подвенечной фате, о белой чистоте далекой, неведомой невесты.

Пробирался он здесь осторожно, подолгу задерживаясь около каждого куста и каждую минуту готовый к выстрелу.

И все-же, когда белая куропатка шумно мелкнула в вершине осин, осыпая снежную пудру, Сергей разгорячился и „промазал“. Дальше побрел он все также хищно и осторожно, зорко всматриваясь в ласково-пылившую снежную пелену. Там, где осиновая поросль сменялась мелким сосняком—чистым трепетавшим под снегом тонко и робко, как шелковая вязь, Сергей быстро передернулся в сторону: невдалеке от него сорвались две куропатки: одна „свечей“ забрала вверх, а другая плеснулась к пройденной поросли, к тихим снежным вершинам.

Он ударил по второй: птица закувыркалась и упала—тихо, лениво, словно белая лилия.

Повернувшись, Сергей взбросил ружье вслед второй птице: куропатка на мгновение остановилась и спустилась невдалеке от Сергея, крутясь, с поднятыми кверху крыльями, напоминая серебряный лук.

Дуплет был одним из тех,—редкостных и красивых,—после которого в душе остается чувство своеобразной гордости когда папиросный дым особенно приятен, а лес кажется особенно—родным и дорогим.

Через несколько часов Сергей выбрался к полям, к низкому туманному небу, к чернеющим вдали деревням.

Вот она, настоящая, вековая Русь, северная печаль, глухие дороги, убогие прясла, тихие деревенские гумна.

Когда Сергей всматривался в эти пустынные дали—в голубоватый туман и голубоватый снег по родимым просторам, ему почему-то всегда вспоминался страждущий Христос—печальный человек, похожий на странника, с калиновым посошком, в лыковых лапотках, с глазами, в которых реял невечерний свет ласки, печали и всепрощения—„свете тихий“ мглистых полевых раздолий.

Над делянками ползли дымки, небо опускалось над полем, как холстяная риза, по далекой дороге трусила лошаденка—все та же Русь, как была и тогда, когда топтали ее бескровную грудь татарские полчища, и жены москалей, на страдном месте замученных, голосили горько и грустно—горько, как кукушка в зарослях утреннего бора.

И нельзя не любить эту глухую сторону, нельзя не скорбеть страдным ее путем, нельзя не радоваться девичьей ее радостью...

По дороге встретилась усадьба—тихие позабытые развалины.

В доме низком и темном, с балконами, где на перилах вились причудная оборка узоров—(тонкая работа крепостных)—немо смотрели пустые окна, без стекла, висли распахнутые двери, с вывернутыми ручками.

Это была „работа“ окрестных „братушек-мужичковре—ибо известно всякому—насколько хороша деревня издали, настолько дика и страшна в сердцевине своей.

В усадебных комнатах было пусто и неуютно: ободрали даже шпалер.

— О, где вы, где вы, живущие здесь?—Где ты, седенький старичек лобызающий, как нежный кипарис плащаницы, сафьян томиков Тургенева? О, где ты, — пусть зовут тебя Мэри—бледнолицая девушка, в кружевной бабушкиной шали, с томным взглядом тоскующих—о чем,—ты не знаешь,—синих глаз? Может-быть, там, в мезонинном окне?..

— Галлюцинации, сны, призраки...

Никого нет: жизнь опустошена. И, кто знает, может-быть, где-нибудь, в укромной комнате, с глубокими „волтерьянскими“ креслами, с камином, у которого над книгами—о, милые, милые книги,—просиживались долгие зимние ночи,—мужики забирали золотообрезные томики Гомера и Батюшкова—так себе, для курева, для цыгарок.

Кто знает?—Вероятно, это было... И если было—трудно за это судить...

Все пройдет. Тихой пеленой забвения, как поля снегом, поткроется все человеческое...

За усадьбой чернел наполовину вырубленный сад. В одном месте, в том уголке, где над ветхими скамейками склонялись, как абажур, старые, корявые яблони, Сергей вспугнул русака. Русак выскочил буйно, в серебряных звездах снежной пыли, метнулся в сторону дико и быстро. Получив два заряда мелкой дробы, он зашатался, но все же ушел, хотя на следу и вспыхивали мелкие, частые коралловые бусы.

Сергей „статакал“ собаку. Та погнала „на видок“, страстно без перерыва. Гон скоро умолк.

— Вероятно, схватила,—подумал Сергей. И направился по следам. След привел к деревне и, через гумно, к амбару. У амбара суетилась, повизгивая, собака. Было очевидно, что раненый заяц забрался под амбар.

Скоро появились несколько мужиков, в харпаях, подшитых валенках, одинаково здоровые, плотные, пахнущие горячим пирогом с капустой.

Передний подошел к Сергею.

— Охотничать, стало-быть, изволишь?

Из толпы откликнулись:—

— Неча им делать. Шатуны

А третий голос сердито добавил:—

— Мы разверстку плати, а оне удовольствие имеют.

— И выкрикнул злобно, по звериному:—

— С—сукины сыны.

Потом один смягчился.

— Де заяц-то?

— Вероятно, под амбаром,—ответил Сергей.

— Под амбаром, под амбаром,—передразнил мужик.

И гулко отворил дверь.

— Надобно доставать.

Он походил, озираясь вышел.

— Нет-ли топориска?

Топор нашелся. Вырубили половицу.

Через несколько минут вывернулся заяц.

Сергей, не торопясь, выстрелил: русак,—пушистый, с узорчатой, темно-серебряной полосой на спине,—ткнулся в снег.

— Ловко. От разу,—похвалил кто-то из мужиков.

Собака бросилась к убитому зайцу.

Но мужик—тот, что вырубил половицу, отмахнул ее ногой, и перекинув зайца за плечо, засмеялся.

— Знатная будет похлебка.

В толпе поддержали.

— Только на все общество.

— Ладно. Не обидим. На всех хватит.

Спорить было бесполезно. Сергей отошел.

Вслед смеялись.

— Больно ты заразен, Сергей Палыч: у тебя-ка лиса воночка за спиной болтается.

Поешь и ее.

Это был намек на переживаемую иногда Сергеем бесхлебицу.

В поле Сергея догнал знакомый парень, с русаком.

— Возьми, Сергей Палыч, ну их к чорту.

Уговорил. На зайце рады удавиться.

Снова начинал падать снег, пока лениво, мелкими хлопьями.

Тихая пелена голубоватого тумана колебалась ровно и ласково.

Через час показалось село, где жил Сергей.

На в'езде белела церковка. Склоняясь к избушкам, она осеняла их бледно-золотым крестом. В сторонке жалась „земская“ школа. Там, в классах, вероятно, топят печи, пышет рдяное, как чаша цветущего мака, пламя, а в комнате Сергея, в уголке на коврике, жметя пегий пойнтиер, чутко вздрагивая в сторожкем сне, смотрят с полок книги, а на столе, повитый бледно-розовыми астрами, прячется дорогой портрет: худенькое, но прелестное, как у персидской княжны, лицо Валентины.

Под окнами вьется дорога.

Если итти по ней, она поведет зеленовато-голубыми сумерками бора.

Но за бором, через день пути, будет город. В городе большие белые дома, жуткий, костлявый тиф, в домах—стук пишущих машинок и серые, призрачные лица похожих на тени людей, мечтающих о полусаженке дров и куске ситного.

А за городам, на краю, в коронованных, напоминающих о Ливане, кедрах и белых, как венчальные свечи березах,—тихое старое кладбище.

На кладбище, неподалеку от церкви,—простенькая урна, крест и на кресте—то-же прелестное личико персидской княжны, что и в комнате Сергея.

Ниже, под крестом, холм. На холме—сухие цветы. Под ветром они шелесят пугливо, протяжно, словно долгий—долгий вздох.

Но сейчас ветра нет. Сейчас над землей немо стелется тишина.

И в тишине падает снег-свежий, белый, с голубым отблеском.

Опускаясь на могилу, бабочкой скользя по мрамору урны, вспыхивая серебряным огнем в сухих цветах, он шумит—тихо-тихо, музыкально, как далекий рог—шумом белого сна, умиротворенной музыкой тихого, вечного покоя...

Ник. Смирнов.

МАТЕРИНСТВО.

I.

Дурочка собирает подаяние. Запахнув сизого своего младенца в расползающиеся полы рваного пальтишка, она переходит из избы в избы и везде картаво рассказывает любопытным бабам историю своего грехопадения.

История заключается в следующем. Однажды дурочка собирала милостыню на соседней станции. Увидев дурочку, стрелочник Федор заманил ее на свою «фатеру» и там обольстил ее.—«Ну, Нюрка, сказывай, кто ты теперь: девка али баба?» спросил Федор, слезая с кровати. «Я не жнаю»,—отвечала дурочка.

Это место рассказа всегда вызывает искренний смех слушателей.

— Картина!—Прищелкнув языком и пальцами и насмешливо свистнув, подмигивает бабам острым глазом хозяин избы Михайло. Прямо непостижимо, как он успевает проделать зараз столь многое.

— Так и сказала: не знаю?—поджимает живот Марья, жена Михайлы.

— Так и шкажара,—кротко улыбается Нюрочка наивными незабудками глаз.

Ей хорошо. На улице такая стужа, босые ноги так леденит осенняя застывшая земля и кроме того страшно за младенчика: застудишь. Он, ведь, слабенький, даже не плачет, только попискивает. Зато в избе так тепло от знойной печи, из которой Марья только-что вынула душистые поджаристые хлебы.

— Так матрац-то, говоришь, на пружинах?—хитро подмигивает Нюрочке Михайло. Он похож на большого ленивого кота, играющего с мышью: так вкрадчиво легки его движения, так остры насмешливые глаза.

— Да, смущенно шепчет дурочка.

— То-то он, чай, скрипел!

И Михайло иронически свистит.

— Отстань, охайник, застенчиво хихикает Нюрочка, пряча наивные свои незабудки.

— И верно, охальник,—вмешивается Марья:—Брось ты ее, Миша! Ах Нюрка, Нюрка! Мысленное ли это дело, чтобы девушка пошла на фатеру к холостому кобелю?

— Не жнара,—вздыхает Нюрочка.

— Не знала? Верно, верно... Неопытность, вот беда наша,—вздыхает и Марья в знак сочувствия. Голос у нее какой-то нутряной, резкий, скрипучий. Так скрипит неподмазанный воз, так лягушки урчат весенними вечерами в болотине. Сама она темнолицая, большая, с обвислым животом и грудью.

— Это все зависит от натуры,—ввязывается в разговор забежавшая в «в поседки» дьячиха Федосья Петровна:—Это, Марья Николаевна, у кого какая натура. У меня была знакомая барышня—учительница. Хорошая барышня, образованная, красивая. И представьте—вся ее образованность зря пропала. Поучила она, поучила, гулять с мужчинами начала, да замуж и вышла. И хоть бы вышла-то за хорошего, за учителя какого-нибудь или за священника, а то выбрала крестьянского парня. И парень-то самый не мудрящий, завалященький. «Не могу,—говорит,—Федосья Петровна, совладать с собой. Как какой мужчина до меня дотронется, так я вся и таю. И тогда делай со мной, что хочешь. Натура, значит, такая.

Нюрочка расстегивает кофту, вынимает небольшую свою грудь, совсем еще девическую, и дает ребенку.

Михайло хищно, как кот на мясо, взглядывает на дурочку. Марья замечает взгляд мужа. В ней пробуждается ревность.

— Миша, тянет она своим нутряным голосом,—ты-бы пошел, затопил баню, чем в бабы разговоры вступать... А то опять до ночи наведется...

— Молчать! Не учить! Знаю! Озорует Михайло, страшно скрипнув на жену белыми зубами. В эту минуту он похож на какого-то гибкого и сильного зверя. Но Марья знает, что зверь давно приручен и укрощен,—и не боится. Она—укротительница—посылает зверю спокойный, многозначительный взгляд—и усмиренный зверь послушно поднимается с лавки, рассерженно хлопает дверью и выходит из избы.

— Куда-же теперь денешь ребеночка-то? Рази в приют отдашь,—спрашивает дьячиха.

Нет, Нюрочка не отдаст в приют «свою малютку». Ведь, это—ее плоть и кровь. И притом ребеночек такой хорошенький, вылитая мать: и глазки, и носик, и ротик—все у него, как у Нюрочки, а Нюрочка считает себя красавицей.

Бабы не возражают ей, хотя о красоте ребенка и матери можно-бы поспорить: этот нос, похожий на растоптанный башмак, этот большой рот, расплывшийся в блаженной улыбке, делают лицо Нюрочки жалким и глуповатым.

— Свивальнички-то есть-ли у тебя? И пеленок нет? Известно, отколе им у тебя быть. На-ко, прими Христа-ради...

И Марья подает пораженной щедрым даром нищенке ворох тряпья.

Что за дуца! Правда, Марьян дом—не бедный дом. Вон рядом с самоваром светится граммофонная труба, по которой смело ползают тараканы, а на окнах паутинятся кружевные подзоринки и зеленеет герань. Но, ведь, теперь всякий аршин мануфактуры так дорог. Подавленная добротой бабы, Нюрочка несмело шепчет слова благодарности.

Но, должно-быть, Марья твердо решила благодетельствовать нищенке до конца. Когда Нюрочка брется за скобу двери, чтобы идти домой, Марья говорит:—Нюрка, а ты погоди. Поешь, дура. А потом в баню сходишь. Сама попаришься и ребеночка помоешь...

II.

Из бани Нюрочка, вся дымясь и кутая младенчика в пальтишко, торопливо идет домой.

Живет она за селом в будке у мордовки Пелагеи и платит ей за квартиру милостыней, которую дают на селе.

Холодно. Утром, наверно, ударит заморозок, круто посолит траву и застеклит льдом дорожные колеи. Бледно-синее небо, такое чистое и целомудренное, раскинулось над померкшими равнинами.

Осень ограбила поля, опустошила огороды и отняла у придорожной березы золото листьев. И береза, нищая и убогая, протянула на дорогу руки ветвей, как за подаванием. И только два-три листика—две-три заржавленных копейки—жалко позвенивают от ветра на оголенных сучках.

Сеются с неба сумерки.

Нюрочка полна ощущением чистоты. На душе у нее так мирно и ясно.

Завтра она наденет рыжие свои башмаки, которые носит только по праздникам, нарядится в ситцевое с цветами платье и, кокетливо виляя задом, как это делают деревенские модницы, пойдет к обедне. Воображая себя расфранченной и красивой, а на самом деле убогая и растерзанная, дурочка войдет в церковь и встанет рядом с разряженными впух и впрах девками. Она понесет младенчика к причастью, а потом приютится пред изображением Богоматери, которая держит на руках маленького Иисуса. И тогда ей вспомнятся трогательные слова молитвы: «яко Спаса родила еси душ наших». И Нюрочка будет молиться этими словами за себя, распутную и несчастную, за своего ребеночка и «за вся христианы...»

Впереди на дороге вырастает черная тень. От неожиданности дурочка вздрагивает. Но, приглядевшись, успокаивается: ведь, это-же Михайло.

— Домой идешь?—ласково мурлычет мужик, загородив Нюрочке дорогу:— А я тебе, Аненка, загадку загаду, слушай: «девушка тоненькая, дырочка маленькая, пятеро держат, пятеро пегают, да двое надзирают».

— Отштаны, охайник.

— Ничего охайного тут нет,—мурлычет Михайло, хищно поблескивая острыми глазами:—Отгадать очень просто: иголка. Сама она тоненькая, дырочка у нее маленькая, пять пальцев ее держат, да пять пегают, а два глаза надзирают.

Дурочка молчит. Молчит холодное поле. Молчит кроткое небо, роняя за гребень леса хвостатые звезды.

— Аненк, ремонтчики тебе на брюшке нарисовали, как петух курицу топчет. Покажи, а?

— Пушти... Я в бане шмыра,—рвется из железных рук Нюрочка, но мужик крепко держит ее и непременно хочет посмотреть на рисунок.

— Я погляжу, смыла-ли. Положь ребенка-то на землю.

— Наштудишь,—жалобно говорит дурочка.

— Не настудишь. Мы скоро.—весь воспаленный и опьяневший от близости молодого тела бормочет он и валит ее на придорожную траву, заиндевелую, колючую.

— Ой, не трогай,—молит Нюрочка,—грех: жавтра—праздник...

— Молчать! Не разговаривать! Яро хрипит и страшно скрывает зубами Михайло.

Жесткие руки бесстыдно блуждают по ее телу. Колючий рот раздвигает ее слабые мягкие губы.

III.

В будке тесно, грязно.

Хворый огонек ночника борется с потемками.

Нюрочка бросает на лавку свою нищенскую суму и устало садится.

— Много-ли хлеба насбирал?—спрашивает мордовка, подняв на дурочку скуластое свое лицо с косо расставленными глазами.

Нюрочка дрожит. Озябла. А младенчик совсем голубой стал. Не умер-бы!

— А я здесь поезда встречал, белье стирал, дрова колот,—рассказывает Пелагея:—Кузьма с водокачки приходила, ландрин приносила, тебя спрашивала. Люби Кузьму, Аненка, каждый день с ландрином чай пить будем...

— Шпать хочу,—лепечет дурочка,—ожабла...

Ей не до разговоров. Исчезло праздничное настроение. Она чувствует себя падшей грешницей, грязной, развратной и униженной. Как завтра нести дитя к причастью? Она долго дышет на младенчика, стараясь согреть его посиневшее личико, потом кладет его в зыбку и покрывает ворохом всякого тряпья.

Спит Нюрочка тревожно и беспокойно.

Ей кажется, что на нее навалился черный кот. Он сверкает зелеными фонарями глаз и говорит: «Покажь брюшко, покажь!» Подходит Марья и замахивается на кота:—«Брысь, проклятый!» Кот грузно спрыгивает на пол замаявав, бросается в трубу граммофона и рассыпается синими искрами. Марья, жалостливо смотрит на Нюрочку. На руках у нее младенчик. И снится дурочке, что эта повязанная пестрым платочком баба с жалостливым лицом уже не Марья, а Богородица. В ней нет ничего особенного: ни сияния вокруг лица, ни серебряной с цветами ризы, как на иконах, но Нюрочка чувствует, что это сама Богоматерь с маленьким Иисусом на руках. Богоматерь грустно глядит на Нюрочку, прямо в сердце смотрит она, и дурочка в восторге шепчет трогательные слова: «яко Спаса родила еси душ наших». И младенчик Иисус плачет на руках матери. О чем плачет он? Нюрочка знает, что это о ней плачет младенец и о всех просящих, как она, под чужими окнами «христовой милостыни.» Как горько плачет младенец!

Дурочка просыпается.

Пасмурный рассвет сочится в окно будки.

В зыбке хрипит горячий и красный, как медь, младенчик. Он не плачет, а только с сипом ловит воздух беспомощными губками. Прозрачные пузырьки выскакивают и лопаются на краях искаженного страданиями рта.

— Тетка Пелагея,—зовет Нюрочка.

Мордовка спускает босые ноги с раздрыганной кровати и мутно смотрит на дурочку раскосыми своими глазами.

— Чего тебе?—говорит она сквозь судороги позевоты.

— Тетка Пелегая... Малютка помирает...

Пелагея берет ковшик, зачерпывает им воды и ставит его на стол.

Это старый, старый обычай! Когда в деревне умирает человек, то возле него всегда ставят ковшик с водой, чтобы душа, вылетая из тела, омылась и предстала перед Богом чистой и непорочной.

Дурочка неутешно плачет. А в бедной разумом голове неотступно стоят слова молитвы: «яко Спаса родила еси душ наших...»

— Анютка, не плачь,—говорит мордовка,—не плачь, другого родишь. Люби Кузьму, тогда родишь... И чай пить с ландрином каждый день будем. Кузьма—она добрая. Люби Кузьму, Анютка!..

Дм. Семеновский.



В Е Р Б А.*)

Николай Васильевич Громов был одним из самых видных лекторов в городе. Обладая сильным красивым и гибким голосом, открытым типично-русским лицом, хорошей мимикой, умея во время сделать выразительный жест, он говорил ярко, вдохновенно, вызывая меткими сравнениями неподдельный восторг слушателей.

На рабочих он производил громадное впечатление и они любили его слушать; большой зрительный зал театра бывал всегда переполнен и не вмещал всех желающих, когда шла его лекция.

Все это Николай Васильевич знал и отчасти гордился этим, хотя в беседе с друзьями вел себя попрежнему скромно, уверяя, что он читает ничуть не лучше, чем Козлов или Кириллов; просто ему удастся выбрать интересные темы.

К лекции он готовился всегда очень тщательно. Много читал, составлял конспекты, опять читал и делал выписки, которые просматривал перед началом лекций и во время перерывов.

Завтра, в 7 часов вечера должна быть его лекция о Втором и Третьем Интернационалах. Он должен будет показать все ошибки умерших союзов, должен еще раз объяснить громадное значение III Интернационала и незаметно перейти к текущему моменту.

Последняя часть лекции наиболее важна; в ней он должен будет показать необходимость последних мероприятий центра, должен говорить о больном продовольственном вопросе, должен рассказать об истинном положении вещей, вспыхнуть непоколебимой верой энтузиаста и придать этим энергии и духа слушателям, действительно голодающим и несчастным людям.

Он должен быть, как вересаевский Адеиль, принесший в родной город звезду.

Как Адеиль, он должен крикнуть слушателям:—К вам, смелым сердцем, к вам, сильным, взываю! Ведь это последние усилия, а там будет свет на земле, не будет войн, не будет зла, не будет голода и лишений...

*) Николай Иванович Кузнецов, студент Иваново-Вознесенского Политехнического Института, скончался летом 1921 г. от туберкулеза легких, начавшегося от огнестрельной раны в левую полость груди при его попытке к самоубийству в 1918 г. Судя по его первым литературным работам, широко печатавшимся в газетах: „Рабочий Город“, „Рабочий Край“ и отчасти в журналах: „Солнце России“, „Будильник“, „Пересмешник“ и его первой книжке „Мимо Жизни“, изданной в 1918 г., можно ожидать, что из него выработается незаурядный беллетрист.

Но смерть подкосила его в самом расцвете сил, 25 лет от роду.

Николай Васильевич устало опустил голову, подпер ее похолодевшими ладонями и задумался, глядя на электрическую лампочку, участливо склонившуюся над столом, заваленным книгами и рукописями... Свет из под абажура почти не проникал и в комнате было темно.

— Завтра лекция—лениво думал Николай Васильевич.

— Что-то скажу?

В голове не было ни одной смелой и новой мысли, которая могла бы мгновенно убедить слушателей в том, о чем он только что думал. Слова, приходившие в память, казались скучными, неубедительными и ненужными...

— Что-же сказать им?

Николай Васильевич снова начал глядеть на спокойную лампочку и чувствовал, как где-то в глубине, в самом сердце поднимается острая щемящая тоска, до того резкая, что он испытывал физическую боль...

— Как это надоело, как надоело... Интернационал, революция, интеллигенция, опять Интернационал...

Всем, кажется все это давно известно, знакомо, как пять пальцев, а говорить надо... Есть темные, есть совершенно неграмотные, есть наивные, как дети, не слышавшие обо всем этом ни слова... Говорить надо, а в сердце такая тоска, такая усталость и скука..

— Надо полагать переутомился,—подумал Громов и улыбнулся чуть заметно.

Ему вспомнилось кое-что: недели две или три тому назад он был в гостях у одного из своих знакомых, тоже партийного работника и лектора. За чаем разговорились.

— А знаете—неожиданно сказал хозяин—вчера я посчитал, во скольких комитетах, советах, секциях и фракциях я состою. Как вы думаете? В четырнадцати местах! Вот тут и работай! Или готовь интересную и хорошую лекцию!..

— В четырнадцати?!—удивленно протянул Громов.

— Тогда во скольких-же местах состою я?

Посчитали. Оказалось, что в семнадцати различных организациях.

Николай Васильевич улыбнулся еще раз.

— Действительно, заработался—добавил он тихо вслух, точно оспаривая кого-то.

— Недельку-бы отдохнуть и можно снова работать... Однако, к делу, завтра лекция. III Интернационал и т. д.—рассмеялся Николай Васильевич сухим и беззвучным смехом.

Книги раскрыты, бумага соблазнительно белеет, карандаш хорошо отточен, только читай, пиши, работай! Но мозг упрямо не воспринимал ни одной строчки, ни одного слова и точно бездействовал.

Николай Васильевич решил прогуляться, успокоиться от нарастающего раздражения и потом уже работать.

Забрав с собою несколько папирос и спички, он нахлобучил по обыкновению шляпу почти на самые глаза, пальто застегнул только на две пуговицы и вышел на улицу.

Был теплый весенний вечер. С крыш лило, журчали ручейки, под ногами всхлипывал сырой зернистый побуревший снег. На мостовых и тротуарах блестяли большие лужи...

Воздух пахнул чем-то таким знакомым, знакомым по весеннему свежо и и неуловимо.

Туч нет, небо чистое, а воздух теплый и по лужам не тянутся острые иглы... Где то за домами поднималась луна красивая, круглая. Черное бездонно-глубокое небо тихо беззвучно трепетало весенними звездами, уже не колючими, как в январе, а мягкими и немного расплывчатыми... Весна, весна!..

Николай Васильевич бесцельно брел по улицам и весь отдался ощущениям внешнего мира.

Как никогда, ярко воспринимало зрение все, что ни попадалось на пути, как никогда слух был тонок и улавливал все, даже легкие и далекие звуки...

Где-то, должно быть на вокзале, аукнул паровоз, донеслось чуть слышное шипение и звон буферов... Потом загудели в разных концах города колокола.

Николай Васильевич проходил мимо одного храма.

Сегодня Вербная суббота, окна храма ярко освещены и из-за ограды слабо доносилось пение...

Николай Васильевич остановился нерешительно и посмотрел на ворота храма.

— Разве зайти, от нечего делать? Давно не был, с самого студенчества.

Идти ему было некуда, возвращаться домой рано и он зашел.

В душу весенним потоком хлынули смутные воспоминания далекой юности... Как все это знакомо и как много со всем этим связано! Позолота иконостасов, темные суровые лики икон, запах ладана, воска и еще чего-то такого, чем пахнут ризы и мягкая эпитрахиль священника, огоньки бесчисленных свеч, синеватый тающий дым от кадила, сосредоточенные лица молящихся—о как все это знакомо и как далеко ушло назад!

Певчих не было. Пели сами прихожане одним громадным дружным хором. Раньше этого не было, это было для Громова ново...

Когда вокруг себя видишь поющих людей, то и самому хочется петь. Николай Васильевич откашлянулся и хотел запеть, но смутился и снова закашлялся. Он не знал ни одного слова. Желание петь однако осталось и он начал вполголоса тянуть один мотив без слов. Стоявший рядом старик удивленно взглянул на него, укоризненно мотнул головой и начал широко и часто креститься.

Между молящимися проталкивался торопливо какой-то гимназист, поминутно взглядывая с тревогой на левую сторону.

Там Николай Васильевич увидел девушку, также торопливо пробирающуюся к выходу.

Он улыбнулся и решил выйти.

После яркого света от сотен свеч, на улице казалось темно, как в погребе. Только звезды на небе и отражения в лужах горели еще ярче и приветливее.

— Леля! Вы где!—услышал он голос гимназиста, пристально взглядывавшегося в темноту через пламя свечи, которая горела у него в ладони согнутой лодочкой.

— Здесь! Ай, в лужу!

Громов видел, как гимназист взял девушку под руку, близко наклонился к ее лицу, освещенному снизу и странному от теней, что-то сказал тихо и она засмеялась.

— Люблю!—чутко уловил Николай Васильевич.

— Услышат... Не надо... Прохожие—и чуть ударив веткой вербы по лицу гимназиста, девушка уже громче и со смехом добавила.

— Верба хлест, бьет до слез...

Так и есть...

Воспоминания, воспоминания пролетевшей юности, как вы ярки и безудержны. Ну, точно вчера это было...

Громов—гимназист седьмого класса... Он очень серьезен, он много читает, Чернышевский, Добролюбов, Михайловский, Степняк-Кравчинский и даже Бакунин. Он состоит в партии с.-д. Ему доверяют иногда прочитать прокламации, дежурить на улице во время конспиративного собрания, он выслеживает опасных людей... А рядом любовь. Он любит Веру—умную, хорошую гимназисточку Веру... Она знает все его тайны и сама революционерка в душе...

Была такая-же Вербная суббота, так-же светила затуманившаяся задумчиво луна, и так-же звездочки нащупывали длинными лучами в лужах льдинки, чтобы упереться лучом и передвинуться дальше.

По желанию Веры зашли в церковь... Теснота, огни, целый лес веток с беленькими, пушистыми шариками. А потом снова на улице... Она смеясь ударила его по лицу веткой и сказала.

— Верба хлест, бьет до слез!.. А он поймал ее руку и поцеловал. И также она зашептала:

— Что вы! Разве можно?! Прохожие...—И снова веточкой ударила... Два года прошло, как один день... Он уже не гимназист, а студент историко-филологического факультета, а она на медицинских курсах. Оба давным давно в партии, науки заброшены. И опять Вербная суббота... Оба они „неверующие“ зашли в храм и, он помнит, оба молились. Она часто крестилась и он слышал, как вздохнула она.

— Господи...

И он не смеялся над этим. А на улице она ударила его веткой вербы:

— Верба хлест, бьет до слез!..

Ну, а потом—ссылка, она куда-то исчезла и вот он один, совершенно без радости личного счастья.

— Завтра его лекция. Он будет говорить, всматриваться в лица и говорить, говорить.

Многих слушателей он знает. Вот перед ним белобрысый, с густыми белыми бровями, с длинными лучистыми белыми-же ресницами парень, рабочий с ситцевой фабрики. Он всегда внимательно так слушает, такой восторг вызывает в нем каждое слово, что Громов не сомневается, что когда нужно будет этот парень первый пойдет в бой. А вот старик, тоже рабочий. Этот слушает с какой-то затаенной мыслью, часто вставляет „правда!“ „Это верно!“ а после непременно спросит зло:

— Все это так... А вот по сколько муки то вы даете?

И странная вещь: многие еще несколько минут тому назад восторженно хлопавшие ему, теперь сочувствуют этому старику и зло смеются по адресу лектора... Как понять?..

Или бывает так: он говорит, слушатели, зачарованные огнем его вдохновения, согласны со всем, аплодируют и лица радостно сияют у всех. Но пройдет минут десять, он уйдет уже, говорит какой-нибудь анархист или беспартийный и такие-же восторги.

Пойми!..

Такая неудовлетворительность и злобная тоска охватила Громова, что он почти побежал к дому.

— К чему все это?.. Мне надоели все эти азбучные истины, зачем-же я буду говорить о них, раз не хочу? Неужели даже этого мне нельзя позволить себе?.. Не хочу, не хочу!..

Громов старался найти истинную причину этого настроения и боялся признаться себе, что ею является мелькнувшие, а теперь вновь вернувшиеся и завладевшие им воспоминания своих лучших дней, полных личной жизнью, счастьем и надеждами. Перед глазами стоял какой-то смутный, общий женский образ, который почему-то казался ему образом Веры, лицо которой он уже забыл.

Чтобы отделаться от этого беспокойного настроения, он придя домой, сразу, не читая, лег спать.

Громадный зрительный зал был залит светом и гулом голосов. По полу стучали грубые рабочие сапоги, гремели передвигаемые стулья, кто-то кашлял, кашель разрастался, многие громко сморкались, громко разговаривали и с нетерпением ждали начала лекции.

Громов вышел на сцену. Несколько секунд он был ошеломлен потоками света от рампы и из зрительного зала, несколько секунд ждал, когда затихнет шум и начал.

— Товарищи!..

Речь сначала вялая, слова тихие и не то, что нужно, голос никак не установится — сзади кричат: погромче..

Но прошла минута, другая, третья и слова заискрились, нарастал знакомый ораторский подъем и сила, жесты стали свободнее и глаза различают каждого слушателя.

— Товарищи!..

И голос мягко тонул под потолком затихнувшей залы.

Николай Васильевич перевернул страницу конспекта и сделал паузу, чтобы взглянуть в тетрадь.

В глаза метнулась знакомая фраза и он, не сознавая ничего, точно сквозь туман, громко произнес:

— Верба хлест, бьет до слез!

Сказал и опомнился. Взглянул еще раз мельком в тетрадь — этой знакомой фразы уже не было. Точно смыло ее... Взглянул в зрительный зал и лицо его залилось краской стыда. Слушатели, многие из них, внимательно глядели на него, чуть улыбались и ждали следующих слов, которые от первой фразы зазмеились-бы злой шуткой, которые так часто бросал Громов. Слушателям эта фраза не казалась нелепой, потому, что сравнения и образы Громова бывали всегда неожиданны, слушатели ждали, когда эта фраза одухотворится смехом меткого сравнения.

А Николай Васильевич стоял и молчал, как зачарованный. Яркий, белый свет слепил глаза и запутывал бьющуюся мысль все больше.

— Как поправиться? Как использовать вылетевшие и совсем ненужные слова, как скрыть то, что они вылетели ненароком?..

Но он ничего не мог придумать. Фраза стояла особняком и не допускала к себе ни одного наскоро подобранного слова.

Николай Васильевич устало провел рукой по волосам, отпил из стакана немного воды и беспомощно оглянулся вокруг.

Многие зашущукались, многие наклонились немного вперед и еще внимательнее начали смотреть на него.

Распорядитель догадался дать звонок и объявить перерыв.

Николая Васильевича под руки увели в комнату за кулисы и дали холодной воды.

— Не знаю... Голова что-то разболелась, безучастно отвечал он и чувствовал, как улетели появившиеся вчера образы и воспоминания, быть может навсегда.

Осталась какая-то пустота. Грудь казалась ему большой, большой клеткой из которой только что вылетела большая белая птица.

.....

Комитет партии решил освободить Николая Васильевича на все лето и от служебных и партийных обязанностей и уже говорят, что Николай Васильевич поправляется и снова читает и делает выписки...

Н. Кузнецов.

○○○○○○○○

Кармановские ткачи.

Широко распахнулись чугунные ворота большой Кармановской мануфактуры. Ворота были тяжелые, едва под силу двум сторожам и фабричному городовому, который из угодливости к хозяину, также около них хлопотал, суетился. На этой фабрике было все тяжело, начиная от чугунных скрипучих ворот и кончая главным хозяином, с его скрипучим, жестким фальцетом.

Несмотря на то, что было уже около 10-ти часов вечера, вторая „смена“ на фабрике подходила к концу, а старший брат, Петр Кармановский, только что кончил работу, и кутаясь в шубу, отправлялся домой, за что его семья и прислуга страшно недолюбливали,—он этим задерживал ужин.

Работал он на фабрике изо-дня в день, с утра до вечера, отдыхая только за обедом, в то время, когда одна смена сменяла другую, да за вечерним чаем, вместе с конторой, остальное же время у него уходило на какие то, никому неведомые арифметические вычисления, выкладки, которыми он ни с кем ни делился, хранил их в своей конторке и по мере накопления увозил домой.

Хотя у него и был отдельный кабинет, но контора его присутствием страшно тяготилась несмотря даже на то, что большинство конторщиков у него служило по несколько десятков лет. Состав конторы был настоящего служилого элемента, многолетнего искусного отбора.

Но тяжелее всего для служащих было то, что хозяин часто мешал им работать, он не любил, не давал им по долгу засиживаться на местах и они от времени до времени, по очереди должны были прогуливаться по корпусам, наводить порядок и давать на вопрос хозяина: „а, что новенького“, более угодливый ответ. А Петр Кармановский был человек подозрительный и эта подозрительность, обязывала служащих говорить ту правду, которая была не в пользу рабочих, в силу чего на фабрике между служащими и рабочими был самый отчаянный антогонизм.

Даже хозяин, младший брат, Федор Кармановский, такого режима конторы не выносил и ему с большим трудом пришлось отвоевать особое положение, завести другую контору, домовую, где он и занимался, мало касаясь фабрики.

И только бухгалтер Коромыслов мог этот режим называть настоящей службой, в нем было столько рабьей угодливости, что когда его, за действительно умелое ведение и знание всего Кармановского дела, называли вторым хозяином, он это считал для себя оскорблением, а человека, высказавшего это, своим заклятым врагом.

Так вот был каков Петр Кармановский, только что оставивший фабрику. Не успев от'ехать от сторожки несколько шагов, он остановил кучера и резким, скрипучим фальцетом, громко закричал сторожам:—Вы что не смотрите у ворот? Кто у вас тут шляется?..

Сторожа и городской выбежали на крик хозяина и у ворот встретили переданного им хозяином молодого человека, прятавшегося от холода в летнюю фуражку и в драповое пальтишко, который, обступившим его сторожам и городскому заявил, что пришел встретить своего знакомого. И молодой человек, вызвавший у хозяина подозрение, сторожами был оставлен в покое.

А там, в корпусах, станки дотыкали свою многочасовую песню-работу, ткачи ее дослушивали, гнали последние минуты работы, надоедая тем, у кого имелись часы, спрашивая их:—А много ли осталось доходить «золотого»?

В проходах между станками было крайне тесно, сидений в корпусе не предполагалось, и работающие за станками мало походили на людей, они были скорее похожи также на части работающих машин, вторыми челноками, но более изношенными, стоящими на том шуточном учете, что кармановских ткачей «идет семь человек на пуд.»

Чем ближе смена подходила к концу, тем нервнее и как то угловатее становилось движение ткачей, только работницы-девушки были немного поживее, они, собираясь домой, прихорашивались, поглядывали на себя в маленькие карманные зеркальца, старые ткачихи глядя на них, вспоминали свою молодость, когда за ними ухаживали сами хозяева, а ткачи вынимали засаленные ситцевые кисеты с табаком, вертели на дорожку «крючки», закладывали их за ухо, и все спешили, торопились. А куда?

Большинство их ждала тесная и грязная квартира, «вместе с хозяевами», где в комнате 7×8 аршин ютилось человек по 15-20, где приходилось спать на печи, на лавках на полу, семейным и молодым вместе, в повалку; где их на квартирах ждали кислые, так называемые, купоросные щи, кислый квас и кислый черный хлеб, выпекавшийся кислым из за выгоды.

Но перед тем, как выйти из корпусов, все ткачи должны были быть на время учтены, как воры, обысканные в корпусах, как говорили, «на черно» мужчинами, а женщины женщинами и в сторожке «на бело» поголовно все одними сторожами мужчинами.

Просвистел фабричный гудок, ткачи прошли двойной строй обыска хозяев, табельщиков и сторожей, вылились на улицу и потекли в разные стороны черными говорящими лентами.

Они в течение всей смены были больше молчальниками, и радовались, когда фабричный шум, не дававший им во время работы говорить, наконец то умолкал, на улице им и легче дышалось, и легче говорилось. А говорили они всегда на одном языке, на языке своих неудачных работ. Они жаловались на плохие основы пряжи, на разбитые, изработавшиеся станки, на штрафы за пятиминутные и десятиминутные опоздания.

Один из потоков этой человеческой речи-жалобы, где он был говорливее и многолюднее других, был остановлен тем молодым человеком, который у фабричной сторожки явился предметом обследования фабричных сторожей.

Говорливую волну рабочих он остановил словами:

— Господа! Минуту, внимания! Приглашаю вас на Рождественский базар, на последние дни дешевой распродажи готового платья в магазин «Де-Париж».. Все изящно, модно и элегантно!.. Преис-курант можете получить.

И ткачи в драку полезли к нему за рекламами из магазина.

Листовка реклама попала и в руки молодого ткача Крайнова, хотя он ее и не особенно добивался: человек он был книжный, книгу любил, начинал в ней разбираться по настоящему, и листовка-реклама его соблазняла мало.

Крайнов снимал „боковушу“, один из тех маленьких приделков, в которых, по обыкновению, из за многих удобств, ютились девушки-работницы, за что и Крайнова многие его товарищи по фабрике называли „красной-девушкой“.

Крайнова в „боковуше“ ждала маленькая семилинейная лампочка, неразрезанная, только что им приобретенная, листовка-книжечка, издания „Посредника“.

Когда Крайнов пришел домой, он наскоро поужинал, и хотел было стереть со стола, принесенной им рекламой Рождественского базара, но ему и этого печатного слова, из любви к нему, стало жалко. И он, из простого любопытства, решил рекламу прочесть. Но прочтя первую строку, он остановился, задумался и начал по своему ящику-каморке ходить какой то новой необыкновенной раскачивающейся походкой и без конца улыбаться.

Его охватила какая то трепетная сладостная жуть. Он посмотрел заперта ли дверь, не смотрит ли кто в окошко. Окно было занавешено, дверь — на крючке.

Крайнов в своей душе почувствовал какой-то сдвиг. Наконец то в руки ему попало то, чего он так давно добивался, искал и не находя этого считал себя одиноким, обиженным.

В руках его была не базарная реклама, а настоящая прокламация, которая так искусно была ему вручена близ его фабрики.

Он чисто, чисто, но только уже тряпкой вытер стол, сел за него и с какой то особенной благоговейностью начал читать прокламацию.

На тех словах прокламации, где говорилось, что освобождение рабочих есть дело самих рабочих, он остановился, задумался, и вспомнил, что что-то похожее на эту мысль, его занимало и раньше.

И в этом он видел главное, что должно связывать рабочих. А конец прокламации был для него совсем неожиданным откровением, до этого мысль его еще не доходила. В конце прокламации говорилось, что рабочие в своей борьбе за улучшение своей жизни ничего не теряют, разве могут потерять только свои цепи, в тоже время завоевать целый мир.

После этих слов Крайнову захотелось какой то новой жизни, что он должен жить не так, как живет, а по иному.

Влюбленный в свою комнатку, с ее книгами, за то, что в ней ему никто не мешал, он вдруг почувствовал, что стены ее необычайно тесны, а когда он хотел было свою семилинейную лампочку сделать более светлой, вывернуть побольше фитиля, она вместо света начала только больше коптить. Ему захотелось побыть на народе, поделиться своими думами, открыть свою душу.

Он вышел на улицу; перед ним лежали две дороги: одна в свой рабочий — клуб, в гостиницу „Дания“, к месту прибежища и отдыха кармановских ткачей, и другая к Моте.

Мотя работала с ним на одной фабрике и в одной смене. Она ему, после книг, была существом более близким, чем все остальное.

То, что было прочитано им, прочитано было и ею. Им также была знакома и та книга жизни, которая называется любовью. Они жили и той сменой, которая сменяет дружбу и переходит в глубокую сердечную привязанность.

Когда Крайнов подошел к квартире (Моти, она ютилась также в „боковуше“), сквозь замерзшее окно расслышал голоса ее подруг. Мотя была не одна и он войти к ней не решился, к тому же боялся и того как бы своим возбужденным видом среди ее подруг не вызвать подозрения, нежелательных кривотолков.

Оставалось идти в «Данию».

* * *

Хозяин „Дании“ был человек совсем безграмотный и свою гостинницу назвал Данией не потому, что он знал, что где то есть такая страна, а только потому, что когда начинал свое дело с простой вывеской „Трактир“, кармановским ткачам давал много в долг денег на игру, практиковавшуюся в его биллиардной. И вот от слова то „давать“ и произошло название его гостинницы.

Жизнь гостинницы, куда направлялся Крайнов, казалось, шла своим обычным порядком. Обязательный ее вечерний посетитель, жандармский вахмистр Кроликов, весьма крупная неуклюжая фигура, сделанная, как говорили, колуном сидел на своем постоянном месте.

К Кроликову в гостиннице все так давно привыкли, что никогда никто из постоянных посетителей его стола не занимал, и не из какой нибудь боязни, а больше всего потому, что он страшно всем надоедал своими разговорами.

Кармановским ткачам он постоянно указывал на то, как они готовятся к забастовке, и что он об этом знает и что делают это они напрасно: у них из этого ничего не выйдет. А если им нужна какая нибудь помощь, то пусть бы они обратились за ней к его барину, он все для них сделает.

Кроликов их также уговаривал, несвязываться с „серыми чертями“. А серыми чертями он называл обыкновенную полицию. И каждый раз в конце разговора он впадал в поддельный меланхолический тон, начинал изливаться в том, что он по происхождению крестьянин, что земля для него—святое дело, он и рад бы бросить службу, уехать в деревню, да долг не позволяет, а выслужиться здесь трудно... А почему? Да потому, что проезда высочайших особ здесь никогда не бывает.

Его и сегодня позывало на изливание, но он, как говорится, сидел на сухую, один никого своими разговорами не донимал. Но с приходом ткачей вечерней смены он начал вглядываться в гостей „Дании“ по настоящему, деловому, внюхиваться в ее воздух.

Набитый глаз, натасканное чутье его никогда не покидало. Он и сегодня, видя, что для будничного дня кармановских ткачей в гостиннице больше обыкновенного, но они почему то не особенно разговорчивы, и большинство из них беседуют шопотком. А когда один из гостей подошел к буфетчику и что то ему сунул, Кроликов насторожился, а потом поднялся с места, и задевая своей громоздкой фигурой стулья, направился к буфетчику.

Буфетчик его встретил подобострастно, но по приятельски:

— Анисиму Ивановичу, наше почтение! И в тоже время кивнул головой на дверь своей комнаты-конторы, говоря:—Пойдем ко, Иваныч!.. Выпьем по „лампадочке“.

Визит Кроликова к буфетчику и гостей заставил быть на стороже. Те, которые, пришли в гостинницу с прокламациями, начали быстро расплачиваться и потянулись к выходу. В это время поднимался в гостинницу и Крайнов. Но тут же он от некоторых своих товарищей узнал в чем дело и войти в гостинницу не решился.

— Не задержался и Кроликов у буфетчика, где он, конечно выпил, а закусь пришлось прокламацией, переданной ему под большим секретом буфетчиком.

Прокламацию Кроликов, как говорится, действительно не прочитал, а проглотил. И тут же решил отправиться к ротмистру.

Кроликов по дороге к ротмистру тут и там натыкался на кучки не расходившихся ткачей и это его беспокоило, так как район кармановских ткачей обслуживал он, И он же еще так недавно доносил своему начальству, что в его районе все обстоит благополучно. И вдруг... прокламации.

Встреча с ротмистром ему не улыбалась, а тут еще—угощение буфетчика; Облизываясь и заедая запах водки снегом, он потеряв всю военную выправку, все больше и больше усиливал свой шаг, выбирая до квартиры ротмистра более близкую дорогу.

* * *

Жандармский ротмистр Охлобыстин сидел в своем рабочем кабинете и наполнял его своим довольством и тем административным спокойствием, которым пользуются чаще всего люди честолюбивых замыслов, карьеристы мечтатели. Если он чем и был сегодня недоволен, то это только своими черными усами, которые ему в зеркале почему то показались черезчур кукольными, похожими на усы дешевых базарных кукол. А общее его довольство являлось совокупностью того, что он, за последнее время проделал ряд видных работ.

Он только что „ликвидировал“ одну рабочую организацию, покончил с ее руководителем, рабочим Кончаевым, запутав это дело так, что одного предварительного заключения для членов этой организации хватит не на один год. И это, как он рассчитывал, будет довольно внушительной угрозой тем, кто бы вздумая эту организацию возродить снова.

Попутно с этим он еще работал и над докладной запиской, хотел через нее выдвинуться. Записка эта говорила о том, что виновниками рабочих забастовок, участвовавших за последнее время, являются не только рабочие, но и сами хозяева.

Вся эта его работа была, ничто иное, как самое обыкновенное, провинциальное, канцелярское творчество. Это было контр-циркулярное размышление о тех вопросах, разрешением которых занимался сам центр, посылая по этому поводу на места всевозможные циркуляры. А циркуляры эти никак не укладывались в рамки той обновляющейся жизни, которая начинала делиться на два противоположных русла. С одной стороны была жестокая, ничем ни прикрытая, эксплуатация рабочих и самая отчаянная конкуренция между ее вдохновителями, а с другой—рабочие массы, теряющие всякую меру и способность спокойно и безропотно переносить все тяготы и нужды своего беспросветного бытия. Кабак и фабричная инспекция рабочих защищали плохо.

Записка эта ротмистром, куда следует, уже была послана и успехи ее он предвкушал в виде повышения, ордена и Новый год ждал с новыми радостями.

На рождественские праздники он ждал и детей, двух маленьких кадетов. Мать с ними жила в Петербурге, давно покинув ротмистра, но детей, она не бросала и всячески старалась их уберечь от отцовского влияния.

Ротмистр же, несмотря на свой почтенный возраст, несмотря на свое, не всегда удобное положение в обществе, успех среди женщин имел и разрывом с женой не тяготился.

И как не странно, чему все удивлялись, с ним на всех общественных собраниях за последнее время стала появляться одна из гимназисток выпускного класса, Зоя Полищук, большой портрет которой у него красовался на письменном столе, среди других атрибутов жандармского обихода. Приготовленный для Зои шоколад лежал рядом с браунингом и несколькими обоймами патронов. И тут же, рядом с Браунингом и шоколадом, лежала книга „Ценность жизни“ Дюринга.

Эту книгу ротмистр приготовил для одного из вновь вербуемых им секретных сотрудников—рабочего Трутнева.

Рабочий Трутнев больше ходил к ротмистру за книгами, а работал мало. Он успел перечитать почти всю библиотеку у ротмистра, но это ротмистра только раздражало.

Трутнев, читал больше всего философию, но никак не мог осилить Спинозу и Канта. Охлобыстин же никак не мог осилить Трутнева, превратить его в настоящую жандармскую ищейку. В осведомители же он его привлек таким путем. Трутнев был арестован и только за то, что он вечно таскался по общественным и частным библиотекам.

И когда он вместо социалиста оказался только одиночкой-культурником, у Охлобыстина явилась мысль использовать, его как человека, среди рабочих весьма популярного, но это ему никак не удавалось.

Тогда Охлобыстин придумал такую вещь, он попросил Трутнева на фабрике, где он работал в качестве рассыльного конторы, добыть некоторые цифры прихода и расхода этой фирмы и некоторые счета, так как все это, согласно закона, считается коммерческой тайной и только может быть узвано в суде. Цифровые данные Охлобыстину, как он заявлял, крайне нужны и якобы в интересах рабочих.

Задание это Трутневу не казалось чем то особенно позорным и он, чтобы отвязаться от Охлобыстина, дело это устроил, а Охлобыстин ему предложил деньги.

Началась новая история, на этот раз из-за денег, один отнекивался их брать, а другой настаивал на оплате труда. Но Трутнев не сдавался. Тогда Охлобыстиным была пущена в ход угроза, что он Трутнева пошлет служить с той же целью на другую фабрику, а поступление через ротмистра на другую фабрику все равно его положение будет выдавать, как человека двойной службы. Трутнев этой угрозе уступил, деньги взял, но от денежных подачек в дальнейшем каждый раз отказывался. И вот это то Охлобыстина всегда и раздражало,

Сегодня он Трутневым был особенно недоволен все из-за тех же денег. Даже отказал ему в Дюринге.

И когда ротмистр с мозолившей ему глаза книги перенес свое внимание на портрет Зои, он подумал:—И эта не такая ли?..

Потом почему то ему захотелось хорошенько вспомнить, какие у Зои глаза. И, находя ее очень хорошенькой, он начал искать в себе более лучшие человеческие чувства, чем те, которые он прикрывал и красивой фальшью и ложной влюбленностью.

В это время из дежурной комнаты, где сидел дежурный жандарм, и клеил елочные украшения, послышался громкий, но заметно сдерживаемый, кашель.

Ротмистр крикнул:—„Что там за гавканье! Нельзя ли как—поаккуратнее!.

Ротмистр может быть и дальше продолжал бы свое начальническое внушение подчиненному, но тут же вслед за кашлем дежурного жандарма прозвенел с парадного входа электрический звонок.

Ротмистр от звонка привскочил и глазами остановился на браунинге. Но тут же, мысленно обругав себя трусом, взялся за спички, засветил свечку и в сопровождении дежурного сам отправился отворять двери, думая, что приехали его дети.

В коридоре на окрик ротмистра:—Кто там!—с улицы послышалось:—Я, ваше высокородие! вахмистр Кроликов!..

Когда они все трое очутились в дежурной комнате, то ротмистр сначала почему то с ног до головы осмотрел Кроликова, а потом спросил:—Откуда?..

— Имею честь донести вашему высокородию, что в районе кармановской фабрики каким то неизвестным, под видом реклам „Рождественского базара“, вечерней смене ткачей этой фабрики были розданы прокламации.

— Хорош! очень хорош!.. прямо таки великолепен!.. У тебя и в районе, кажется, все благополучно!..—сказал: ротмистр.

Кроликов от этих слов как то сплющился, словно вокруг его талии сделалась трещина.

А ротмистр, вклинив большие пальцы в виски, нервно заходил по комнате, а потом, как бы спохватившись, деловито, стараясь скрыть свое волнение, дал Кроликову распоряжение, собрать сейчас же, немедленно, всю свою бригаду. Так он любил называть свой небольшой коллектив жандармерии.

Когда ротмистр, проводив Кроликова, вошел в свой кабинет, то Дюринг, шоколад, портрет Зои, браунинг и обоймы, своим смешанным стилем обстановки, его еще больше взвинтили, ему все это показалось и нелепым и малозначущим. И когда он сел за письменный стол и хотел в чем то разобраться, рука его, в которой очутился карандаш, на клочке бумаги как то невольно вывела слово „Революция“, которое он два раза подчеркнул и потом около него, как виньетку, начал набрасывать пейзаж барской усадьбы.

Ротмистр рисовал недурно.

* * *

На другой день, утром, после раздачи прокламаций, в кармановской сторожке, ее завсегдатаи, не мало были удивлены тому, что приходящие ткачи на смену то и дело у них спрашивали о каких-то вчерашних „рекламках“.

А когда завсегдатаи сторожки: кривой татарин Илья, старик Кончаев и городской Даилов, узнали, что эти „рекламки“ были прокламации, они никогда не ладившие между собой, долго друг с другом только переглядывались, думая, конечно о том, как бы вину того, что они вчера не сумели у сторожки задержать, переданного им хозяином молодого человека, свалить друг на друга.

Каждый божий день жизнь этой сторожки, когда на дворе становилось светло, начиналась с того: татарин Илья и Кончаев садились играть в шашки Даилов тому и другому начинал подсказывать „ходы“ и это вызывало между ними постоянную ежедневную ругань.

В область этой ругани они всегда примешивали религиозные и политические вопросы.

Даилов во время ругани религию магометан называл „маханной“, а татарин Илья религию христиан называл „свинячей“. И дальше этого кухонного знания религий они никогда не шли.

Кончаев и Даилов были отчаянные монархисты, старавшиеся каждый день друг друга поймать на чем нибудь непатриотичном.

Даилов, главным образом, выезжал на том, что Кончаев носит позорную фамилию однофамильца Кончаева, сделавшегося за последнее время известным своим крамольными выступлениями.

Кончаев с этим соглашался, считал себя побежденным, и уже решил лично отправиться к царю, просить его о перемене фамилии.

События с „рекламками“ это решение Кончаева усугубили и он, после некоторых раздумий, признался Даилкову, что сегодня берет расчет и завтра же отправляется в Питер и не по железной дороге, а непременно пешком.

В это столь важное событие сторожки они хотели вовлечь и Илью, хотели и его заинтересовать.

Илья, всегда аполитичный, сегодня же с особой азиатской ехидностью, улыбаясь одним глазом, на это им только и сказал:

— У Ильи один глаз, а у вас четыре глаз, вы видите больше, больше знает, Илья вам совет не дает!..

Даилов только что хотел придаться к этим словам Ильи, но остановился.

В это время на ступеньки крыльца сторожки грузно поднялся всехмистр Кроликов и, обивая снег с сапог, громко прозвенел своими шпорами.

Кончаев и Даилов, услыша звон шпор, встали.

Кроликов всякий раз, когда проходил через сторожку, со всеми здоровался за руку, но на этот раз он сделал только под козырек и быстро нырнул во двор фабрики.

Завсегдатаи сторожки его проводили молчаливо и долго, после такого невнимания начальства, не могли разговориться.

Когда Кроликов вступил в фабричный двор, то ему давно знакомый четырехэтажный корпус на этот раз показался еще выше, шум его еще громче, а из окон казалось, на него смотрят вчерашние читатели „Рождественского базара“, одни громко улюлюкают, а другие кричат: Мы здесь и без вас обойдемся... Ваши маленькие заботы о власти больших стали запаздывать и жизнь вас за это скоро жестоко оштрафует.

А сама действительность, как в большом корпусе, так и в других подсобных корпусах, была совсем не похожа на жизнь обычных дней; думы и помыслы рабочих о «Рождественском базаре» били в их мозгах ключом. Они вечно обманутые, полуголодные и запуганные начинали ясно сознавать то, что кто то и о них стал заботиться, стал входить в их отчаянное положение.

Те же, кто старался поработить, выслужиться перед старшими, чтобы не оказаться на стороне рабочих, усилили свои обычные приемы нажима.

Табельщик, против обыкновения, написал больше поздних приходов, браковщик миткаля придирался к самым маленьким недостаткам выработки и усиленно штрафовал.

Кантора, во главе с бухгалтером, была на ногах.

Мужская уборная, она же курилка, на дверях которой с утра кем то была приклеена вчерашняя прокламация, кишмя кишела курящими. Табельщик не упевал их разгонять. И он всякий раз, послюнив палец, старался стереть с двери последние следы этой прокламации.

Но больше всех, этим происшедшим был доволен Краинов, он едва сдерживал себя, порываясь, с кемнибудь об этом поделиться более серьезно. И в этом случае, когда виновники всего будут схвачены, у него созрела мысль их дело продолжать.

Крайнов, еще утром, когда собирался на фабрику, на тот случай, когда ему почему либо не удастся встретиться с Мотей, решил написать ей записку, высказаться и поделиться тем, с чем он толкался вчера у ее окна и что продолжало его волновать и сегодня.

Внутренний распорядок Кармановской фабрики строго-на-строго воспрещал рабочим всякое передвижение из отделения в отделение, из этажа в этаж.

И когда Крайнову нужно было передать записку Моте, он передал ее одному из таскальщиков початок, которому переход из этажа в этаж не воспрещался. Таскальщик эту записку взялся вручить.

* * *

Бухгалтер Коромыслов, как человек спокойный и уравновешанный, свой обычный профессиональный навык делать выкладки и расчеты, пустил в ход и в этом деле; он спокойно, не волнуясь, мобилизовал все свои силы, всю свою административную челядь, заставив ее следить за тем, как бы прокламации среди рабочих не приняли широкого массового распространения.

Результаты этой работы скоро сказались. В руках у Коромылова оказалось несколько прокламаций, в том числе была и перехваченная записка Крайнова.

Результатами этими Коромыслов был очень доволен, но он особенно был обеспокоен тем, что когда о всем происходящем на фабрике сообщил по телефону хозяину, тот ему почти ничего не ответил и сам на фабрику не приехал. Это Петр Кармановский допускал только в редких исключительных случаях.

Петра Кармановского сообщение по телефону застало в тот момент, когда он в написанные своей рукой конверты вкладывал новые радужные, для отсылки их на праздник начальству. Делал он это всегда очень конспиративно, посылая пакеты с одним из преданных ему людей, старым лакеем, с которым в торжественных случаях посылал также приглашения и на свадьбы и на поминальные обеды. Этот преданный человек у него постоянно не служил, а приглашал он его только на праздники. С отсылкой этих денег у Кармановского начинались предпраздничные дни. И вот они нарушаются. На фабрике беспокойно. Он начинает искать виновника и видит его там, где ждут праздничных пакетов.

С этой мыслью он решил поехать в домовую контору, поделиться с братом, а на фабрику он не поехал потому, что предпраздничный визит на когонибудь из начальства был бы ему неприятен; объясняется он с ними не любил.

Отсутствие на фабрике хозяина было заметно всей конторе, но особенно этим беспокоился Коромыслов, боясь как бы с ожидаемым им начальством не пришлось объясняться ему одному. Он не знал, как держаться, чтобы угодить хозяину и в этом деле, был весьма обрадован тем, когда услышал в конторе звон шпор и грузные шаги вошедшего одного Кроликова.

Визит последнего в конторе ограничился только тем, что он у расчетного конторщика спросил „Алфавитик“,—список рабочих и служащих фабрики—и сделав из него какие то выборки, осведомился, можно ли войти в кабинет бухгалтера, что Коромыслов услышал и поспешно сам отворил двери.

В кабинете бухгалтера их беседа началась с того, что бухгалтер вахмистру вручил несколько прокламаций, вместе с которыми была и записка Крайнова.

После этого они долго, друг друга убеждая, беседовали о том, что ни какое вмешательство со стороны смутьянов в дела фабрики не может быть терпимо, что фабрика это их семейное дело. А когда, что и нужно будет сделать для рабочих, то у них для этого найдутся свои средства, что хозяину иногда можно и немножко прибавить, а начальству не мешать этим прибавкам: ведь это не баловство рабочих, а скорее необходимая помощь, особенно семейным. А за смутьянами надо поглядывать!..

Последние слова принадлежали Кроликову, который выдержав большую паузу и, значительно улыбаясь, спросил Коромыслова:

— А вам содержание записки Крайнова конечно, знакомо?..—И, не дожидаясь записку и прокламации бережно уложил в портфель, брякнул шпорами и отчеканил:—Не смею больше задерживать!—Направился к выходу.

Кроликов с фабрики уходил довольным, его военная выправка снова принимала более твердые и устойчивые формы, ему казалось, что записка Крайнова ему дает возможность раскрыть новую рабочую организацию и что он в глазах ротмистра будет снова деловым человеком.

* * *

У Крайнова и Моти в самый день Рождественского сочельника были произведены обыски. Ни у того ни у другого ничего подозрительного не найдено, но Крайнов все-таки был арестован.

Поводом к его обыску и аресту послужила записка Моте, в которой нашлись „подозрительные“ слова „я стал совсем другим, хотелось бы видеть и тебя такой же“.

Когда Крайнова вели в арестный дом, шумными, торговыми, предпраздничными улицами, то он ни чуть не жалел того, что его на такой веселый праздник лишают свободы. Он был слишком молод и свеж, ни какими страхами еще не был надломлен и из тех немногих книг, которые у него имелись, он успел почерпнуть полные пригоршни той силы и веры в лучшее будущее, которые и в дни лишения заставляют человека гордо нести свою голову. А когда он в пути „своего следования“ увидел магазин „Де-Париж“, он широко улыбнулся и пойманный на этой улыбке, сопровождавшем его жандармом, был неоднократно в дороге опрошен о том, что ему, наверно известен тот молодой человек, который под видом реклам „Рождественского базара“ у кармановской фабрики раздавал прокламации.

Именно, он нам-то и нужен, а вас господин Крайнов конечно, мы скоро отпустим, держать вас долго не будем.

Крайнов молчал, он был полон забот об участи Моти, его беспокоила мысль: что с ней?..

Ав. Ноздрин.

...○○○○○○...

Пережитое.

(Из дневника солдата).

Первые дни.

—...Чем вам наскучил север печальный?
Что потянуло на юг золотой?..

Около окна вагона прошла стыдливо красивая девушка. Не знаю она ли сказала эти слова, или ветер откуда донес.

Был июль золотистый, солнечный. По всем дорогам с печального севера на юг золотой шли нагруженные людьми поезда. К большим станциям выходили жители, вematривались в лица проезжих и, когда поезд, неторопливо лязгая буферами, отходил—махали платками, словно видели в лице нас своих дорогих знакомых. На маленьких станциях и полустанках два три человека снимали фуражки, махали ими и кричали нам вслед пожелания.

Поезд дрожал. Тянулся южный чернозем, местами снятая и не убранный гречиха, бахчи, кукуруза и подсолнух. Белые глинобитные хатки тонули в голубом мареве лета, тонкой дымчатой кисеей обволакивающим и поля и голубые перелески и застывшие ветреные мельницы. Синева неба сливалась с перелесками в летнем дыму, какой бывает от далеких пожаров; туда вдаль бежали звонкие белые рельсы...

Мы ехали из Петрограда. В вагонах было накурено и пахло навозом перевозимого скота. На разостланных досках сидели и лежали призванные из запаса. Куда? в какую армию? где и долго-ли будем стоять—еще не знали. Одно было известно, что едем на германскую границу.

Мы ехали. Однообразно стучали колеса вагонов, лязгали буфера. И во всем чудился неведомо чей стих:

Чем вам наскучил север печальный,
Что потянуло на юг золотой?

Чем южнее ехали, тем чаще попадались на станциях проходившие с подвязанными руками, побывавшие в боях, солдаты и вмиг около них собирались любопытные.

Голубое южное небо было настолько слепительно сине, настолько красочна и разнообразна природа, настолько аккуратны и слепительно белы малороссийские хатки, скрывающиеся за фруктовыми садами, с таким безмятежным уютом тонули они в зелени, что не верилось в то, что идет кровопролитие, бой пушек, стоны раненых, а думалось едем мы на большие и веселые маневры...

С утра в вагонах звенела гармоника, пели песни волжские, понизовые, про степную вольницу, про атамана и княжну, иногда вспоминали Петроград с его холодной красотой... А когда поезд подходил к станциям,—женщины и девушки снова махали нам белыми платками. Уплывали вдаль города, шумные, кипучие, с знакомыми и родными и все дальше бежал поезд в голубой простор неизвестных полей.

Во всем чудилась неведомо кем брошенная фраза:

...Чем вам наскучил север печальный,
Что потянуло на юг золотой?..

Справа бухнуло орудие. С того берега, из-за мелкого кустарника р. Пилицы, грохнул ответный неприятельский выстрел. Зачастил пулемет, укрытый в порослях, и посеялся крупный свинцовый дождь. Из окопов было видно, как сзади нас пули поднимали столбики дыма,—пыль от удара в пашню.

— Бум! бум! грохотали орудия.

— Ззззи!—свистели перелетные пули.

Мы понемногу привыкли к ним. Первые дни заградывался страх, сменившийся безразличием, будто это не ты ходишь около окопов, а кто-то другой, такой еще мало понятный тебе.

Целый день длился бой. Вокруг рвались пушечные ядра, воронкой взрывая пашню с влажным черноземом. Иногда пули ложились и в окопы и тогда крик раненого пересиливал грохот орудий.

— Охо—хо... сильно жарят,—говорит сосед Нилов, доставая кисет,—давай, брат закурим. Ишь ты плюют и плюют без роздыха.

Но едва он подполз ко мне, рикошетная пуля ударила его в живот и он, выронив кисет, стал цепляться руками за глину и извиваться.

С нами находился доброволец, мальчик лет 14, Петя; он ползал в окопе, перебегал от одного к другому, то табаку принесет, то патронов доставит, то фляжку с водой. Он взял патроны Нилова и передал соседу. Нилов был в беспамятстве крепко сжал зубы и изредка вздрагивал. Рядом с ним валялся кисет и разсыпанные лоскутки бумаги.

Через минуту от неприятельского выстрела загорелся сарай с сеном, летали над окопами искры и целые шапки горящего сена.

К вечеру бой начал стихать. На смену нам пришел пластунский батальон, а нас оттянули назад на отдых. Выйдя из линии огня, мы построились в колонны и замаринировали в Ново-Място.

Ново-Място городок какне сплошь и рядом попадаются в царстве польском. Низенькие деревянные и полугаменные домики под черепичными крышами на неправильных кривых улицах зияли дырами в окнах; стекла полопались от гула орудийных выстрелов. Кое где попадались разрушенные дома, с провалами на крышах, в стенах зияли дыры, пробитые ядрами, в которые можно было пройти не сгибаясь. Одна из колонн костела была разбита на половине и в ограду обрушилась целая гора щебня и извести.

Справа догорал румяный закат, слева в низине вилась серебряная лента—река Пилица, с ее небольшими зелеными островками, а за сизой поволокой вечерних сумерек стоял лес, откуда все еще продолжали временами раздаваться отдаленные выстрелы неприятеля. Чуткой дремотой подернут закат, лес и тихое серебро реки и не верилось в то, что мы—две живые стены людей,—с упорством избивали друг друга.

Ночь выдалась теплая. Сквозь легкие, будто небрежно брошенные облака, виднелись, звезды. Запылали костры, на которых в котелках варились консервы. Все говорили о самом обыкновенном, будто и не было того, что пережито и отчего болела душа. Да

и что говорить? Не все ли видели одно и то же? Или, может быть, все молчали потому, что измучились, едва передвигали ноги и хотели поскорей уснуть вот в этом же сарае, около которого варили консервы.

Но вот все легли. Я долго не спал и все прислушивался к живым шорохам летнего вечера. В предместьях города все еще слышался шум; за Пилицей редко редко ударяли орудия. Рядом со мной у потухающего костра сидел татарин Зарим и вполголоса тянул, глядя на огонь, однообразную татарскую мелодию:—«кирдиль—бирдиль—ярдиль—биль»... Но мне слышались в этом неведомо чьи, схваченные на лету, стихи:

Чем вам наскучил север печальный.

Что потянуло на юг золотой..?

В зареве войны.

Другой раз станет так грустно, такая тебя охватит жажда жизни, ничего не жалко: все бы отдал, на десять лет в батраки ушел бы, если бы кто согласился сидеть за тебя вот в этой пахнущей землей траншее.словно в раскрытой могиле,—сидишь и ждешь—вот, вот из тебя сделают тесто.

Говорят, человек идет без всякого страха в атаку, как на самую обыкновенную работу, не верьте.

Война—не праздник, стычка не—радость, бой—не танцевальный вечер. куда можно идти без страха.

В каждом человеке заложен инстинкт самоохранения и вот он то, этот инстинкт, жажда жизни, особенно силен здесь, где тебя каждую минуту подстерегает невидимый, летящий кусочек железа.

Слов нет,—сживаешься понемногу, даже забываешь временами опасность, но потом снова схватит она тебя за душу, так сожмет, и не рад свету, ничему не рад.

...Так она и идет жизнь. То на гору взлетишь, то под гору. Только редко на гору взлетаешь мыслями, все больше гнетет твою мысль, вот эта пахнущая могилкой траншея, от которой через минуту, может быть, останется неправильная развороченная яма...

А героизм—бред. Любой герой переносит все эти же сомнения, тоску, рвется из мрака, из этого вот из земельного мрака, на ряду с тобой проклинает день рожденья. Да. И только уж потом, когда перестрадает, перегорит душой, когда увидит, что все, чем жил раньше, уже не вернется и все равно так или иначе тебя убьют, не сейчас—через полчаса, не через полчаса—завтра, хватит этак шашкой об землю—эх, была—не была!—на все решится... Как бы отпоет себя раньше, простится сам с собой... Да. Вот так то вот решится на все, да и пойдет: либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

И часто бывает—остается жить. Сделает какое нибудь дело, особенное такое, необыкновенное,—и жив.

А тут, которые рядом сидели, из земли не вылезали,—убывают и убывают: либо убьют, либо ранят.

Никогда не забыть ту ночь. Темень—и не рассказать—какая. А тут еще ветер, дождь...

Уж и не знаю—не то наши немца сбили, не то он нас. Только пошла перегруппировка, один полк туда, другой сюда, третий не то вперед, не то назад—не поймешь. А выстрелы нет-нет и грохнут, ударят и разорвутся где то в темном, как стена, воздухе.

Пошли мы. Я держался за двуколку, но после нескольких ухабов на липком, как ржаное тесто, проселке должен был отойти в сторону.

Мигали где-то впереди огоньки, словно кто шел с папиросками; покажется и потухнет другой такой огонек. И должно быть по этим огням крыла во всю германская артиллерия.

— Кто едет?—спрашивают в полголоса.

— Тпру... стой... что надо?

— Куда это вас несет?—говорит во тьме чужой голос:—В плен, что ли, захотели?..

Вот чертовщина. Мы поворачиваем снова по той дороге, по которой только что ехали. Здесь уже тихо, солдаты прошли дальше, или залегли на поле.

Я держусь рядом с товарищем Гвоздевым. Двуколка ляскает по грязи где-то впереди. Ноги наши, измученные дневными переходами, едва справляются с липким тестом. И к физическому устатку примешивается желание уснуть: уснуть где-нибудь, вот хоть здесь же, на этом размешанном ногами липком проселке.

— Которые теперь дома,—начал Гвоздев, но не кончил, а только протянул—э-эх!..

Вот и наша двуколка где-то стихла впереди. Мы окончательно сблизись с дороги. Прошли еще с полчаса, стало понемножку сереть. Белый и сырой туман цепляется за перелесок, к которому мы незаметно добрались, тянулся по дугу, и в этом тумане было страшно тихо, так тихо, как не бывает на войне.

Мы уже готовы были лечь у первого дерева, как вдруг отчетливо и ясно рядом с нами раздался стон.

Огляделись. Тут же, у этого же дерева, только с другой стороны лежал австриец и глядел на нас широкими воспаленными глазами.

Он был ранен в живот, кишки выпали из живота, лежали здесь же на траве, часть их повисла на кустарнике.

— Рус, помосте, рус помосте!—расслышали мы его слова.

Но чем мы могли ему помочь? Мы сами промокли от тумана, с удовольствием бы легли и заснули хоть навсегда, только бы не видеть этого белого тумана, в котором со сторон доносятся стоны.

Мы подошли ближе. Видим офицер поднялся на локоть, вправляет кишки в живот: вправят, а оне, как пружинные, снова выпирают и ползут на траву.

— Рус, помосте...

У Гвоздева в кармане нашелся бинт. Мы начали забинтовывать его. Но что вы сделаете одним бинтом, который всего на всего около двух саженей длиной? Гвоздев поддерживает, я бинтую. Ничего не выходит: выпирают кишки, не держится бинт.

Мы знали—помрет человек—не сейчас,—через час, через два, от перитонита. Но как сказать ему, как пройти мимо?

Мы разворачивали бинт, укрепляли его вокруг груди, пропускали вдоль живота, оборачивали вокруг ноги и снова вели кверху к первому бинту, который охватывал грудь, чтобы таким продольным наложением бинта вправить внутрь выпавшие кишки. Бились мы, бились,—Повязка все сваливается.

А он, словно в полубабытьи, говорил полурусским говором о Чехии, о жене, о том, как яблоня цвела давно-давно...

Мы ушли, оставив его умирать одного, в темноте, без людей. И за нами стояла его мольба:

— Рус, помосте, рус помосте!..

— Надо вернуться,—говорит Гвоздев,—что ему мучиться? все равно умрет.

— Брось, не надо.

Мы вернулись. Говорили ему, что сейчас приведем санитаров, линейку они его перевяжут, доставят в госпиталь, он будет жить...

Не знаю—поверил ли он, но успокоился.

И мы ушли. Мы знали, что это обман, что санитаров и не найти, и если бы нашли, спутались бы на обратном пути в этом белом тумане. Один в темноте без людей он остался жить несколько часов, чтобы умереть.

А мы блуждали до рассвета, пока не натолкнулись на секрет из соседней дивизии.

И вот, когда бывают темные ночи и тихо кругом, словно и не война здесь, мне вспоминается та ночь, и раненый чех, грустивший о доме, о том, как цвели яблони...— Я вижу гримасу войны, огненный звон, кучи разбросанных тел, которые по своему жили, по своему мыслили, по своему любили жизнь и верили в нее,—и сердце сжимается в тихом предчувствии и хочется биться головой об эти сырые стены окопов...

Из окна землянки.

Наши землянки раскинуты под горой. Солнечным утром через окно землянки виден город. Белые домики облепили гору.

Вышки, дома, колокольни тонут в золоте облетающих деревьев и, когда тихо, доносится шум, как от большой ярмарки—шум города, стук повозок, рев автомобилей, крик газетчиков, все вместе слившееся в один пульс, крик жизни. В тихие вечера над городом плывет одинокий звон колокола, печальный и грустный в зареве листопада, и голос меди, донесенный в лощину, над которой уже поднимается предвечерняя дымка тумана, ткет причудливое кружево мечты и полузабытых снов колокольной России, каждому знакомое с детства и забытое в криках войны, в лязге железа, в содроганиях замученного тела...

— Звонят... Хоронят, надо полагать, кого,—говорит Хватков.

— Да. Похороны. Только не солдата: по солдатам не звонят. Каждый день земля принимает десятки, вон видишь, на том кладбище, у белого дома?.. Пухнет земля. Неведомо кто сошлись сюда, в чужой белый городок... искать-не разыскать кто и откуда. Да...

Колокол поет,—и летает крылатая песнь вместе с шумом города по низине, вдоль которой легла серебряная горная речка Сучава.

— Недавно, говорит Хватков, хоронили вот так же немецких летчиков,—венки, цветы, музыка, народу полгорода. А наш летчик, который сшиб, шел тут же за гробом и на него указывали пальцами, глядели, как на диковинку какую. Ведь здесь все больше немцы и им, конечно, жалко своих. Да. И вот во второй и в третий раз,—три аппарата сшиб чуть ли не на одной неделе,—пришлось ему идти на похороны, так—верись—весь город его узнал, проходу не стало, смотрят как на убийцу, сторонятся. В кафе зайдет,—и там на него пальцами показывают. Другому и не вытерпеть: железные нервы надо.

Я сижу у окна землянки и гляжу на белый кокетливый город, на стройные серебрястые тополя, клен и огромные шапки пожелтевших ореховых деревьев, слушаю шум города, крик его жизни, вижу беспрестанную ленту военных обозов вдоль шоссе, артиллерии, транспорта и санитарных двуколок, откуда выглядывают забинтованные в белую марлю лица, и это все, не связанное одно с другим, и белые дома с кое где пробитыми брешами в них, и суетливая толпа, и бешено мчащиеся мотоциклеты составляют одно проявление кинучей жизни, пульс ее в небольшом прифронтовом городе.

Ночью город не освещается, во избежание ночных воздушных налетов, и только в штабе да кое где в редких окнах виден огонь.

Но жизнь кипит и без света; люди привыкли к мраку, сжились с ним. За занавешенными окнами кафе, в квартирах, на бульварах слышны голоса, смех, музыка, звон стаканов, идет купля-продажа всего, вплоть до совести, вплоть до этих вот, перебегающих улицу девушек-подростков, с невинным взглядом, не знакомых с прихотями пьяных от вина и успеха людей.

Иногда ночью со стороны бульвара доносится выстрел или отчаянный женский крик и снова все стихает. Здесь разворачиваются свои маленькие драмы, хлещет маленькая жизнь через край у людей, с'ехавшихся с разных концов света, случайно столкнувшихся в чужом городе.

Ночь оберегает эти тайны, маленькие драмы маленьких людей, и ничего не слышащий город не отзывается на них, и разве иногда проскрипит железный засов—это крепче затворяют на ночь двери и окна.

По ночам в стороне позиции видны дрожащие зарева огней; вспыхнут, окрасят тучи в фиолетово-алый цвет и, словно нагруженный камнями воз, доносится рокот тяжелых орудий.

Из окна землянки видны алые зарева подожженных деревьев и фольваргов; дрожащий красный цвет падает и на город, и тогда он встает в фантастическом свете, тревожный и страшный, словно облитый кровью.

И когда я вспоминаю прошлую жизнь, жизнь первых месяцев войны, эта землянка, из окна которой я люблю наблюдать за жизнью, мне представляется радостным дворцом, ибо жизнь там, в окопе, под адским огнем в тысячу раз хуже и непривлекательней.

И все-таки похвалиться не чем. Хочется выйти, лечь у мокрого от росы частокола лежать, ничего не знать, оторваться от всего и выть, как воеет голодная бездомная собака.

Темной ночью.

С балкона открывалась заречная часть города, раскинутая по холму и освещенная склоняющимся солнцем, а за нею далекая, подернутая сизой, словно вуаль, дымкой гряда леса, за которой стояли войска. Редко-редко грохали орудия, словно выжидая еще не наступившего времени.

Понемногу темнело. Изредка стали взвиваться белые, словно падающие звезды, ракеты. На излете, снижаясь, они освещали зубчатый лес, казавшийся большой несметной армией, а голубоватый полусвет, после падения ракеты, заковывала черная непроницаемая и жуткая темнота.

На улицах пригорода стояли кучки военных, женщин и торговцев. Разговаривая, они вглядывались вдаль, выше домов, раскинутых по склону горы к лесу, начинавшему все чаще и чаще освещаться ракетами. Стрельба стала носить нервный характер: тысячи ружей, словно одна большая заведенная машина, бросали свинец и от этого стоял непрерывный рокочущий треск.

За городом разгоралась одна из исторических ночных атак. Чаще взвивались фосфорно-белые с голубоватым оттенком ракеты; чаще доносились удары пушек. По дороге проскакал ординарец—вестовой и прошло несколько автомобилей с только что ранеными солдатами.

И вдруг над городом просвистел и за линией железной дороги ударил тяжелый снаряд, потрясая дома. Не успели одуматься—другой—на торговой площади разбил дом.

Вспыхнули огоньки разрыва, бежали люди, кричали, в суматохе не узнавая друг друга, толкались и размахивали руками. Несколько человек перебежало через площадь. Кто то звал на помощь.

Горело, плясало красное пламя над площадью. Дом разгорался. Вдрагивали, как красные полотна, ленты пламени; и некому было тушить.

Из домов выбегали люди, кто в чем. Бежали, метались по площади. На бульваре плакал забытый ребенок.

Снова загудел снаряд.

— Спасите... а-а-а... спасите,—кто то выл на площади.

Засыпало камнем... стена рухнула,—передавали бежавшие.

А оттуда доносился нечеловеческий крик.

— В церковь, в церковь!—закричал народ. Была ли в том вера их, или просто старались укрыться за толстыми стенами векового храма,—не знаю. Храм начал наполняться народом. Под темными гранитными сводами бились о камень, плакали, читали молитвы смятенные люди, искали спасения от огня смертного... Затеплились жиденькие свечи в руках старых людей, детей и женщин. Чем то средневековым повеяло, жутким: вспоминались гонения, катакомбы.

Я вышел на паперть.

Разбитый дом пылал. Огромное пламя бросало вверх кровавые простыни, освещало: казалось, мертвые затаившиеся дома обманном светом, и где то плакал ребенок.

И, когда я хотел снова возвратиться в храм, где то близко, над самой головой, раздался ужасный треск. Снаряд ударил в купол и вниз посыпались куски камня и стекла. Двоих, троих облитых кровью, вынесли на паперть.

Огни свечей послужили прицелом для батарей с той стороны.

Эвакуация.

«Под давлением превосходных сил», мы совершаем отход. Пылают интенданства,—на 50 верст видны зарева. Жуткий, прокаленный до-красна воздух, как вынудое из горна железо. Со станции готов отойти последний поезд, паровоз набирает пары.

Солдаты катят бочки с керосином, чтобы облить гурты хлеба, крупы, бочки сливочного масла, ворохи сапог, словом чтобы подпалить интенданство, которое «нельзя» вывезти. На путях остаются вагоны с почтовыми посылками,—их оставляют немцу.

Сполох, крик, шум, беготня, ругань, все торопятся; станция вот-вот перейдет в руки противника.

Приходят члены комитета. (Это было летом 1917 г.) в городе Радауц.

— Почему оставляете вагоны с почтовыми посылками?

— Поезд и так перегружен, без них состав велик.

— А что в этих вагонах?

— Служебный груз.

— А в этих?

— Тоже служебный.

— А эти с чем?

— Это начальника станции?

— А те вон?

— Те ревизора.

— А дальше?

— Дальше—начальника службы пути.

— А там?

— Наши кондукторские.

— А крайние?

— И те служебные.

— 60 вагонов и все служебные! Что же вы везете? А ну-ка откройте.

Пломбы срывают. Из вагонов на свет божий выглядывают кушетки, диваны, картины, столы, зеркала, кресла, граммофоны, детские игрушки, кровати, пианино, связка нот, портьеры, ковры...

— Д-да,—наконец выходят они из столбняка,—где вы это взяли?

Это не мы, это начальство, наше дело маленькое; приказали грузить—и грузили.

И все это их личные вещи? «походные?»

— Это из квартир беженцев. Жалко оставлять...

— Сейчас же выбросать! Эй, товарищи, выкидывай, грузи интенданство.

Закипела работа. 60 вагонов—выбросили из себя целые горы «служебного груза».

Вечером у станции остановились солдаты (наступление немца было задержано). Горы комодов, гардеробов и прочей мебели пошли на дрова, солдаты жгли костры и варили себе кипяток.

Они стучали по клавишам пианино, заводили граммофоны, удобно устраивались на мягких креслах...

Тайна Тарнопольского костела.

Днем, вечером и ночью вдоль стен векового костела ходит часовая. На тихой улице Петра Скарги стоит костел. С западной стороны недалеко от него раскинулось озеро, окаймленное густой порослью тростника. Тихим миром, безмятежностью веет от заснувшего озера, за которым на взгорье раскинулись поля, одетые дымкой тумана.

Тихо в старом вековом костеле. И тихая улица идет мимо него. Редко-редко проедет фура, громыхая колесами да торопящаяся по домам редкие прохожие.

Много веков назад основан костел. Знали или не знали строители его, что будет мировая война, предвидели или не предвидели, но только под костелом устроены глубокие подземелья, можно укрыть в них батальон солдат. И молва идет; глубокая подземная галерея тянется от костела далеко за город.

В начале войны, в 1914 г., когда русские подходили к городу и когда спешно отступали войска австрийцев от границы,—жители несли добро свое, золото и серебро, драгоценности и меха дорогие ксендзам.

Ото всех брали ксендзы на доброе слово и складывали в подвалы.

И шла служба в костеле. Играл орган.

А по вечерам один за одним, один сторонась другого, несли жители добро свое в глубокие подземелья костела. И многие, сдав ценности, шли от войны, велед за своими тыловыми войсками, в глубь Австрии, в горы Карпаты, ближе к Вене, доверив добро свое ксендзам.

И вот разразилась гроза. Русские взяли город. И понеслась гроза дальше. Русские брали город за городом, шли в Карпаты.

Далеко вперед прошли русские войска и стал город австрийский, Тарнополь—город, в глубоком нашем тылу.

Развилась торговля. Весь товар для края шел из России.

В это время, через скупщиков, ксендзы с улицы Петра Скарги скупали в лавках муку и крупу и разные припасы, а когда замирал город и в вечерней темноте вспыхивали тысячи далеких пожаров и весь запад опоясывался, словно зарей, далекими заревами горящих сел, деревень и стогов сена,—скрипели фуры в темноте, под'езжая к костелу на молчаливую тихую улицу. Грузилось русское добро: мука, крупа, сахар в глубокие подземелья костела.

Надеялись ксендзы: не сдержать русским напора. Надеялись,—город перейдет снова в их руки.

А у нас в то время снарядов не было, патронов было мало. И отступали не потому, что нас побеждали; вели оборонительную войну, стараясь при этом как можно выгодней, без потерь, отходить под натиском хорошо вооруженного врага.

Знали ксендзы об этом. И уже гул орудий снова грохотал над городом, как далекий гром, когда они спешно заканчивали погрузку костела. Знали они, что запасы хлеба в Австрии невелики.

И вот осенью 1915 г. поправилось у нас дело с патронами: натиск был остановлен. В 10-ти верстах от Тарнополя засели русские и продержались всю зиму.

Так Тарнополь—город и остался в наших руках.

В Тарнополе остановился штаб 18 армейского корпуса.

По вечерам, под праздники, когда играл орган и шла служба, среди молящихся были заметны русские власти, в штатском. Присматривались, вдушивались, узнавали.

В одну из ночей окружили костел.

В глубине—подвалов, действительно, нашли огромнейшие запасы провианта.

Арестовали ксендзов.

Среди них оказались два германских, переодетых ксендзами, полковника, а при них дневник, который вели они с первых дней, когда русские вошли в город. Вносились записи всех проходивших и стоявших в городе частей, расположение их, вооружение, численность и т. д.

Под конвоем препроводили ксендзов, а с ними и двух германских полковников, в Россию.

С той поры запечатан костел.

Тихо в старом вековом костеле. Не играет орган. И тихая улица идет мимо него. Только редко-редко прогремыкает фура, спускаясь в предместье да вдоль стен шагает часовой.

Свадьба на фронте.

В течении трех лет войны, мне пришлось видеть на фронте несколько солдатских свадеб.

Женились стоявшие на отдыхе солдаты на румынских и молдавнских девушках, с которыми их случайно столкнула судьба.

Чаще всего встречались случаи, когда женились солдаты артиллерийских парков и тех учреждений, которые стоят в ближайшем прифронтовом тылу.

Оборонительная война, заставившая сидеть прифронтовых солдат целыми месяцами на одном месте, в какойнибудь деревушке, бок-о-бок с мирными жителями, зарождала в солдатах жажду семейного уюта, тихой семейной жизни, от которой они оторваны.

Когда не было передвижений, жизнь солдат, женившихся на войне, текла мирно; солдатки военного времени среди разоренных халуп, какие встречаются в любом прифронтовом селе и деревушке, устраивали свой угол и обзаводились понемногу домашним

хозяйством. При передвижениях же разыгрывались целые трагедии. Подвод достать нельзя, приобретенное добро приходилось бросать или отдавать комунибудь за бесценок, взваливать свои пожитки на себя и идти походным порядком до следующей стоянки.

Кому не знакомы эти картины:—идет солдат, на спине у него привязан самовар, в руках узлы; рядом с ним женщина, также нагруженная узлами. Правда, женщину многие проезжающие солдаты готовы подвезти и перебраться на новую стоянку она имеет возможность с большими удобствами, чем нагруженный муж-солдат.

Как то мне на маленькой железно-дорожной станции пришлось видеть двух плачущих женщин.

Это были солдатки. Мужья, наобещав им, что возьмут их в Россию, оставили их на станции, а сами через окно пробрались в вагон,—и «прощай молдованешти», уехали в Россию.

Передавали случай, что женился солдат, уже женатый в России и также, через несколько месяцев совместной жизни, бросивший жену.

Так или иначе, но свадьбы на фронте—явление, наблюдавшееся довольно часто.

* * *

Яркий солнечный день, какие редко выдаются глубокой осенью. Вдоль села около калиток стоят наряженные, только что вернувшиеся из костела немки, кое где среди них видны группы солдат.

И вдруг по улице слышно дребезжание мчавшихся повозок.

Лошади разряжены разноцветными лентами и увешаны гирляндами ельника. На каждой повозке 8—10 человек. Передний стоит и бьет лошаденку по исхудалому задку и она мчится во весь карьер. На возах парни в длинных из белого грубого холста рубахах и в таких же штанах; на плечах поверх рукавов одеты кожухи; рядом с ними наряженные девушки в белых, грубого холста, украшенных вышивкой «спидницах» и между ними солдаты с «навинченными» усами.

Вслед за первой мчится такая же подвода, вторая, третья...

— Это свадьба.

Весь народ с улицы хлынул к церкви, около которой остановились подводы.

Жених,—бравый ефрейтор, лет 30-ти, ведет под руку невесту—молдованку 15—16 лет *), и между ними происходит приблизительно такой разговор:

— Ничего ничего, привыкнешь. Главное—веселей держи голову не печаль хозяина, утешает жених.

Она говорит что то.

— Так, как,—говорит он не, вполне понимая ее слова, обращается к одному паренюку румыну, чтобы тот объяснил ему, о чем она его просит.

Идет священник. Все торопятся в церковь. Происходит обычная запись в книги и венчание.

Вечером идем на свадьбу. Около халупы толпа, наигрывает гармоника, слышатся молдавские, румынские и русские песни; за неимением места в халупе устраиваются танцы под открытым небом около халупы.

— Бун-бун-бун,—надрывается какой-то румынский инструмент и его перепевает, обгоняет звонкая саратовка—гармошка. Поваяло Рессней, дальней деревней, родным духом, когда залилась саратовка и кто то залихватски запел частушки:

*) Здесь допускается выдавать замуж 14—15 л. девушек, если они по состоянию здоровья вполне развиты.

Ты-ли, ты-ли, ты-ли я, ты-ли малая моя!

Их! у-х!

Струживаются потесней около играющих, подходят новые с улицы, привлеченные захватскими песнями. А гармоника поет родное-волжское, занесенное сюда из родной деревни и переходит в плясовый мотив.

— Эх! топни нога
Дне жалей сапога!
Либо д'эти нам починют,
Либо д'новые дадут.
Их, ух! их, ух,
Да на курице питух...

Толпа увеличивается. Видны в толпе сестры в белых косынках, офицеры. Всем хочется заглянуть на новобрачных.

И вместе с вечером, поглощающим в темноте толпу, приходит обыденное, сознание войны. Где то влево за перелесками взвилась и падает огненно-белая ракета, описывая дугу, и велед за этим удары орудия потрясают воздух, землю, жизнь с ее маленькими обидами и радостями.

Стрельба из окон.

...При занятии войсками новых местностей всех евреев собирать и гнать вперед за неприятельскими войсками. (Из приказа Верховного Главнокомандующего).

Во время отступления в 1915 г. стоявший в Выжнице штаб дивизии едва не подвергся нападению со стороны жителей. В начале войны подобные нападения наблюдались, но жители дорого платились за это, и в конце концов, подобных выпадов не заметно.

Жители, намеревались открыть стрельбу с чердаков и окон по отходящим войскам. Скрывавшиеся в горах по одиночке австрийские солдаты, числом до 30 человек, стеклись в Выжницу. Они уже переодетые в русинские кожухи, достали спрятанное в горах оружие и патроны и перенесли в город. Они-то, собственно, и являлись инициаторами нападения из-за угла.

Как сейчас помню это отступление. Сложенные и увязанные воза стояли целый день. Несколько раз запрягали лошадей, готовясь к выезду. Телефон работал без перерыва. Настроение менялось через каждые пять минут в зависимости от того, как шли дела казаков. Как и всегда, в обычное время погасли огни в помещении солдат и канцелярии, хотя люди не спали. И только чаще обыкновенного звенели телефоны. Несколько раз одетые в хомуты лошади выводились из конюшни, но приходило новое распоряжение, и лошадей в хомутах снова ставили по стойлам. Ничто не выдавало нашего волнения. Ночь стояла темная, и только пепельно-грязный отлив размятого удавоженного снега на близком расстоянии рисовал движущиеся тени людей.

Настало утро. Счастье, казалось, повернулось в нашу сторону. Простояли еще день, но с вечера было видно, что отступление неминуемо. Вечером разразилась мятель, засветел горный ветер, и мы под этот воющий свист, соблюдая полнейший порядок и тишину, часа в 2 ночи выехали из города.

А на рассвете город перешел в руки австрийцев.

Если жители и переряженные австрийские солдаты не заметили среди ночи отступления штаба дивизии и не стреляли, то при отступлении казаков из окон открылась стрельба.

Под напором наших превосходных сил, гор. Выжница снова переходит в наши руки. Зная свой старый грех, никто из жителей не захотел оставаться в городе. Целый табор отступающих вместе с войсками жителей отправился в горы.

Австрийское правительство снабдило их палатками.

Продвигаясь вперед с имуществом, с корзинами, свертками и детьми, они разбивали палатки, ночевали в них, а затем снимались и шли дальше.

От того-ли, что здесь сильно развивалось русское наступление, или от какой другой причины, но этот лагерь выжницких жителей не мог уйти в глубокий тыл, а все время находился вблизи австро-германских цепей.

Однажды, сделав прорыв, русские увидели сотни раскинутых на поляне палаток. Полагая, что здесь австро-германский бивуак, подвергли лагерь обстрелу.

В это время, посланная на выручку своим другая австро-германская часть, видя раскинутые палатки и, в свою очередь, предполагая, что здесь находятся русские, с своей стороны, подвергла обстрелу из пулеметов лагерь беженцев.

Живых осталось мало.

В лазарете.

За вечерним чаем, по обыкновению, обсуждали последние новости. Говорили о тех жестоких способах, которыми противник ведет борьбу и, в частности, о последнем налете на город, когда бомбами с аэропланов были убиты две женщины.

Уже зажигали огни в маленькой, но опрятной и уютной столовой перевязочного отряда. Не хотелось расходиться по палатам, где кровь и стоны. И доктор, чтобы оттянуть время, спросил сидевшую напротив него сестру.

— Ну, как ваш Ткаченко? все еще спит?

— Удивительный человек он,—сказала сестра,—20 часов в сутки спит.

— Ну, ничего, поправится. Вот покрепнет малость, мы его и исследуем рентгеновскими лучами. Очевидно, инфильтрация или зарубцевание приняло плотную форму.

Он встал и направился к выходу, но в дверях столкнулся с безавшим санитаром.

— Ну, что? Привезли кого?

— Так точно. Обе ноги оторваны.—сказал санитар.

Доктор набросил шинель и скорой походкой пошел к лазарету, а за ним, едва успевая, шли сестры.

На улице было сухо, слегка морозно. Над местечком стоял гул, ржанье лошадей и на мостовой стук кованых тяжелых колес артиллерии. Налево за местечком, где скрадывала темень окраину, гулко, по обыкновению, шла стрельба, вздрагивали тяжелым ударом пушки, сеялись беспрестанно ружейные пули и плыл над полями непрерывный, смешанный хаотический шум. Белыми огнями, как звезды, летели ракеты и на мгновение освещали далекую черную равнину, как пустая яма. Порой ракеты рассыпались искрами, огневой пылью и мешались среди огней, вспыхивавших по низине от орудийной стрельбы.

Под лазарет были отведены старые помещичьи сараи на фольварке. Длинные и узкие помещения сараев были заполнены ранеными. Вдоль длинных стен стояли кровати, образуя по середине узкий проход. Для многих не хватало кроватей, и они лежали на полу, на свежей соломе. Когда вошел доктор, привычное чувство последних дней—чужая боль, отзывавшаяся на себе,—снова подкралась, и от этого стало тяжело.

Больной, действительно, был с оторванными ногами, и вместо них торчали уродливые, красные, обмотанные марлей обрубки, а сквозь марлю просочилась и застыла кровь.

Кроме него, было еще двое с обмотанными марлей головами, как снежные шары, но они были из числа легко раненых и остались ждать очереди.

При виде красных, запекшихся обрубков, у сестер пробежала по телу дрожь. Им, работавшим в 8-ми верстах от позиции в передовом отряде, много приходилось видеть чужого горя, слез и страданий. Тысячи безнадежных людей прошли через их руки. Редкий день обходился без того, чтобы кто-нибудь не умирал. Но каждый раз при виде чужих ранений чужая боль остро чувствовалась ими, отслаиваясь на душе.

Раненого в обморочном состоянии перенесли в операционную, срезали бинты и, чтобы не причинять боли удалением первой повязки, наложенной в полку, обе ноги его держали в тазах теплой воды и понемногу стали снимать в'евшуюся в раны повязку.

А работавший здесь-же санитар, успевший кое-что разузнать от возниц, рассказывал:

— Был в разведке. Подползал к неприятельскому дозору, а на поясе у него была привязана ручная бомба... Заметили, что-ли, его или просто так, случайно, только стали стрелять, пуля попала в бомбу... бомба и разорвалась, обе ноги отхватило.

— Ну, а как-же его достали?

— Сам отполз,—продолжал санитар. И добавил: здоровый такой... выживет. Сам себе ноги перетянул, чтобы кровь унять и все полз и все полз.

— Вот они, серые, незаметные герои,—говорил сестрам доктор.—Ведь вы только подумайте... С оторванными ногами, чуть живой не остается на месте, ползет. Какую, надо думать, боль переносил!

После целого получаса хирургической помощи, удаления расщепленных костей и перевязки больного отвесли и положили на кровать.

Когда доктор после осмотра раненых в ожидании следующего транспорта шел в соседний барак,—все так-же дрожал от глухих ударов воздух и так-же за городом на темном поле вздрагивали и качались огоньки и плыл нестройный, хаотический шув войны.

Мих. Артамонов.

•••••

Вы жертвою пали...

Траурный путь.

Как волны грядами—
Рядами,
Меж берегами
Мрачных огромных домов,
Руслом глубоким улицы длинной,
Гулко течет напряженной лавиной
Тысячеокая масса голов.
Мерно колеблются плечи, спины,
Сжатые камнем жилых берегов.
Прервали свой торг магазины.
Вагоны трамвая прервали свой ход...
А людская река —
Все полней, все плотней,
Все тесней,
Все разливней, грозней...
То—Народ
Провожает на старое кладбище дальнее
Павших борцов;
И льется над пестрою зыбью голов,
Как пенистый гул перекатных валов,
Торжественно песня прощальная:
— ..Вы жертвою пали в борьбе роковой...
...Пали...

.. В борьбе...

...Роковой...—

Надрывно рыдает хорал звуковой.

Не красные челны на плавных волнах,—
Гроба над толпою на братских плечах
В последнюю пристань плывут—колыхаются.
Венки и гирлянды тоскуют на них.
— ...Порой изнывали вы в тюрьмах сырых...—
В тоске голоса надрываются.
...В тюрьмах...

...Сырых...—

Кажется: сам, как в тюрьме, задыхается
Скорбною памятью созданный стих

Как вещи всполохи пламенной птицы—
Недремлющей птицы—мгтежной зарницы,
Бросающей в сумрак посев огневой,

В воздухе реют,
Реют и рдеют
Над многодумной людской рекой,
Жгучие искры кругом рассыпая,
К совести гневно о мести взывая,
Полотнища—крылья кровавых знамен;
Горят—огневеют их всплески пурпурные
(Не ими-ль и день озарен?)
— ...Пусть деспот пирует...—вздывается бурная
Гроза голосов, напоенных огнем
Мерцающих молний,—гудит нарастая:
— ...Но страшные буквы над пирным столом
Чертит уж рука роковая... —
...Чертит...

Рука...

...Роковая...

Победно рокочет пророческий гром.
И лозунгов красных пылающий хор
С полотнищ плакатов, из складок знаменных
Бросает набатные крики—зовет
К борьбе беспощадной...

— ...Воспрянет народ...—

Могуче гремит голосов убежденных
Крылатый порыв в лучезарный простор.

...Воспрянет...

...Счастливей...

...Свободней...

...Свободней...—гудит вдохновенно вдали...

— ..Прощайте же, братья! Вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный...—

...Доблестный...

...Путь...

...Благородный...

Последнее прощанье.

I.

— Нет, нет, свинец врага, сразив, не вырвал их
Из нашей армии, борьбою закаленной!
И мертвые они идут среди живых;
И голос их звучит среди криков боевых,—
Как прежде все непобежденный

— Не бьются их сердца, но мысли их живут.
Мир пурпуром зари рассветной озаряя,
И дивной красотой пленяют и зовут
На грозную борьбу с позором черных пут,
Сдаввших грудь родного края.

— Застыли руки их и не поднимут вновь
Призывом пламенным пылающее знамя,
Но ярче знамени их жертвенная кровь
Горит, как чистая высокая любовь,
Как вдохновляющее пламя.

— Безмолвны их уста, но раны говорят:
„Он пробил—грозный час. Вперед за нами смело!
Пусть гордые сердца отвагою горят:
Лишь смелые живут, лишь смелые творят,
Победою венчая дело“.

II.

— Плакать после у могил
Братьев, павших в день кровавый.
Грянем снова грозной лавой
На твердыни вражьих сил!

— Плакать после... Бой не ждет,
Враг не дремлет ни минуты
И кует, как прежде, пути
Силам, рвущимся вперед.

— Плакать после... Каждый час,
Каждый миг теперь нам дорог,
Взгляд борца быть должен зорок;
А слеза туманит глаз.

Братская могила.

Засыпан желтый зев могилы песком зыбучим..

Свежий холм зазеленел венков листвою железной, зацвел извивными струями алых лент.

Растаяла толпа,—и снова на кладбище, взволнованном было ее кипучим гулом, царит тоска покорного покоя.

Над тесными могилами крсты, как бы раскинув пред востоком руки, в немой молитве горестно застыли:

— Упокой, Господи, душу раба Твоего!

— Господи! прими дух мой с миром!

Плакучую печаль струят с нагих ветвей столетние березы, облепленные гнездами грачиными.

Холодной мрачной думой тоскливо веет от мохнатых елей, подернутых осенней синью.

Уныло тенькает в кустах синица.

А с древней колокольни, с каждой в вечность канувшей минутой, роняют медный стон старинные часы.

Все дышет немощной покорностью. Все мрачно гложет тленье. Все душит безнадежность рабских дум.

И только свежий холм могилы братской поет извивными струями алых лент о жизни, искрящейся верою в победу лучистой радости:

— ...Путь счастья—путь борьбы...—

— „Per aspera—ad astra!..—

— ...Честь—павшим за народ! Проклятье—палачам...—

— ...Да будет ваша смерть живым призывом к последнему решительному бою...

— ...Из ваших костей вырастет мститель...—

— ...К оружию граждане! Да здравствует Свобода...—

— ...Весна молодая идет нам во след под сенью несчетных знамен...—

Вас. Смирнов.

Отравы в повседневности.

Мою ли душу выел горький дым?
Другим ли в грудь закралось по волченку?
С кем в наши дни возможно стать родным,
Как со стихами, как с своим ребенком?
Ни с кем... Хочу и не могу принять
Тебя, мучительная повседневность,—
Погибельных страстей твоих печать
На каждом лице гасит задшевенность.
В злоеший плен падений и утрат,
В больное, тесное коловращенье
Влечет твой черствый, беспощадный взгляд,
Готовый на любое преступленье.
Не так в лазури молнии и гром
Сбурляет буря с прахом подорожным,
Как смешаны тобою зло с добром,
Прекрасное—с мгновенным и ничтожным.
Ты заглушаешь в пытках чуждых чар,
В незримых, жалящих стеблях крапивы—
Доверчивости голубиной жар
И жертвенные светлые порывы.
Пророки от тебя отходят прочь—
Беспомощные, слабые, как дети.
Дано не многим гордо превозмочь
Твоей петливой двойственности сети.
Блажен—в чьем взоре мудро скрыта грусть!
Чьи силы крепнут в небывалой схватке
За темную запуганную Русь,
За благо тех, кто вжат былым в заплатки!
Звени и плачь мой до надрыва стих!
На имена молиться не устану.
За жертвы ж многие восславят их
Тома историй и всех стран баяны.
Но вот рабы, купль, сделок и пожив
Плутнями мудрость бытия калечат.
Кто? Кто из них пройдет, не очернив
Рук пакостью, хотя одной, по плечи?
Жмот, жулик и бездушный спекулянт
Дням бедственным огрузили оплечья
И торжествует наглый грубиян
Над доброй человеческою речью.
Визжат, кусаются и рвут, как псы,
С тружонных спин поченую овчину,
А я гляжу. Молчу себе в усы.
Но что же делать любящему сыну!
Кричать бы в крик! А я бегу, как тать,
Вессильный выбросить из груди гневность,
Вот почему я не могу принять
Тебя, о, двойственная повседневность.

Ив. Жижин.

Великий искус.

(Памяти Александра Блока).

Отчего завял цветок?—Я прижал его к сердцу с мучительной любовью. Вот отчего завял цветок.

— Отчего высох ручей?—Я запрудил его плотиной, чтоб пользоваться им для себя.—Вот отчего высох ручей.

Рабиндранат Тогор.

Лицо Блока—лицо мученика. Оно напоминает лицо Христа на чудесной картине Гвидо Рени: страдные глаза Христа распятого—глаза распятого революцией Блока.

„Белый венчик из роз“ оказался мучительней тернового венца. Благословлявший революцию поэт принял от революции страдный дар—пыльную розу—смерть.

Революция—трагедия Блока, как трагедия лучшей части интеллигенции, отображенный в Блоке.

А лучшая часть интеллигенции—это душа жизни, душа культуры. Блок—лучший из лучших—это связующее звено двух—увь!—взаимно друг друга не понимающих слов—„духа“ и „материи“—интеллигенции и народа. Но звено оказалось слишком хрупким, а бури революции, слишком сильными: оно расплавилось в том пламени, которое „на горе всем буржуям“ раздули народные массы.

Смерть Блока (если рассматривать ее более широко—в смысле общественном)—великая, пророческая трагедия. Это не „веселая смерть“ Арлекина: это одна из грустных улыбок современности, улыбок потому, что в смерти—единое спасение Блока.

Смерть Блока—не неожиданность. Утрата, понесенная русской поэзией в лице ее „Дон-Жуана“, не должна вызывать скорби о единичной жертве (в данном случае—Блоке.)—а должна вызвать—скорби об отмирании—неотразимом и неизбежном—самой поэзии, ибо Блок—первец, ее рыцарь, остававшийся верным ей до конца.

Блок—этот Дориан Грей духа—принял революцию. Он благословлял ее целиком, такую, какой она пришла—грязной, некультурной фабричной работницей. На ней не было фригийского колпака, как не было в ее руках и белых цветов.

Если-бы она, у которой под лохмотьями и бьется, быть—может сердце Великой Искупительницы и душа ее—светлый образ Золушки или Сандрильоны, явилась Оскару Уайльду—он—бы отшатнулся от нее с гримасой великой брезгливости, ибо он—„джэнтльмен и дэнди до ушей“, мечтающий о симметрично-разодранных нищенских лохмотьях, не вынес-бы величия воплощенного в грязной работнице народного духа.

А русская революция, явленная миру в образе грязной работницы, напугала многих, и в том числе и тех, кто ждал ее и благовестил ее приход—русских писателей и поэтов.

И, то, что Блок, приняв революцию, отдал имени ее лебединную свою песню—жертвенный его подвиг, ибо он должен был знать, он не мог не знать, что по одному пути он с ней не пойдет: это было бы самоубийством, ибо революция, сокрушающая и разрушающая старый быт, т. е. уклад жизни, выкованный столетиями, убивала и его, плотью и кровью связанного с этим бытом.

Правда, суть этого быта, сердцевину его—Блок проклинал и ненавидел, но его внешнюю оправу, кажущийся его уют, ту теплицу, в которой расцветали любимые его цветы, ту, отгороженную от жизни светлицу, где жила „Прекрасная дама“, тот храм незримый, но чувствуемый, где молвилась „светлая Мэри“, он любил, отдать это он не мог и расстаться с этим—знаменем его и его любовью—у него не было сил..

* * *

„Двенадцать“—лебединая песня Блока, отданная революции.

„Двенадцать“—единственный отклик старой (до-революционной) поэзии на революцию. Единственный потому, что революция, уложившая в могилу старый быт, осыпала эту могилу возвращенными старым бытом цветами—цветами поэзии.

Можно жалеть, можно плакать о гибели этих цветов, можно упиваться запахами их, можно, «вбивая кол» в могилу старого быта, хранить, как сувенир, взятый с могилы его цветочек, но в том, что цветы эти—цветы прошлого—надо, наконец, открыто признаться.

Хорошо это или дурно—вопрос другой. Но—„необходимо констатировать факт“.

Арфа и барабан—вещи несовместимые. Как барабан не годится для романа, так и арфа совершенно непригодна для „Интернационала“, как культ личности, культ всемогущего и всеобъемлющего „я“ исключает культ коллектива, так и душу коллектива не может вместить одна, маленькая—маленькая человеческая душа. Она может отобразить ее, она может воспеть ее в песне своей. Но и то—при неизменном условии чуткости и родства.

Многие удивляются, почему „замолчала“ русская литература?

И многие—(людей в очках на свете не мало?)—объясняют это исключительно „контр-революцией“, т. е. непримиримой враждебностью писателя к народу.

Отчасти это так: изуверов среди наших „витий“ оказалось не мало. Но это—отчасти. Главное: старый писатель почувствовал себя на празднике революции лишним: он, вылезший на свет Божий из своей раковинки самоудовольствия, раздавленной сапогом солдата и мастерового, органически не мог, не смог—и не сможет!—разгадать происходящее. Старичек, брюзга, литературный буржуа, отравивший брюшко, сразу же завздыхал о разбитой раковинке; найдя ее,—где угодно и у кого угодно—у Ллойд-Джорджа, у Вильсона или у Рябушинского—безразлично—он сразу за нее ухватился—и сиротался, ибо—

„Я ненавижу человечество.
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество—
Моя пустынная душа“.

Другой-же, более чуткий, вылезнув из раковинки, как Лазарь, из гроба вставший, был ослеплен новым светом. Он знал, что новое солнце—не его солнце, но он благословлял его, хотя быть—может, и чувствовал, что оно—жизнеподатель миллионов—и будет его могильщиком.

И все-таки, все-таки (у него было честное сердце и здравый ум)—он, —преклонив колени, приветствовал восход нового солнца.

К последним относится и Александр Блок, доказавший „двенадцать“ свое верное рыцарство, свое преклонение перед теми, которые — попадись он им в „черный вечер“, за одно слово могли застрелить его, как и „Катюху“.

Блок был с революцией—и уйти от нее не мог. Но, спев, лебединую песню, больше не мог ипеть, ибо никто иной, как революция, опустошила многострадальную его душу.

„Двенадцать“ написаны кровью и собаками нервов“.

„Двенадцать“—это отображение, (но не воплощение) духа революции. Впечатления наблюдателя, но не переживания борца.

Блока называют „девым зезром“. Так-ли это, был ли он им на самом деле,—но то, что Блок любил народ (если под эту избитую рубрику подвести крестьянство и пролетариат)—общезвестно: для него он находил теплые слова, для него (и про него) он написал „двенадцать“, ибо эти „двенадцать“—подлинные осколки „домоса“:

В зубах—цыгарка,
Примят картуз,
На спину—б вадо
Вубновы туз“.

Это—один из „двенадцати“. И этот один—все „двенадцать“: это те люди, которым „ничего терять“:

„Ко всему готовы,
Ничего не жаль“.

И—однако—эти „подонки общества“, родные братья тех, что ютятся в проклятом вертепе проклятого капиталистического общества—Уайтченеле,—строители жизни: в душе каждого из них—душа неутомимого и смелого Сольнеса.—Они—подлинные „апостолы“:

„Вдаль идут державным шагом,
— Кто еще там? Выходи!
Это—ветер с красным флагом
Разыгрался впереди“.

Блок не хотел поэтизировать их триумфальное шествие; — и не мог. Они — грубые, скверно-ругающиеся люди все-таки вышли апостолами, а путь их — путем Бога воскресшего, путем не на Голгофу, а с Голгофы, с извечного любовного места, не к кресту, а от креста, не к смерти, а к жизни, к жизни, попирающей смерть. Они искушали прошлое—тысячелетия грязи, вшицеты, илтей, застенков и голода. И знамя их, не то красное знамя, что плескалось над их головами, а знамя духа—было знамя великого Евангельского страстотерпца, ибо вел их никто иной, как замученный за людские „грехи“ и кровью их искупивший Богочеловек:

„Так идут державным шагом,
Позади—голодный пес,
Впереди—с кровавым флагом
И за выгою невредим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз
Впереди—Иисус Христос“.

И в этом трогательном образе Христа, сменившего багряницу на „белый венчик из роз“—весь Блок, и отсюда „двенадцать“—преемственный наследник его „прекрасной дамы“, „Звезды-Марии“ и „рыцаря-Бертрана“.

Христос, „невидимый за выгой“, Христос, розами увенчанный, Христос—не Бог—Адонай или грозный Мессия, а просто—кроткий человеческий великомученик—рисовався поэту воплощенным в душу революции. Он, сошедший со креста, шагал „надвьюжной поступью“ впереди „двенадцати“—впереди двенадцати сошедших с креста жизни „обор-

ванцев", которым суждено стать апостолами, как суждено стать апостолом новой человеческой эры мученице-России—неведомой, прекрасной „Файне“.

— „Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг“!

...Они—двенадцать апостолов—шли от Голгофы, от места крови, к жизни... Но может-быть, им суждено, как Христу, искупившему горе народное распятием, прийти снова к Голгофе?..

Кто знает?

— „Потяжеле будет бремя,
Нам товарищу дорогой“!

На бледном челе Христа—белые розы. Но... нельзя забывать про черный крест, на котором был распят Христос.

„Роза и крест“...

— „Роза и крест“—это поэзия Блока, роза—радость и крест—страданье—это мученические его песни, поклонение той, имени которой он не знает.

— „Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный—
Радость—страданье одно!
Путь твой грядущий—скитанье,
Шумный поет океан.
Радость, о, радость—страданье—
Боль неизведанных ран“!

Это песня странника—Гаэтана—и это—поэтический путь Блока. Первую свою книгу стихов Блок посвятил ей, „Прекрасной даме“, которую он не знал. Мечта о ней жила в его душе. И это была радость. Но найти ее он не мог. И это—страданье. И эта радость-страданье не прерывалась никогда, ибо „ее“—„незнакомку“—розу его жизни—прекрасную черную розу—найти он не мог. Нигде и никогда.

Он искал ее—трепетно, влюбленно—и тщетно—

„В блески зимней ночи тающая,
Обрати ко мне свой лик.
„Ты снегами тихо веющая,
Подари мне легкий снег“...

А если он и находил свою „Прекрасную даму“, она оказывалась только картонной невестой:—

„Она лежала ничком и бела,
Она картонной невестой была“.

И от этого было грустно:—

„И всю ночь по улицам снежным
Мы брели—Арлекин и Пьеро.
...Он шептал мне: „Врат мой мы вместе,
Перазлучны на много дней.
Погрустим с тобой о невесте,
О картонной невесте твоей“...

И „Прекрасной дамы“ нет. Есть радость. И есть страданье. „Роза и крест“.

Двенадцать шли с Голгофы. И шествие их—триумфальное шествие, хотя—может-быть—и было шествием, через радость жизни, в новой Голгофе.

Так казалось Блоку. Иначе и не могло быть. Ибо путь его, розами увенчанный, был крестным путем.

„Мне отпущение—и аз воздам“. „Двенадцать“ шли гулким, мерным, сторожким шагом.

— „Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма?
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?
— Все равно тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо.
Выходи,—стрелять начнем!

Они на страже революции. Топот их—топ армии грядущего.

А там за ними, в глухих черных улицах—

„Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жметесь шерстью хлесткой
Поджавший хвост паршивый пес.
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост“.

— Смерть старому миру! Да погибнет капиталистический Карфаген!—Вот смех триумфального и—быть-может—жертвенного шествия „двенадцати“.

...На одной из улиц, где шли „двенадцать“—

„От здания к зданию
Протянут канат.
На канате—плакат:—
„Вся власть—Учредительному Собранию“...

Около плаката грудятся осколки старого мира: тут и писатель—„вития“, и старушка, вздыхающая о „Заступнице“ и „долгополый товарищ“, и—

„Барыня в каракуле
К другой подвернулась:—
— Уж мы плакали, плакали“...

С „барыней“ случился „казус“:—

„Поскользнулась
И—бац—растянулась!
Ай, ай!
Тяни, подымай“...

В том, что поскользнувшаяся „барыня“ упала—удивительного ничего нет, но—предположим—вдруг эта самая „барыня“ и была „Прекрасной дамой“?

Ведь свалилась же в „Балаганчике“ „она“—неведомая невеста:—

„Он ее ничем не обидел,
Но подруга упала в снег.
Не могла удержаться сидя“:—

ибо она была из картона.

Над упавшей подружкой плясали двое—веселый Арлекин и грустный Пьеро:—

„И, под пляску морозных игол,
Вкруг подруги картонной моей—
Он зевел и высоко прыгал,
Я за ним плясал вкруг саней“...

Это был смех сквозь слезы.

...„Барыня“—же („Прекрасная дама“) упала оттого, что крутил ветер, а тротуары были слишком скользки: земля „уходила из под ног“.

„Барыня“ упала—и „двенадцати“ не было до нее никакого дела.

Они уходили вперед:—

„Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови—
Господи, благослови!“..

Они разрешали старый мир и, следовательно, старый быт, а вместе с этим бытом, и „Прекрасную даму“—неотъемлемое существо старого быта: ресторанов, кафе, гостиниц и подмоетков „балаганчика“.

Итак, упавшая „барыня“—символ „Прекрасной дамы“. И если над упавшей „картонной невестой“ плакал—плакал и смеялся—одинокий Пьеро, то над упавшей „барыней“—над погибающим старым бытом, который вырастил „даму“ и трубадура ее—Александра Блока—должен был плакать сам Александр Блок.

То, что старый быт разрушался—для многих было смешно (и разве не смешно, как изящная „каракулевая барыня“—летом она носила, вероятно, шелка и „шляпу с траурными перьями“).—поскользнувшись, упала в снег?

Но, ведь, многие смеялись и над „Картонной невестой“. Об этом жаловался Пьеро—ее бледный рыцарь:—

„И вот стою я бледен лицом,
Но вам надо мной смеяться грешно.
Что делать? Она упала плячком.
Мне очень грустно. А вам смешно“?..

Над „Прекрасной дамой“, над старым бытом, над старой культурой—цветами этого быта, разрушенными ураганом революции, спаленной тем пожаром, который „раздували“ „двенадцать“—эти „двенадцать“ и смеялись.

А Блок—трубадур „Прекрасной дамы“—влюбленно смотрел им вслед—и если не смеялся вместе с ними, то и не плакал. Он хотел быть героем, хотел надеть схиму самоотречения: отсюда сила его „двенадцати“, пафос и Леонардо-да-Винчевская красота каждой строки.

— Не была-ли уж это „храбрость отчаянная“?

— Нет, ее не было. Отчаяние, а с ним страдная, мучительная боль пришли после, когда „двенадцать“ с улиц Питера ушли в Донецкие степи и Туркестанские долины, и когда смерть „Прекрасной дамы“, смерть старой культуры были очевидностью, и когда для Блока уже не было розы, а был только один—непосильный и изнуряющий—крест...

* * *

...Кто-же был путеводителем: Христос или „двенадцать“. Христос вел „апостолов“ на подвиг ратный, или „апостолы“ увлекали его за собой?

— Ни то и ни другое. Но для Блока, любовно-провожающего взглядом буйную красногвардейскую толпу,—толпа эта была богоносно-ой—и в душу ее вложил Христа—чистое, белое виденье, и чело этого призрака—Христа-Искупителя—народа-богоносца—трогательно, как невесту фатой, повил белыми розами—светозарным, хрупким венчиком...

Александр Блок—милый трубадур „Прекрасной дамы“—обманулся. И обманулся жестоко: „двенадцать“ шли „без имени святого“.

Ведь они, разрушая старый быт, несли быту, ими творимому, буйное, смелое и раздольное:—

„Товарищ, винтовку держи, не трать!
Пальнем-ка пулей в святую Русь—
В кондовую,
В небяную!
В толстозадую!
— Эх, эх, без креста“!

Вот где истинная их душа: долой кресты, долой материнские благословения, к чорту старину—

„бога нет, царя не надо“.

„Двенадцать“—народ озорвой. Им „ничего не жаль“. Убить человека—для апостола илевое дело. „Катька“—проститутка, носившая когда-то „тонкое“ белье, изменила своему любовнику: села в пролетку—и укатила с другим. Любовник—он один из „двенадцати“—взмахнул винтовку:

„Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах.
Лихач—и с Ванькой—наутек.
Еще разок! Взводи курок!
Трах-тарарах! Ты будешь знать,
Как с девченкой чужой гулять“!

И вдруг представьте—этот-же „Андрюха“ увидел невидимый, снежным облаком мелькнувший перед ним, облик Христа. Ведь, он—„хулиган“—не задумался-бы: поднял снова винтовку—и хлопнул в Христа пулей „дум-дум“, ибо Христос—(кто бы он ни был—Бог, Богочеловек)—олицетворение „Святой Руси“,—а „Святая Русь“—заклятый враг „двенадцати“.

Так и смучилось: революция распяла Христа. Она, разбившая старый быт, уложившая в гроб „Прекрасную даму“ старой культуры, не могла не обесценить корня этого быта—Христа—образа смирения, долготерпения и всепрощения.

„Двенадцать“ терпели слишком долго, и прощать врагов своих не хотели, ибо те не прощали и не „жалобились“.

„Мне отмщение—и аз воздам“... Они, мечей искупившие прошлое, шли на Голгофу, но не за тем, чтобы быть распятыми, а чтобы разрушить ее траурные кресты. Они хотели жизни. И жизнь они отвоевали жертвенной своей кровью. И все, что мешало им, они свергали и разрушали.

И тогда наступили „сумерки богов“.

И это скоро понял Александр Блок. На пути триумфального шествия „двенадцати“, как после „скифов“, остались развалины—старого быта, груды обломков и пыль.

Мещане—и от базара, и от литературы—завопили об „антихристе“. Александр Блок, у которого „двенадцать“ взяли все: „Прекрасную даму“ и белого Христа—нашел мужество смириться и покориться, ибо так было нужно. Но идти за „двенадцатью“ он не мог. „Прекрасная дама“ старой культуры держала его в своих „Навях чарах“. Об ней—умершей и схороненной—он грустил теперь больше, чем когда-либо: он любил ее роковой, трагической любовью.

И это была жуткая драма борьбы „двух душ“.

— Там, на улицах, где когда-то прошли „двенадцать“, в пыли, валялась смятая роза. На хрупкий цветок наступал грубый сапог красноармейца.

Некоторые плакали над ней, некоторые ее забывали, а по ночам, крадучись, подходил к ней грустный одинокий поэт.

И лицо его было лицом мученика, и было похоже на лицо Христа на картине Гвидо Рено:—

Страдные глаза Христа распинаемого—глаза распятого революцией Александра Блока.

„Двенадцать“ уходили. Дальше и дальше. О них не пели песен. Песни заглушал барабан. Молчал и тот, кто благословил их крестный путь—Александр Блок.

Пушкин умер. Но для мальчиков не умирают Позы—сказал словами Шиллера, за полгода до своей смерти Блок. Это—последняя его речь. Он читал ее в Петербурге, в „доме литераторов“, на Пушкинских поминках.

И в этой речи—ключ к его духовной смерти, и оправдание смерти физической.

Блока распяла революция, распявшая Христа, распявшая старый быт и „Прекрасную даму“ культуры этого быта.

Блоку нечем было дышать. Не было воздуха. А впрыскивание камфары—слезы и грусть над втоптанной в грязь розою—над попорченным миром феерической „Звезды Марии“—оказывалось средством несущественным.

— „И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура“.

Свое признание Блок дополняет тихой, печальной жалобой:—

„Пора мой друг, Пора! Покоя сѣрдцѣ просит!“

И, связывая эту жалобу опять с Пушкиным—его смертью и смертью культуры Пушкинской поры, приходит к выстрадавшему и обреченному:—

„На свете счастья нет, а есть покой и воля“...

...— „Поэт—сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него; во—первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во—вторых,—привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в третьих,—внести эту гармонию во внешний мир“.

Вот три дела поэта—три огня Александра Блока, как поэта.

— „Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом; борьба с нею превышает и личные, и соединенные человеческие силы“.

Эту „силу гармонии, внесенной в мир поэтом“ люди чувствуют не одинаково.

„И от знака, которым поэзия отмечает на—лету, от имени, которое она дает, когда это нужно,—никто не может уклониться так же, как от смерти! Это имя дается безошибочно.“

И часто люди, сопротивляющиеся этой гармонии, носят низкую бличку, кличку позорную, как каинова печать:—

Чернь.

Но кто эта „чернь“? Блок разъясняет:—

„Вряд ли когда-бы то ни было чернью называлось простонародье.“

Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу.

Пушкин разумел под именем черни приблизительно тоже, что и мы.

Он часто присоединял к этому существительному эпитет „светский“, давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия.

Эти чиновники—и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня; не знать и не простонародье. Без прибавления частицы „не“ о них можно сказать только

одно: они люди; это не особенно лестно; люди—дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена „заботами суетного света“.

Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него пользы, как просто говорил Пушкин; требует, чтобы поэт „сметал сор с улицы“, „просвещал сердца собратьев“ и проч.

Для поэта же первое условие—достижение первого дела—(„освободить звуки из родной безначальной стихии“) — „бросить и заботы суетного света“ для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда „детей ничтожных мира“:—

„Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и сметенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы“.

Второе условие, второе требование Аполлона („привести эти звуки в гармонию“) — заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать гармонию. Это—область мастерства.

И, наконец, третье условие: „принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир“.

И здесь—„знаменитое столкновение поэта с чернью“.

Для „внесения в мир гармонии“ необходима, прежде всего, „тайная свобода“. Это—вовсе „не личная свобода, а гораздо большая: она тесно связана с первыми двумя делами которых требует от поэта Аполлон“.

— „Задачи поэта, как принято говорить у нас,—общекультурные; его дело—историческое. Это дело совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира.“

И вот этому делу чернь всячески препятствует. Она хочет отнять и „личную свободу“, ибо, как мы видели, требует, чтобы поэт „сметал сор с улиц“ и „просвещал сердца собратьев“.

В юности Пушкин сказал;—

„Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой“.

Перед смертью он повторил:—

Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать: для власти для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Двигая божественным природы красотам.
И пред созданиями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах „умиленья—
Вот счастье! Вот права“!..

„Все, перечисленное в стихах Пушкина, есть необходимое условие для освобождения гармонии“.

И борьбу с чернью, потерю необходимого условия для творчества—„покоя и воли“—Пушкин испытал на себе;—

„Слабел Пушкин—слабела с ним вместе и культура его поры; единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского“.

Приходила другая культура. Но Пушкину она не была понятна, ибо Пушкин воспитался определенными условиями, культурой своей поры. И когда эта культура умирает—ему „нечем было дышать: не было воздуха“.

И отсюда: „Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса“.

„Покой и воля необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю,—тайную свободу. И поэт умирает, потому, что дышать ему уж нечем; жизнь потеряла смысл“...

К этим словам Александра Блока надо особенно прислушаться. Больше: надо вслушаться в них. И тогда можно понять многое.

„Покой и волю“ отняли и у Александра Блока.

Если над смертным одром Пушкина раздавался „младенческий лепет“ Белинского, перешедший потом в твердые голоса Писарева, Добролюбова и Чернышевского—и поддержанный голосами тысяч—новой (по тогдашнему) России, то над смертным одром Блока раздавались „младенческие“ голоса миллионов повстанцев новой России. Голоса эти откликнулись „двенадцати“, тех, что грозно бросили;—

„Мы на горе всем буржуям,
Мировой пожар раздуем“.

„Двенадцать“, которым Блок отдал лебединую свою песню, погубили Блока.

Белинский приходил из другого мира, из мира, Пушкину чуждого. В лице Белинского рождался разночинец. И он—как родоначальник определенного общественного течения—нес свою культуру.

В лице „двенадцати“—выходцев „дна“, подвала и избы—приходил мир нищеты, желающий сделаться миром всесветного богатства—материи и духа. Миллионы рабов, старый мир низвергающие, несли свою культуру.

И Блок слышал ее поистине (пока) „младенческий лепет“. И ему исповедующему три необходимые условия творчества—несущему триединый, священный огонь Аполлона—этот „лепет“ (классовая культура, классовая поэзия и т. д.) был чужд.

„Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни.

Пусть же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей вынолнять ее таинственное назначение“.

Это Блок говорил за полгода до своей смерти. Это была его последняя речь. И последние слово этой речи были:—

„Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единственно и нераздельно“.

Но „двенадцать“ резко размежевали грани искусства. Они, разрушившие старый быт и уложившие в могилу „Прекрасную даму“ культуры этого быта, погасили триединый огонь Аполлона, погасили светильник, который нес Александр Блок, они отняли у него, как и у тех, кто стали теперь „великими молчальниками“ их доносимую чашу—„покой и волю“—покой и волю индивидуализма, разбили храм личности, обесценили то, что было ценностью великой, погасили огонь для того, чтобы раздуть его в огонь единый, единственно, нераздельный—общемировой и общечеловеческий.

Так должно быть и так—пока еще глухие, кладбищенские сумерки!—и будет. Когда?—Неизвестно. Надо верить.

В сумерки надо мечтать об утренних зорях. Затишье гнетет, но надо надеяться. Плакать о „Прекрасной даме“, старой культуры хотя она может быть и истинно-прекрасна, как Мадонна, не стоит. С прошлым—со слезами, быть-может, но надо проститься.

Александр Блок проститься с ним не мог, как не мог проститься с „покоем и волей“, необходимыми для того, чтобы принести в мир гармонию—конечную задачу поэта, как не мог проститься с тем, что гармония эта—гармония чуткой, божественно-вдохновенной души великого Моцарта будет ненужна и будет заглушена топотом и песнями „двенадцати“—кто знает может быть—иной, менее музыкальной, но более величавой гармонией?

Этого не мог понять Александр Блок. И отсюда—Блок умер тоже вовсе не от цинги. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура...

* * *

—„Революционный держите шаг.
Неугомонный не дремлет враг“!..

—„Двенадцать“, распинавшие ту Русь, которую „в рабском виде царь небесный исходил, благословляя“, а вместе с ним и все рабское, что было на Руси, прошли через жесточайшее лобное место—„сквозь строй“ голода и бойни и все таки—разрушили те траурные кресты, что возвышались на страдном лобном месте—проклятом „месте крови“—старой России.

„Белый венчик“ революции стал для Блока смертным венчиком. Блок, до конца дней своих не изменивший знамени своему, своей „Звезде-Марии“, умер. Рыцарь умер по рыцарски.

—...В древнем, седом замке жила прекрасная королева Изора. В замке был сторож Бертран—рыцарь-Несчастье.

Бертран любил далекую свою Изору—мученически, страдно, страдальчески-радостно. И когда Бертран пел, песня его была жалобна, как вздох:—

„О, любовь, тяжела ты, как щит!
Одно страданье несешь ты,
Радости нет в тебе никакой!
Что-ж пророчит странная песня?—
—Сердцу закон непреложный—
Радость—страданье одно!..
Как может страданье радостно быть?
—„Радость, о, радость—страданье,
Боль неизведанных ран“!..

Во имя Изоры Бертран—он был верный рыцарь!—уходил в земли неведомые—искать счастье Изоры, ради нее он бросался в битву: так сильна любовь.

Любовь сильнее смерти.—Странник Гаэтан отдал Бертрану черную розу—ту розу, которую бросила ему из окна прекрасная Изора.

Розу Бертран носил на груди—и она чернела пышно и скорбно, словно траурный панцырь. И роза несла крест—тяжелый, крест роковой, трагической любви.

Любовь принесла смерть: израненный в боях—во имя Изоры—он умер, охраняя покой своей „Прекрасной Королевы“.

И, умирая под окном Изоры, бедный Бертран—рыцарь-Несчастье влюбленно шептал.—

„Проклятые раны,
Не жгите мне сердца!..
Роза, роза, гори“!

Израненный рыцарь „Прекрасной дамы“ тоже умер на страже своего призрака. Правда, его „дама“ была—и это было теперь очевидно, как никогда,—„картонной невестой“ и над этой невестой злобно хохотали „двенадцать“ (а за ними тысячи)—Александр Блок любил ее по прежнему: мученически-остро и рыцарски-жертвенно, как несчастно-счастливым Бертран.

И умер, охраняя покой—покой забвения „дамы“ Призрака.

—...Где могила Блока?—Она, вероятно, так же незаметна, как тысячи других, умерших от голоды, тифа и цынги.

Но и это не кажется нам дерзким—может быть найдутся люди—юноша-романтик или правнучка Тургеневской Лизы (а ее непременно должны звать грузински - четко, звучно и красиво—Нина, или нежно и тепло—Ася, хотя она, вероятно служит делопроизводителем в статистическом бюро), которые придут к тихому кресту над могилой, чтобы бросить на него пыльное, темное пламя роз...

И темные розы повеют крест. И эти розы, как и крест, будут воспоминаниями об Александре Блоке.

„Роза и крест“...

— Мы все несем на себе тяжкий крест поэтического застоя, будней и глухих сумерек.

В сумерках мы мечтаем об утренних зорях.

Но пусть то, что оставил нам Блок—несколько томиков звучных, снежно-причудливых стихов—будут благоуханной розой—розой памяти революцией распятого поэта.

И будем беречь эту розу и будем любить ее—страдно и мучительно, сладко и нежно—так, как любил Изору рыцарь-Несчастье, так, как любил голубую „звезду-Марию“ истинный поэт любви—Александр Блок...

Ник. Смирнов.

На смерть Александра Блока.

И ты замолкнул, мой рыцарь бледный!
Уста недвижны и сон твой тих.
Допеты песни о снах Царевны
И заколдован твой нежный стих.

Влюбленный в призрачные туманы,
Так сладкозвучно ты пел один
О светлом сердце прекрасной дамы,
Пьеро печальных и Коломбин.

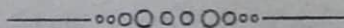
Любило сердце и пели строфы.
Но стрелы молний змеила твердь.
Со злой улыбкой,—как Мефистофель
У двери Гретхен—стояла Смерть.

Не в пору—Звездной и Снежной ночи
Взмахнуло Время седым крылом,—
Сырая осень закрыла очи
Того, кто грезил о Голубом.

И ты погаснул, в мечту влюбленный.
Печать молчанья у вещей уст...
Но вечен пламень, тобой зажженный;
Алтарь не гаснет и храм не пуст.

Все будет грезить и к солнцу рваться
Покамест дышет земная грудь!
Бессмертны в мире твои „Двенадцать“
И не закатен их дивный путь.

Ал. Луганский.



О Дмитрие Семеновском.

От редакции. Этот отзыв об одном из поэтов нашего красного края показывает, как внимательно относился Блок к начинающим писателям. Стихи Семеновского, о которых упоминается здесь, весной 1915 г. были собраны автором в три тетради—„Заревые Знамена“, „Иконостас“ и „Сомнительные стихи“—и отправлены в Петроград для издания отдельной книгой. Здесь стихи были пересланы Блоку, который и написал о них эту рецензию. Полагая, что для тех, кто влюблен в блоковскую Музу, дорога каждая строчка покойного поэта, мы помещаем эту нигде не опубликованную статью на страницах нашего альманаха.

Прочтя сначала подряд тетрадь „Заревые Знамена“, я не пленился ни одним стихотворением в целом. Русь, революция; природа, против войны, против жестокости, немножко рабочего быта и переводы. Можно различить разные веянья, которыми окружен автор—племенные веянья (общерусские напевы, образы) и литературные.

В родовом, русском—Семеновский роднится иногда с Клюевым, не подражая ему, но черпая из одной с ним стихии; это как раз то, что мне чуждо в обоих, что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по моему, жить невозможно: тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь. Особенно роднят Семеновского с Клюевым такие образы:

Телега—ржаная крауха—
Увязла в медовый раствор.

Медовым раствором назван навоз—это совсем уже плохо, даже независимо от сущности. А сущность—липкое, парное, ржавое. Можно погрузиться в этот мир, как во всякий настоящий и непридуманный мир, и поверить, что „двор—уж не двор, а дворец“, потому что там—„сокровища кала“, но тут скоро задохнешься. В этом мире нет места для страсти—она скоро превращается в чувственность, и веянием этой обезличивающей чувственности уже проникнуты порою „природные“ стихи Семеновского: страсть уже обескрылена там, где начинаются сравнения (эти „опоясанные тучки“, эти „сироты—овины“, „мохнатые снопы“, *) где начинают играть большую роль запахи, где постоянно близка ржавая болотная вода.

*) Особенно рискованы такие образы (их много), как „мохнатый сноп“; казалось-бы, это очень хорошо—ярко и сочно; но эпитет „мохнатый“ прилагается к животному, и в этой помеси растительного с животным начинает роиться чувственное, похотливенькое, мужичье. Сродни этому—„парная весна“ (не помню, есть ли у Семеновского). *Прим. Блока.*

Вся эта часть первой тетради, однако, более приемлема, чем та, где сказались разные—литературные влияния. Надо быть очень культурным (звеном в длинной культурной цепи), чтобы заимствовать первосортное. Проникаться культурным влиянием—дело очень сложное и не личное только (т. е. одних личных усилий и личной любви к культуре для этого мало), культура должна быть в крови; у Семеновского, кажется мне, недостаточно культуры, поэтому он сходен с разными образцами во второстепенном; а иногда чувствуется просто даже „насвистанность“.

За землю, за волю, за хлеб трудовой
Идем мы с врагами бороться.
В ком сердце горячее бьется,
На бой, на бой, на бой,

Это есть в каждом номере каждого пролетарского журнала.

Подлинный поэт чувствуется в авторе второй тетради—„Иконостас“. Здесь находят себе объяснение (хотя далеко не всегда—оправдание) главные недостатки Семеновского, и первейший из них—растянутость. Стихи эти длинные, как разглядыванье иконостаса во время длинных церковных служб, или, как знойный и пестрый день деревенской ярмарки, к описанию которой не раз возвращается автор.

Этими длинными стихами о русских святых—как они на иконостасе и как они двинулись в крестном ходу—я бы и открыл книгу стихов Семеновского, а все остальное отодвинул бы на второй план, притом—с большим выбором. Вышла-бы небольшая, но очень своеобразная книга. Может быть, и в основных стихах следовало бы кое-какие строфы выкинуть.

Почему-то, в отдел „сомнительных стихов“, к которым я отнес бы вообще гораздо больше, попали стихи со строфой о Божьей Матери:

Громадны очи на лице
Спокойном, высохшем и смуглом,
Каменья теплятся в венце,
Как месяц, золотом и круглом.

Это—по настоящему сказано. Дальше поразило меня приятно, после насвистанного и просвистанного „Взвихрись полымя алого стяга“— следующее:

Горя дрожащей бахромой,
Хоругви в небесах полощат.
Казачи с важностью немой
С коней оглядывают площадь.

Или:

С иконостасом на груди,
С борами на багровой вые,
Кричат народу: „осади“!
Сердитые городовые.

Поэт любит казаков и городовых, и не может иногда не любить, потому что он поэт, и непременно спорит с тем другим своим „я“, которое дробно барабанит: „Но восстанья пылающий сполох сжег до тла вековую тюрьму“.

То „я“ никогда не простит другому, для которого „толпа колеблется, как рожь“, которое слышит, как

Гремит разстроенный орган:
— „Когда б имел златые горы“...
Скотины рев, божба цыган...

Как все это хорошо!

Часто свойственно Семеновскому начать очень хорошо, а потом—сразу сбиться и вовсе свести на нет стихотворение. Таков „Ярославль“ с превосходными двумя начальными строками:

Скажи: „Ярославль“—и в душе загудит
Торжественный благовест медный...

Таков перевод с еврейского; великолепно первая строфа:

Если я умру, не печалься, милый,
И пока земля надо мной свежа,
Шумно расплесни над моей могилой
Алую хоругвь, знамя мятежа.

Дальнейшие три строфы гораздо слабее. Может быть, в этом виноват подлинник. Однако, я взял бы это стихотворение, но надо непременно переделать несколько выражений.

Тоже—в стих. „Товарищ“, хороша только первая строфа.

Много рассеяно в этих стихах признаков живого дарования; многое поется, видно, что многое и рождается из напева; рифма зовет рифму, иногда—новую, свою.

В тексте я местами сделал замечания, отмечая первоклассное знаком V, а второстепенное O.

Из рукописей для книги я взял „Праздник“, „Священник-большевик“ и перевод с еврейского. Из рукописей журнала **)—„Высокая и тоненькая жимолость“, „Звездным ликом в окно заглянула“ и „Мечтатель“ (перевод с немецкого).

В первом номере журнала следует напечатать „Праздник“—большое стихотворение в 2-х главах, слегка сократив его, если позволит автор. Оно характерно для автора и сразу покажет его во весь рост. Остальными взятыми стихами хотелось бы воспользоваться для журнала в будущем.

Книгу надо бы автору самому обработать, я боюсь взяться за это. Отмечал я довольно скупое, часто стал бы сам выкидывать целые строфы, не только строки, может быть, даже менять слова, а этого постороннему лучше не делать: как бы ни казалось слабо и ненужно, может быть за этим у автора стоит нераскрытый образ, который раскроется впоследствии. Посторонний человек всегда недостаточно бережно относится, что я испытывал и на себе когда-то. Секращать для журнала, пожалуй, еще можно, но и то лучше бы не надо.

Ал. Блон.

8 июня 1919 г.

—•••O : : O•••—

**) Подразумевается предполагавшийся в Петрограде журнал „Завтра“. Прич. редакции.

Визирова в а.р.
Осен. 1974.

Роковая раздвоенность.

(О Некрасове и его художественном достоянии).

В Некрасове боролись два начала—святое безумие и великий протестующий ум. Эта борьба сжигала силу его гения и он унес в могилу недосказанную и непознанную им самим истину о своем поэтическом достоянии.

Певец скорби и нужды народной, мститель за угнетенных, бунтарь и протестант против социальных противоречий, отобразивший в творчестве своем с большой художественной силой и захватывающим по правдивости реализмом русскую общественность того времени, он так определял свое назначение:

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведет.

Стихи мои, свидетели живые
За мир пролитых слез.

И он, в этих пламенных утверждениях, был прав. Он был властителем умов передовой интеллигенции и героически настроенной молодежи, не имея себе равного.

Но несмотря на такое искреннее самоопределение, несмотря на другое восклицание, говорящее о том, что патетическим мотивом поэзии в годину бед и горя не может быть то, чтобы

Красу небес, долин и моря
И ласку милой воспевать—

наконец, несмотря на условия того времени—времени брожения и борьбы идей, обособления новых течений общественной мысли, образования новых идеологий, презрения в угоду утилитарности и рассудочности ко всяческим формам в поэзии, когда сама жизнь требовала от поэта не чарующих таинственностью звуков лиры, а жертвы в стане погибающих за великое дело любви, когда верней было дело сказать:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата—человека,
Только тот себя переживет.

в глубине-то души Некрасов хотел себе признания прежде всего и как поэту, и как взыскательному художнику слова.

Это не трудно проследить по тем стихам Некрасова, в которых красными молниями перекрещиваются мысли и образы самоотрицания и самоотвержения, составляющим в целом дилемму, не имеющую однако ясного вывода.

А разве вся поэзия великого мастера, за малым исключением, своими поэтическими замыслами, изображением картин и обработкой внешних форм большинства стихов не говорит о том же?

И вот все таки, как вдохновенный-то зодчий, умевший будничные картины серенькой русской природы, повседневность и быт претворять в песнопениях в вечное горящее золото, маг, из уст которого исходили божественные для земли откровения, до болезненности тонко и образно (образность—в мнимой простоте) чувствующий художник,—он не оценил себя. Но размышлял он об этом мучительно на протяжении всего своего нового, после Пушкина, поэтического, бунтарского, в смысле бессознательного разрушения начинавших покрываться косностью традиций стихосложения, пути.

Упорные нападки сторонников эстетического индивидуализма и апологетов чистого искусства и какой-то особой вечной красоты поселяли в душе Некрасова раз'едающее творческие порывы сомнение и вызвали преувеличенную искренность лирической исповеди, доходящей до болезненного самоуничтожения и умаления высокой художественности своих бессмертных созданий. Рука извлекала у лиры двойственные звуки, ставшие роковыми при жизни писателя, остающиеся таковыми же и до наших дней.

Но отходя от навязанных извне сомнений, он старался утвердить в себе уверенность, что «поэт, избранник неба, глашатай истин вековых» не должен искусственно хлопотать о проявлении своих богатых даров, а

Будь гражданин! Служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви;
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоём труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
И из-под молота летит
И брыжжет сам собою пламень.

В такие моменты он наверно охватывал беспредельные горизонты своего художественного достоинства и пред ним возникали слова великого завета его предшественника-колосса:

Ты сам свои высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Но вот снова врывалась толпа, плевала на алтарь и колебала треножник. Пушкин это мог презреть, превозмочь, а Некрасов не мог,—он был не безразличен к мнению толпы.

Мучительное навязчивое стремление изнутри как бы разрешить проблему своих художественных ресурсов и не столько может быть перед критиками, сколько для самооценки, при присущей Некрасову гениальной скромности, увеличивало близорукость зоилов и врагов до полного отрицания ими поэтиче-

ских элементов в творчестве поэта мести и печали. Этот роковой стимул его душевного уклада и трудно победимое чувство стадности даже в литературных лагерях, являются следствием того, что и до сих пор не найдено устойчивого взгляда на поэзию Некрасова и продолжают существовать обидные противоречия и вялые тона оценок, защит и оправданий.

Во всей литературе о Некрасове—прижизненной и посмертной—существуют самые крайние взгляды на его поэзию и уделено больше времени и места тому, чтобы защитить от брошенных в него, как человека, нечистоплотных обвинений и меньше восстановить «в правах большого поэта». Когда дело доходит до определения основной сущности творчества «подсудимого», то исследования к сожалению в большинстве случаев отличаются повторением общих пахнувших архивной пылью фраз, анемичностью, недоговоренностью и недостаточной уверенностью. Не захватывает как-то. Не наблюдается углубления и достойных подходов к достоянию поэта—глашатая перешагнувшего через свою современность в далекое будущее, таких подходов, которые бы могли с неведомою силой ударить по сердцам читателей и так озарить умы, чтобы стала зримой и чуемой во всей полноте та сила слов живых, то таинственное, чем могуча и в чем очарование поэзии великого поэта. Или уж отвергнуть бы его, выбросить из своей души, как непоэта, в произведениях которого ничего великого и нет, нет никакого искусства, а есть одни лишь настроения момента, минутная восторженность, осколки преходящей современности.

Не наблюдается хороших трудов о Некрасове и в наши дни. Правда создались и создаются особые комиссии для исследования достояния поэта, но едва ли хотя и ученый, но казенный подход к тайне струн его даст желательные результаты.

Но вернемся к нашей теме и приведем для наглядности наиболее характерные материалы, отображающие споры о поэтическом сredo Некрасова, а также прислушаемся к роковым двойственным звукам лиры поэта.

Сочетавшиеся в Некрасове: великий озлобленный ум поэтоборца и святое безумие художественного гения, раждали такие звуки:

Я умру—моя померкнет слава.
Знай дитя: ей долгим ярким светом
Не гореть на имени моем:
Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.

Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Твой стих тягуч.

Нет, ты не Пушкин.

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый неуклюжий стих;
Нет в тебе творящего искусства.

Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догорая теплится любовь.
Как много сделал он, поймут
И как любил он, ненавидя.

О, муза! Я у двери гроба.
Не плачь! Завиден жребий наш:
Не надругаются над нами
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому кровному союзу.

И так на протяжении всего скорбного поэтического пути звучат струны. Психолог объяснил бы это повышенной болезненной чуткостью природы поэта, чуткостью души, отравленной нападками враждебных кругов и лиц и той мучительной казнью, которую он нес в сердце. Эта повышенная чуткость и ненормальная склонность к чудовищным преувеличениям какой-нибудь своей вины, может быть, привела Некрасова к такому мучительному падению на своем благороднейшем пути, как написание льстивого стихотворения в честь графа Муравьева. Эта чуткость, присущая гению поэта, как нам думается заставляла его также считать себя главным виновником происшедшего покушения Каракозова на Александра II, хотя он к этому делу был совершенно непричастен.

Если мы обратимся к мало замечаемому критикой стихотворению „Суд“ то может быть как нельзя более ясно постигнем роковое раздвоение души Некрасова вообще. В ожидании суда, Некрасову кажется:

И нечто странное со мной
Происходило. Боже мой!
То оправданья подобрал,
Я говорил себе: я прав!
То сам себя изображал
Таким злодеем, что дрожал
И в зеркало гляделся я...

В силу той же самой особой чуткости, надо полагать, Некрасова обвиняли в преувеличенном реализме, в сгущении красок при изображении действительности.

Большой спор о Некрасове, как человеке и об оставленном им литературном наследстве возник в то время, когда сестра народа — родная, бледная, в крови, кнутом иссеченная Муза, печальная спутница печальных бедняков пришла и закрыла глаза поэта на вечный сон небытия. Измученный жизнью, коварством надежды, задыхающийся от горя угнетенного народа и страстно призывавший к революционной буре

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу народного горя
Всю расплещи.

в сознании бессилья и в созерцании безмерных страданий сомкнул он вещие уста свои.

Над ладьей, уносившей в таинственные дали прах великого печальника скорби народной, художественного выразителя страдальческих дум и чувств забитой, хищниками заклеванной сермяжно-лапотной Руси, лились речи, благоговейно воздавались последние почести поэту-борцу благородными друзьями и всем передовым мыслящим Петербургом. И вот в этот незабываемый момент при повторении Ф. М. Достоевским когда-то высказанного Добролюбовым мнения, что преемником после Пушкина и Лермонтова в художественной литературе является Некрасов, раздались голоса:

—Некрасов выше Пушкина и Лермонтова!

А после поминок, в литературных кругах и в прессе вспыхнули споры и долгое время на разные лады с воинственным азартом повторялось

—Нет ниже!

—Выше!

Как сообщает современник Некрасова А. Е. Кауфман, присутствовавший при похоронах первый возглас протеста принадлежал редактору субсидированной реак-

ционной уличной газетки „Минута“ Баталину, с легкой руки которого как бы и загорелся после в печати весь сыр-бор, закипела словесная война, разыгрались страсти, долго не унимавшиеся и не приведшие к решительной победе ни ту ни другую сторону.

Первые выпады против Некрасова начались со времени выпуска им в свет первого сборника „Мечты и звуки“, в котором он, под влиянием поэзии Жуковского, являлся искателем „истинного романтизма“ и после в стихотворении „Поэт и гражданин“ вспоминал:

О, муза, гостьею случайной
Являлась ты душе моей?
Иль песен дар необычайный
Судьба предназначала ей?
Увы! Кто знает? рок суровый
Все скрыл в глубокой темноте.

Белинский в рецензии сделал приговор этой книжке: „Посредственность в стихах нестерпима“. По поводу той же книжки А. В. Никитенко—любимый профессор начинающего поэта сказал на лекции перед слушателями: „В ней (книжке) нет ни признака таланта, ни толку, ни ладу, а лишь одна вода да пустое рифмоплетство“.

И только впервые Белинский отметил талант в Некрасове после написания им стихотворения „В дороге“.

А. Е. Кауфман в своей статье „к Некрасовским поминкам“, напечатанной в № 11 „Вестника Литературы“ за 1921 г., группирует факты нападок на Некрасова: „В 1868 г. Некрасовым были уже написаны многие великолепные его стихотворения: „Рыцарь на час“, „Крестьянские дети“, „Размышления у парадного под'езда“ и много др., создавшие ему огромную и заслуженную популярность и сделавшие его кумиром молодежи, распевавшей многие его стихотворения. И в это время Тургенев пишет поэту Полонскому: „Г. Некрасов—поэт с натугой и штучками: пробовал я на днях перечесть его собрание стихотворений—нет, поэзия не ночевала тут—и бросил я в угол это папье-маше с поливкой из острой водки“.

Прошло еще два года, в течение которых поэтом напечатано еще несколько новых произведений, но Тургенев остался не только при ранее высказанном мнении о некрасовской поэзии, но отзывался еще более сурово в письме к Полонскому: „Я к ним (стихотворениям Некрасова) чувствую нечто вроде положительного отвращения... От них отзывает тиной, как от леща или карпа“.

Далее известно—сообщает Кауфман,—как разделявали Некрасова при жизни в 4 руки критик Антонович и Жуковский в посвященной ему полемической брошюре.

„Некрасов,—писал тот же Антонович в 1877 г. в журнале „Слово“,—не был собственно оригинальным поэтом, творящим и поющим в поэтическом увлечении: он творил холодно, обдуманно и строго сознательно“.

Поэт, бывший прокурор и адвокат С. А. Андреевский говорил о Некрасове, что последний пишет „рифмованной прозой“, опрозаичил поэзию. Добрые две трети его произведений могут быть превращены в прозу и не только ничуть не пострадают от этого, но даже выиграют в ясности и полноте.

А раньше Андреевского Тургенев писал: „Я убежден, что любители русской словесности будут перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому,

что в деле поэзии живуча только поэзия и что в белыми нитками сшитых, всяческих прянностях приправленных, мучительно высиженных измышлениях Некрасова,—ее-то, поэзии-то, и нет на грош“.

Из этих выдержек, приведенных Кауфманом, видно, что Тургенев был ярким, жестоким и непримиримым противником музыки Некрасова. Он неоднократно также называл поэзию Некрасова,—„рубленной прозой“, „в стихах его поэзия и не почевала“ и т. п. Совместно с Боткиным и Дружининым,—как сообщает Евгеньев-Максимов в книге „К стол. рожд. Некрасова“,—они обвиняли Некрасова в том, что он „слишком напирает на реальность изображения, отчего коробит людей с художественным развитием, режет им ухо, которое не выносит диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия заключается не в реальности, а в изяществе как формы стиха, так и в предмете стихотворения“. „Брось,—говорили они Некрасову,—воспевать любовь ямщиков, огородников и всю деревенщину. Это фальшь, которая режет ухо. Ты не обижайся нашей дружеской откровенностью, поверь нам, что такая реальность, как, напр., в твоём стихотворении „Еду ли по улице“ претит всякому, у кого развито эстетическое понимание поэзии. Это профанация описывать гнойные раны общественной жизни. Не увлекайся пожалуйста, что мальчишки и невежды в поэзии восхищаются твоими подобными стихами, а слушайся людей, знающих толк в изящной поэзии. Не ты первый, не ты последний из начинающих молодых писателей, сгубивших себя мнимым успехом между неучами, ничего не смыслящими в истинной поэзии“.

Л. Н. Толстой, в предисловии, написанном к роману фон-Поленца „Крестьянин“ считает Некрасова „совершенно лишенным поэтического дара“.

Даже Алексей Толстой может быть идейно, а может быть отчасти по причинам различных взглядов на искусство поэзии, предостерегал свою жену от знакомства с Некрасовым: „Я не буду доволен, если ты познакомишься с Некрасовым. Наши пути разные“.

М. Горький, отчасти признавая Некрасова, как поэта, а больше „пользовавшийся им для агитации и пропаганды“, на анкету, устроенную К. И. Чуковским, на вопрос: „как вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова поэзия и не почевала“—ответил: Это не вполне правда, но близко с ней.

Много бы и еще можно привести примеров, отрицающих Некрасова, как художника, но достаточно и этого. В задачу нашего очерка не входит касаться нападок на Некрасова с других сторон кроме художественной, но все-таки хотя один пример наиболее характерный и имеющий связь с нашей темой считаем нужным привести.

В покаянных стихах Некрасова есть такие строфы:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гини безупречно:
Умрешь не даром. Дело прочно,
Когда под ним струится кровь

И в другом месте:

Но жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом,
Я для нее не жертвовал собой.

Может быть за эти и подобные строки другой поэт Никитин, жаждавший полной гармонии слова с делом, написал стихотворение „Поэту-обличителю“, посвященное Некрасову, в котором он видел человека слишком мало принесшего жертв за свой народнический идеал:

Нищий духом и словом богатый
По наслышке о всем ты поешь
И бесстыдно похвал ждешь, как платы,
За свою всенародную ложь.

Но как не изобилен запас „перлов“ антагонизма к реалистической поэзии Некрасова, лишенной сумеречных настроений и проникновений в таинственные основы жизни и космические процессы мироздания, все таки он имел счастливую судьбу при жизни, пользуясь признанием не только широких кругов кающейся передовой интеллигенции и молодежи, но и властителей умов последней —Белинского, Чернышевского, Добролюбова и др., не исключая даже врагов, как напр. Тургенева, который однажды сказал:

—А Некрасова стихотворения жгутся.

Белинский неоднократно восхищался талантом Некрасова и в одном частном письме у него есть такая фраза: „Что за талант у этого человека! И что за топор его талант“.

Добролюбов на страницах „Современника“ писал о Некрасове: „После них (Лермонтова, Пушкина и Кольцова) нужен был поэт, который бы сумел осмыслить и узаконить сильные, но часто случайные и как будто безотчетные порывы Кольцова и вложить в свою поэзию положительное начало, жизненный идеал, которого недоставало Лермонтову Нет ни малейшего сомнения, что естественный ход жизни произвел бы такого поэта; мы даже можем утверждать это, не как предположение, но как совершившийся факт“.

Чернышевский видел в Некрасове единственную прекрасную надежду нашей литературы. Например, перед смертью Некрасова, он писал Пыпину: „...я убежден: его (Некрасова) слава будет бессмертна. Вечна любовь России к нему гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов... Как поэт он, конечно, выше всех русских поэтов“.

К. И. Чуковским приводятся слова, высказанные в годы возникновения в России модернизма знаменитым художником И. Е. Репиным: „Сколько бы не иронизировали эстеты над поэзией Некрасова, значение поэта гражданина велико и вечно“.

Незадолго до прихода в литературу модернистов Дм. Мережковский, не принимая те стороны поэзии Некрасова, где он становится на точку зрения чуждую великому свободному искусству, утилитарную, исключительно экономическую, на служение злобе дня,—превозносит Некрасова—великого и свободного поэта, который помимо своей воли (?) творил „не для житейского волнения“, поэта-мистика: он (Некрасов) вовсе не журнальный „боец“, не служитель злобы дня, а такой же вечный поэт, как Пушкин, Лермонтов. Мы имеем право, мы должны гордиться Некрасовым и перед Европой. Он один из самых сильных русских художников, один из представителей оригинальных задатков русской культуры. Он навсегда останется велик тем, что открыл новую красоту, нашел в струнах современной лиры новые, до него еще никому неведомые звуки песни жгучей, беспредельной любви к народу. Некрасов бессмертный русский поэт“.

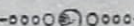
Вслед за Мережковским признали величайшую силу художественного таланта в Некрасове,—Бальмонт, Брюсов, Андрей Белый и др.

А. Е. Кауфман недавно высказал в „Вестнике Литературы“ мысль, что в поэзии Некрасова форма соответствует содержанию, что он обогатил русскую поэзию новыми сюжетами и формами.

Приведенных восторженных признаний достаточно, чтобы увидеть воочию какого гиганта от поэзии мы имеем перед собой в лице Некрасова. Некрасов далеко перешагнул в будущее через головы современников и даже мы, только еще подходим к тому месту, где утвердился занесенная им нога. И когда читаешь о том бичевании, которому подвергался поэт за служение „другой неласковой и нелюбимой Музе“, приходит мысль, что слепа была враждебность противников и голословна. Уже одно то, что Некрасов не был индивидуалистом и не страдал личным горем, доказывает несубъективность его покаянных песен. Его „я“ в этих песнях—„я“ русского общества, больше того всечеловеческое. Современность должна выдвинуть совершенно иной подход к поэзии Некрасова, она должна окончательно выжечь ту раздвоенность, которая закрадывалась в душу Некрасова, которой болели его современники и не отделилась окончательно наша литература до сегодняшнего дня. Мы должны стать свидетелями пришествия в жизнь Музы Некрасова в настоящих ее одеждах, как великой футуристки, как русского и всечеловеческого Уота Уитмана. Роковое раздвоение должно быть окончательно приведено к единству взглядов, что в Некрасове сочетались великий вещей ум вождя и великий художественный гений.

Да, настало время. Только преданная идущая рука об руку с народом интеллигенция и „широкие лапти народные“ сумеют проторить пути к тайне некрасовского творчества.

И. Жижин.



Ессе Homo.

— „В поэзии Пушкина есть небо; но им всегда проникнута земля“.

Белинский.

Давно это сказано о Пушкине, но за 70 лет слишком, протекшие со смерти Белинского, не было других слов, в которых так просто и верно, глубоко и ярко были бы выражены и существенное содержание и основной тон поэзии Пушкина. Не земля и небо в их особенности, а земля и небо в их живой слиянности, как единое человеческое сознание, единый творческий порыв, единое разумение жизни. И земля-до краев, и небо-до вершин.

И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дальней лозы прозябанье...

Именно так: „все любить, все в самом себе вместить“ (Полонский)—в этом гений Пушкина, и здесь его право на усвоенный ему еще Гоголем почетный титул „великого зодчего, воздвигающего огромное здание чисто русской поэзии“. „Страшные граниты положены в фундамент“, а на нем—„стены и купол—во славу векам“ (письмо к матери, окт. 1831 г.). И не столько право, а и самую возможность стать „родоначальником русского искусства“ один из даровитейших учеников Пушкина—Гончаров видит в том, что в нем „кроются все семена и и зачатки“. И разве не показательно для этой изумительной, „чудесной“ всеобъемлемости его гения, что именно к нему, Пушкину возводят начало и самый разум нашей поэзии, такие не похожие один на другого, как Тургенев и Достоевский, в своих знаменитых речах на открытии памятника Пушкину в Москве сказавшие, каждый по своему, что Пушкин—наш, русский, народный поэт.

Своим, родным был Пушкин и тому „счастливицу“ который „из доступных миру наслаждений влять умел все, чем прекрасен удел“ (Некрасов „Тургеневу“), —и тому несчастливцу, который начал эшафотом, жил в „мертвом доме“, а когда вернулся к живым, „страдал душою“, и чье творчество—„земный поклон страданию“. И „музыкальный талант“ и „жестокий талант“ сошлись у памятника Пушкину, и торжественно, всенародно объявили, что он—учитель их.

И как рано, удивительно рано, на этом земном, нашем, человеческом лице поэта засветилась, заиграла улыбка небес. Он—еще ребенок, ему всего только 14 лет, а „вещие зеницы“ уже отверзлись, он видит жизнь, и, видя и ведая ее, благословляет и поет. Первый взлет орленка, „Городок“, и в нем удивительное начало и еще более удивительный конец. Эта „добренькая старушка“ и этот „добрый сосед“—майор, ведь, это родители „капитанской дочки“,—первый и такой совершенный этюд с натуры, гениальное начало многолетних и многодумных поисков поэта в направлении той „правды“, найти и „возвестить“

которую было задачей его жизни и его творчества. И разве не явилось уже здесь то величие, о котором другой, безмерно великий, сказал, что оно там, где „простота, добро и правда“. И как характерен для Пушкина стих. „Городка“, как музыкален он, и как прост; как рано в сердце своем нашел он.

„Созвучия своим созданьям“...
Помните:

..... для развеченья
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок,
У добренькой старушки
Душистый пью чаек.
Не подхожу я к ручке,
Не шаркаю пред ней,
Она не преседает,
Но тотчас же вестей
Мне пропасть наболтает.
Газеты собирает
Со всех она сторон.
Все сведает, узнает:
Кто умер, кто влюблен,
Кого жена по моде
Рогами убрала,
В котором огороде
Капуста цвет дала;
Фома свою хозяйку
Ни за что наказал,
Антошка балалайку
Играя разломал...
Старушка все расскажет,
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает все свое.
А я сию смиренно,
В мечтаньях углубленный,
Не слушая ее...
Иль добрый мой сосед,
Семидесяти лет,
Уволенный от службы
Майором отставным,
Зовет меня из дружбы
Хлеб соль откусать с ним.
Вечернее пирушкой
Старик развеселясь,
За дедовскою кружкой
В прошедшем углубясь
С очаковской медалью
На раненой груди,
Вспомнит ту баталью,
Где, роты впереди
Летел навстречу славы
Но встретился с ядром
И пал на дол кровавый
С булатным палашем.

Так начал он свой трудный путь, земной, но к небу, и не сходил с него всю жизнь. И правду, простую и вместе великую правду, сказал о нем Гоголь: „на то и призвание поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде“.

Как осуществлял он это призванье?.

Есть весьма упрощенное и довольно распространенное представление о поэте: „пришел, увидел и запел“. Для многих и многих, и долгое время, таким казался Пушкин, и думали, что в Моцарте он шел от себя, дал свой автопортрет.

О, небо! говорит Сальери:
Где же правота, когда священный дар.
Когда бессмертный гимн не в награду
Любви горячей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан,
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного...

Не знали, что „при всей наружной легкости его прелестных стихотворений, Пушкин мучился над ними по часам и суткам и в каждом почти стихе было бесчисленное множество помарок“.

Провозгласили Пушкина великим, вписали его имя в литературные святцы и никак не хотели, не умели, не могли понять это величие, почувствовать эту святость. И о великом особенно охотно вспоминали малое, святого винили во многих и тяжких грехах.

Помнили и повторяли слова поэта.

„Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман“

и забыли, или не знали тех слов, что перед этими—

„Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной
Он угождает праздно.

Забыли или не знали, что еще в „Руслане и Людмиле“ он указал свою задачу в том, чтоб „миру музы своенравной

Во лжи прелестной обличить“ и—„правду возвестить“.

Пушкин Жуковского, Пушкин Незеленова, „Подсахаренный“ Пушкин Айхенвальда... Его поставили в литературную божницу, ему молились, но его не любили, к нему оставались почтительно холодны. И лишь немногим был близок и понятен Пушкин настоящий, тот, что сказал:

„Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать“...

„Он был охотник до смеха“—сказал о Пушкине Гоголь; но он умел и плакать „слезами обливаться, и не только над вымыслом, а и над той действительностью, о которой, слушая „Мертвые Души“, „голосом полным тоски“ говорил: „Боже! как грустна наша Россия“!

Охотно сближали Пушкина с Онегиным и повторяли:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей.
К чему бесплодно спорить с веком:
Обычай—деспот меж людей.

И забыли, или не знали, что Пушкин сказал это в I-й главе „Евгения Онегина“, а в 8-й говорил о том, что

„Несносно видеть пред собой
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед зачинною толпою
Идти не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей“.

Ни хотели, иль не умели, понять, сочувственно пережить тех „сердца горестных замет“, что множатся и растут и все глубже уходят и уводят в жизнь и поэта и читателя, по мере того как все дальше уходят они—и поэт и

читатель—от бравурного начала романа и все ближе подходят к трагическому концу его. Ведь „добрым приятелем“ Пушкину Онегин был в 1823 году, а в 1830—он был ему же „спутник странный,“ которому, устами Татьяны, он произносит суровый, уничтожающей приговор:

„Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?“

Следует еще и еще вспоминать о Пушкине и сочувственно переживать с ним то „роковое“, „стеретипное“, с которым встречался он на каждом шагу своего трудного, но и победного шествия по земле, по нашей русской земле, к небу „всечеловеческого“, как сказал Достоевский.

Будем вспоминать. На одной странице черновой тетради Пушкина мы видим виселицу с пятью головами декабристов, и тут же—„и я мог бы“... „и я мог бы“... несколько раз. В известном письме к Жуковскому из Михайловского (от 31 окт. 1824 г.) читаем: „Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бестыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом... Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre cefies dénature...“ „Воля твоя, тут и поэзия не поможет!“ (Жуковскому, от 24 ноября 1824 г.). Далее. Узнаем, что „Его Величеству благоугодно“ было, чтобы поэт переделал драму „Борис Годунов“ в историческую повесть. И т. д. и т. д.—вплоть до пожалования камер-юнкером: „говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым...—„ни за какие благополучия...“ (письмо к жене, от 17 апр. 1834 г.). „Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклемен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него, как на свою собственность“ (Египетские ночи).

Поднимите и взвесьте всю тяжесть этого „позора мелочных обид“, и вы признаете скорбную правду этих горьких, страшных слов Пушкина: „чорт меня догадал родиться в России с умом и талантом!“...

Мы знаем, что Пушкин в 1828 году написал такое глубокое и такое скорбное „Дар напрасный, дар случайный“; но может быть, мы не задумывались на датой стихотворения, которая поставлена вместо его заглавия—„26 мая 1828 года.“ Ведь, это—день рождения поэта, и слова, тяжелые, мрачные слова о „жизни, осужденный на казнь“, о „враждебной власти, из ничтожества воззавшей“ и т. д.—это думы поэта в тот день, когда он справлял 29 ую годовщину своего появления на свет и ставил и решал вопрос о смысле этого появления.

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Но позвольте напомнить и еще одно стихотворение, относящееся к 1833 г.

Не дай мне Бог сойти с ума;
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад.
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я гледел бы счастья полн
В пустые небеса.
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут:
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.
А ночью слушать буду я,
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой лесов,
А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных
Да визг, да звон, оков.

Так, это была для Пушкина та самая жизнь, о которой другой поэт сказал:

„Тягостна для нас жизнь,
В сердце бьющая могучею волной
И в грани узкие втесненная судьбой.

И однако Пушкин вышел из этих душных и темных ущелий и тупиков российских. Вспомним „Вакхическую песню“.

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и шлет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Это «солнце святое» горело в нем, и, освещенная и согретая им, темная и холодная жизнь наша давала видеть поэту, а чрез него и нам, ту красу, что вечно сияет, то добро, что вечно живет,—видеть их не в отвлечении от жизни, а именно в ней, в целом человеческого бытия, такого сложного, событийного, волнующегося, как море-океан». Из бездонных глубин этого океана поднимаются и сталкиваются, и борются добро и зло, правда и ложь, красота и безобразие. Для „вещих зениц“ открыто все, „чуткому слуху“ внятен „всякий звук“... И видит и ведает пророк, „противоречие сущности и нам даст их видеть и знать. Алеко, Онегин, Борис, Мазепа, Сальери, Барон, Пугачев... Но рядом—старый цыган, Татьяна, Пимен, Петр, Моцарт, Альбер, Савельич...

„Жизнь есть действие, а действие есть борьба“—говорил Белинский. И победа—говорит Пушкин. Побеждает, все-таки, жизнь, а не смерть: „У гробового входа младая будет жизнь играть“...

Вспомним „Гимн чуме“, который поет председатель.

Когда могучая зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов,
Навстречу ей трещат каминны
И весел зимний жар пиров.
Царица грозная чума
Теперь идет на нас сама,
И льстится жатвою богатой,
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой.
Что делать нам? И как помочь?

Как от проказницы-зимы,
Запремся также от чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы—
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие чумы!
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в раз'яренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане
И в дуновении чумы!
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неиз'яснимы наслажденья.
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Итак, хвала тебе, чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье
Быть может—полное чумы
Побеждает жизнь.

Но эта конечная победа жизни над смертью, т. е. добра над злом, правды над ложью, красоты над безобразием, эта победа не дается человеку, она берется им в напряженной борьбе, вовсе не исключающей, а предполагающей, в отдельных случаях, и поражения, и катастрофы.

Прошло сто лет, и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколение миновалось—
И с ним исчез кровавый след
Насилия, бедствий и побед...

Исчезают насилия, бедствия, победы... Исчезает все, что от Мазепы,—от злобы, эгоизма, лжи. Что остается? И остается ли? Да, остается; живет и жить дает—что?

Что от Петра,—от любви и правды.

Так, в том же 28 году, когда, весной, поэт готов был крест поставить на жизни, осенью написалась „Полтава“, где жизнь взята и испытана в наиболее трагические моменты, и в ней найден и показан нерушимый, вечный смысл.

Как объяснить это решительное утверждение разумности бытия после не менее решительного отрицания? Где оправдание этому „есть, остается“ после того „нет ничего“, „все пусто“?

Приятие или неприятие мира есть, в конце концов, приятие или неприятие человеком самого себя, а именно теперь, в 28 году, когда писалось VII глава „Евгения Онегина“, Пушкин, после долгих и тягостных исканий, сомнений, отрицаний, окончательно и совершенно находит себя, преодолев в себе онегинство и сказавши о нем то слово, которое разрешало загадку не только для Татьяны, но и для самого поэта:

Уж не пародия ли он?..

Тот, кто был еще в 23 году „добрый мой приятель“, теперь уж „современный человек, с его безнравственной душой, себялюбивой и сухой, мечтательно преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом“...

Как Лермонтов от демона; так Пушкин от Онегина „отделался стихами“... Вопреки известному утверждению Белинского, именно в „Онегине“ Пушкин осознал „принцип класса“ и, осознав, отверг его, поднялся над барским „сomme ij faut“ и с высоты „человеческого“ „всечеловеческого“ осудил классовое. Великий человек победил большого барина, и в этой победе объяснение тому, что „однозвучный жизни шум“, и теперь, как прежде, и даже сильнее, чем прежде, внимаемый „чутким слухом“ поэта, не томит его тоскою: он слышит „Гармонию“ жизни и „упивается“ ею.

И ведаю: мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья.

Пушкин рассказал нам, как совершилось в нем это рождение в новую жизнь, и эта „трудная повесть“—одно из самых дорогих среди многих признаний откровенного поэта. Это незабываемое „Воспоминание“ относится к тому же 28 году. Прочтем его:

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Он видит „в праздности, в неистовых пирах“, „в хладном свете“ свои „утраченные годы“. И здесь, в этом видении себя „утраченным“ начало обретения себя: он „оставляет заблуждений путь“, и окончательно и совершенно порывает с великосветской „чернью“:

Подите прочь!...
Душе противны вы, как гробы...
Осознав, осужден, оставлен „свет“. Вспомним...
А мне, Онегин пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск и шум и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище...
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

Так пришли для Пушкина „другие дни“ и с ними начались „другие сны“... Те чувства, что были, прошли „иль изменились“... „Тревоги прошлых лет“, мирно почили, „высокопарные мечтанья“ „смирлись“... И улыбка небес снова засветилась на скорбном лице поэта. И радостно почувствовал он, как опять—и теперь навсегда „исчезают заблужденья с измученной души“ его и „возникают в ней виденья первоначальных чистых дней“.

Прочитаем эти удивительные, умиляющие строки XLV строфы VI главы „Евгения Онегина“.

„Так полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я,
Но так и быть, простимся дружно,
О, юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою
Среди тревог и в тишине
Я наслаждался и вполне,
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть...

В сущности, он не был новым этот путь жизни и творчества. Что пройдено, то—перепутье, „большой крюк“—как говорил о себе Гоголь. „Влачась в пустыне мрачной“, в „мертвой области рабов, капральства, прихотей и моды“, Пушкин не терял из вида тех „путей и дорог к прекрасному“ (Гоголь), что едва-едва намечались нашей общественной мыслью „в степи мирской, печальной и безбрежной“, но которые, „орлиным взглядом поэта были уловлены еще в самом начале его поэтических восприятий жизни, еще в пору „Городка“.

Уже в 3-й главе „Онегина“, в 24 году, „в тени лесов Тригорских“, Пушкин думал о том, как он перестанет быть поэтом и „Фебовы презрев угрозы унизится до смиренной прозы“, и

„Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат...
Не муки тайного злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства
Любви пленительные сны,
Да нравы нашей старины...

Прошло три года, из них два года вынужденного отшельничества в Михайловском, и 3-й, когда поэт вновь встретился со светом, и вновь услышал „друзей придательский привет“, и вновь почувствовал, только сильнее, только больнее, чем прежде, как „сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды“... И в 43-й строфе VI главы „Онегина“ Пушкин видит уже перед собой этот новый—старый путь. Он говорит:

Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью—рифму гонят,
И я—со вздохом признаюсь—
За ней ленивый волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы,
Другие, хладные, мечты,
Другие, строгие, заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души...

Большой крюк барства кончен, перепутье Онегинства изжито. Поэт вышел на прямую, большую дорогу человеческого.

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи,
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых...

Творчество великих писателей есть деятельность в высшей степени сложная; наряду с моментом эстетическим в нем есть момент этический. Эта тяга к вопросам нравственного порядка особенно сильна в нашей художественной литературе. Поэт—пророк; его призвание—«глаголом жечь сердца людей»; обличая злобу и порок, он возглашает «любви и правды, чистые учения». «Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде евангелия»—говорит один из русских писателей. «Мы живем в стране—говорит другой, где только писатель может быть глашатаем правды, беспристрастным судьей пороков своего народа и борцом за его интересы. Только он может быть таким, и таким должен быть русский писатель». И русский писатель был таким. А первым, кто словом власть имеющего сказал о долге и праве писателя быть пророком, был Пушкин.

Но право поэта быть пророком, утверждается чрез великий и трудный искус, состоящий в созидании поэтом в себе человеческой личности. «Писатель, говорил Гоголь, если он только одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде, как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо. Иначе все будет невпопад» (письмо к Жуковскому от 29 дек. 1847 г.). Ибо трудно помышлять об устройении души другого, когда собственная душа неустроена (письмо к Шевыреву, от 6 окт. 1843 г.).

В этой тяжелой и долгой работе самоанализа, самосуда и самостроения поэт располагает такими приемами и средствами, которые недоступны никому другому. Свои утверждения и отрицания, свои предположения и решения он поверяет, «переводя разумное сознание в чувство» (Л. Толстой: «Что такое искусство?»). Идеи и принципы «воплощенные в плоть» образов, перестают быть чистыми понятиями и становятся людьми и фактами и, комбинируя их на разные лады, поэт наблюдает соответствующие результаты—так, как если бы пред ним была жизнь. «Каждая мысль, говорит Лев Толстой, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна, и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно словами, описывая образы „действия, положения“. Так создает поэт „действительность во втором экземпляре“. В этой „иллюзии мира“ естественно и неизбежно присутствует он сам и живо чувствует и радость достижений и тяготу ошибок. Оттого „дорога писаний“ есть вместе и жизненный путь писателя. „Никак не в силах я писать мимо меня самого“—пишет Гоголь Языкову (от 14 июля 1844 г.), отвечая на его запрос: пишутся ли „Мертвые Души“: „а должен ожидать себя. Я иду вперед—идет и сочинение; я остановился, нейдет и сочинение“.

Так и для Пушкина „Труд многолетний“ над „Евгением Онегиным“ был вместе с тем и трудом над самим собою: осознав и осудив в себе Онегина он стал Пушкиным. Теперь он может и должен сказать „правду, возвестить которую было его жизненной задачей и высоким поэтическим призванием“.

Где Онегины, там нет правды; но правда есть, где она? В безвестном Горюхине, в Белогорской крепости... „В последнее время, вспоминал Гоголь о Пушкине, набрался он много русской жизни и говорил о всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило лучших его стихов; но еще замечательнее было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить в нем еще больше жизнь“.. „Простое величие простых людей“—так выражает Гоголь сущность нового взгляда Пушкина на мир,—взгляда, которым определились и его личное миропонимание и его художническое мировосчувствование. „Много готовилось России добра в этом человеке“.. говорит Гоголь.

„Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас“.

„Добрые приятели“ не могли простить Пушкину уж и того, что он разоблачил их и, снявши с них Герольдов плащ, показал москвичей. Но великий поэт пошел дальше: рядом с человеком—„пародией“ из большого света он поставил настоящего человека из большого мира. „Вы не люди“—сказал Пушкин Онегиным. „Люди—вот: Белкины, Мироновы, Симеон Вырин, Савельич.. А вы—„подите прочь“!

Уйти и дать место другим—бывало ли это гденибудь, когданибудь?! „Нет, ты уйди“... Закричали пророку... „Натуры гениальные—говорит Герцен „Consoletio“), входя в обычные людские отношения, нарушают равновесие; среда, их окружающая, им узка; невыносимо их жмут отношения, рассчитанные по иному росту, по иным плечам и необходимые для тех плеч. Все, что давило по мелочи того и другого, все, о чем толковали в разбивку и чему покорялись обыкновенные люди, все это вырастает в нестерпимую боль в груди сильного человека, в грозный протест, в явную вражду, в смелый вызов на бой; отсюда неминуемо столкновение с современниками.

Толпа видит презрение к тому, что она хранит, и бросает в гения камнями и грязью—до тех пор, пока поймет, что он был прав“.

Началась сознательная и жестокая травля, и

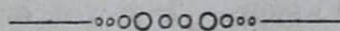
Погиб поэт, невольник чести...

„Не вынесла душа поэта позора мелочных обид“... Количество старой силы было слишком велико, чтобы его можно было преодолеть одним качеством новой силы... А те, кто душой были с ним и с кем была его душа, далеко, физически далеко, были от него. „Читатель! Где ты?—отзовись!..“ Этот зов, почти безнадежный, мы слышали гораздо позднее. А Пушкин? „Восстал он против мнений света один, как прежде.. и убит“...

Но жизнь, но историческая необходимость была не с ними, „надменными потомками известной подлостью прославленных отцов“..., не с убийцами Пушкина, и не за них, а с убитым. Пушкин пророчески предвосхитил тот величайший сдвиг нашей общественности, по линии которого, углубляясь и усложняясь вместе с ним, развивалась и выявлялась наша художественная мысль в течение века после Пушкина, преодолевая иль разрушая в общественном сознании, а чрез него и в жизни, те пережитки, что не давали осуществиться „простому величию“ и препятствовали появлению на нашей исторической авансцене „простых людей“, а вместе образуя иль укрепляя в нашем сознании, а через него и в жизни те начала, что рано иль поздно обеспечат право и самую возможность быть у нас „простому величию простых людей“.

И пойдут они к „нерукотворному памятнику“ своего Пророка, и, пробитая ими, не зарастет к нему „народная тропа“.

И. Смирнов.



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ОТДЕЛ.

Закон сохранения энергии.

В 1842 году немецкий ученый *Роберт Мейер* впервые указал на один общий закон природы, который в настоящее время носит название закона сохранения энергии. Чтобы выяснить содержание этого закона, надо сказать несколько слов о работе и энергии.

Мы говорим, что тело имеет энергию, когда оно может производить работу, расходуя свою энергию. Так тело, поднятое на известную высоту над поверхностью земли, обладает энергией: потому, что, падая под действием земного притяжения, оно может выполнить работу. Если к данному телу привяжем один конец нити, нить перекинем через блок, а другой конец нити привяжем к другому более легкому телу, то при падении первого тела второе будет подниматься за счет энергии первого тела. Таким образом первым телом будет произведена работа, выразившаяся в поднятии второго тела на определенную высоту. В то же время первое тело потеряет часть своей энергии, так как его расстояние от земли уменьшится. Мы видим, что наше тело работает, и работает за счет своей энергии.

Шар, движущийся по горизонтальной плоскости тоже обладает энергией и может совершать работу, встретив какое нибудь другое тело, наш шар может это второе тело передвинуть, сообщая ему скорость за счет своей скорости. Поэтому мы говорим, что существует энергия движения тела, и эта энергия тем больше, чем больше скорость тела.

Человек, разбивающий ломом камень, работает: он затрачивает энергию своих мускулов во-первых на то, чтобы поднять лом, во-вторых на то, чтобы сообщить ему быстрое движение вниз. Человек, израсходовав часть своей энергии, передал ее лому, который поднят на определенную высоту и которому сообщена известная скорость. Лом падая, разбивает камень, т. е. производит работу, теряя сообщенную ему энергию. Прошла ли эта последняя энергия? Нет! Лом, разбивая камень, во-первых сообщил осколкам камня энергию движения, во-вторых нагреется сам и нагреет камень. Остается только прибавить, что то тепло, которое здесь развивается, представляет из себя тоже одну из форм энергии. Что это действительно, так вытекает из следующего: выше мы определили энергию, как нечто такое, за счет чего может быть произведена работа. А мы знаем, что за счет тепла может быть создана работа: так, например, паровая машина работает благодаря нагретому пару, при исполнении

работы пар обращается в воду, т. е. теряет часть своего тепла. Другой пример: пища, поступающая в наш организм, в нем перегорает. От этого последнего процесса развивается тепло, которое расходуется на умственную, волевою и механическую работу человека. Человек, плохо питающийся становится вялым, он плохо работает во всех отношениях. Это потому, что количество пищи полученное им недостаточно при нормальной работе человека. В примере человека, работающего ломом мы проследили переход энергии из одной ее формы—мускульной энергии человека в другие. Закон сохранения энергии говорит, что если один вид энергии исчезает, то всегда на место его возникает одинаковая величина других видов энергии. В нашем примере затраченная мускульная энергия равна энергии лома, энергия лома равна тепловой энергии—энергии движения осколков камня. Сумма возникших видов энергии всегда равняется сумме затраченных.

Русский ученый *П. Н. Лебедев* установил опытным путем, что свет, падая на закопченную пластинку, оказывает на эту пластинку известное давление. Это давление подобно давлению ветра на крылья мельницы. Можно представить себе такую миниатюрную мельницу, крылья бы которой приводились в движение светом. Аналогичное явление—возникновение давления было замечено и при звуковых явлениях. Отсюда и, конечно, из ряда других наблюдений мы заключаем, что свет и звук имеют энергию и могут работать за счет своей энергии. Затем в явлениях природы имеют место др. формы энергии. Энергия химическая, электрическая и т. д. Все явления природы заключают в себе непрерывный переход энергии одного вида в другой. При этом переходе сумма возникших видов энергии всегда равняется сумме затраченных.

Пока закон сохранения энергии еще не был точно формулирован, многие люди, и в числе их даже люди науки, старались устроить машину, которая бы сама собою работала, создавала бы работу из ничего. Думали устроить, например, молотилку, которую не нужно было бы приводить в движение внешними силами; она сама бы себя приводила в движение и работала. В настоящее время подобного рода заманчивым мечтам положен конец. Наука говорит, что такой вечный двигатель—*perpetum mobile*—невозможен, так как он противоречит закону сохранения энергии. Закон этот совершенно точен и не допускает никаких исключений. Если иногда при наших расчетах получаются кажущиеся отклонения от закона сохранения энергии, то причиной этого является то, что мы при расчетах какой-нибудь вид энергии не учли. Этот закон не только точный, но общий, притом самый общий, какой только можно себе представить. Действительно все процессы наблюдаемые в природе, будь то падение камня на землю, пищеварение организма и т. д. все регулируется законом сохранения энергии.

Значение рассмотренного здесь закона для науки огромно.

Всякое явление нашей природы всегда сопровождается переходом энергии из одной формы в другую. И вот мы видим, что для всех, решительно всех явлений существует один общий закон—закон сохранения энергии.

Проф. **К. Н. Шапошников.**

Использование азота воздуха.

Азот является главной составной частью, (около 79⁰/₀ по об'ему) окружающей наш земной шар, атмосферы. Он представляет собой бесцветный, лишенный запаха и вкуса газ. В воздухе он находится в элементарной форме, т. е. в свободном состоянии, не связанный химически с каким либо другим элементом. В связанном же состоянии он встречается в природе в больших количествах в немногих местах в виде селитры (соли азотной кислоты). Далее азот входит в состав многочисленных лекарств, красок, взрывчатых веществ и является необходимым элементом всякой живой материи, чувствительность которой и способность к изменениям приобретает благодаря присутствию неустойчивых азотистых соединений. Всякая живая материя нуждается в азоте.

Самые важные части нашего тела, как мускульное, нервное и мозговое вещество, а следовательно, все самые деятельные части в организме построены гл. обр. из азотистых соединений. Каждое движение нашего тела, каждое мускульное сокращение, ощущение приятного и неприятного связано с потерей громадного количества миллионов молекул азотистых соединений. Постоянная же трата азота должна совершаться экономно и разумно, так как иначе животное и растение может погибнуть. Эту постоянную трату азота люди и животные пополняют, принимая его в форме животной или растительной пищи. Хлеб или мясо, которые мы принимаем в пищу, заключают в себе значительное количество химически связанного азота, который затем и переходит в наше тело. Растения же и животные, которых мы едим в конце концов, получают азот из почвы, а почва извлекает свой азот с громадным трудом в течении бесчисленного множества лет прошлого земли, путем непрерывных, но медленных космических процессов. В течении долгих периодов времени молнии заставляли азот вступать в соединение в воздухе, а дожди уносили их в почву. В течении множества веков неисчислимые количества биллионов микробов в растениях и в почве непрерывно поглощали азот.

Несмотря на большую ценность азотистых соединений, мы берем его из почвы значительно скорее, чем он восстанавливается в ней естественными процессами. Вследствие этого земля истощается и не дает хороших урожаев. Когда то плодородные равнины С. Африки, долины Ефрата и Сицилии превратились в бесплодные пустыни благодаря истощению. Чтобы исправить истощенную землю, ее надо унавозить, удобрить, т. е. смешать с такими веществами, которые содержат связанный азот. естественных же удобрений слишком мало, чтобы рассчитывать только на него. Азот в том виде, в котором он находится в воздухе для химических процессов внутри животных и растений имеет сравнительно небольшое значение, ибо поглощать его в свободном состоянии животные со-

всем не могут, а растения связывают его чрезвычайно медленно. Чтобы живая материя могла ассимилировать азот, его необходимо фиксировать путем соединения с другим элементом. Откуда же получить этот связанный азот, который строит и питает наш организм, защищает нас во время войны, окрашивает наше платье, прокладывает дороги через горы, лечит нас от разных болезней, дает покой в бессонные ночи и т. д. и т. д. Существует несколько источников получения связанного азота.

Погибшие леса допотопного периода и превратившиеся в каменный уголь дают нам не только тепло, он является источником почти всей силы, употребляемой в цивилизованном мире. Он приводит в движение сотни тысяч паровых машин. Огромные печи питаются этим углем. Пушки, мечи, машины, рельсы и мосты,—все это получается с помощью каменного угля. Тот же каменный уголь является и весьма важным источником получения связанного азота. При получении светильного газа путем сильного накаливания каменного угля без доступа воздуха в особых ретортах среди прочих ценных продуктов выделяется аммиак, который поглощают крепкой серной кислотой и образуется серноаммиачная соль. Эта соль, будучи употреблена, на удобрение, находит себе путь в тело растений, а через них в наше тело и тело животных. Мировое производство серноаммиачной соли достигло в настоящее время только 800.000 тонн, что конечно, недостаточно, чтобы удовлетворить нужды земледелия.

Другим источником связанного азота является природная натровая, или чилийская селитра (ее залежи находятся гл. обр. на западном берегу Южной Америки). Селитра хорошее удобрительное вещество для полей и лугов, но потребление ее так велико, что лет через 25—30 залежи этой селитры будут уже совершенно истощены и тогда может наступить голод. Поэтому для человечества и важно было разрешить вопрос, откуда брать связанный азот не только для поддержания плодородности полей, но и повышения их производительности. Почти 130 лет тому назад известный физик и химик Кавендиш обнаружил, что если через обыкновенный воздух пропускать электрические искры, то объем воздуха уменьшается, а если в соприкосновении с электризуемым воздухом находится вода, то в ней может быть обнаружена азотная кислота. Однако это открытие долго не находило себе какого-либо технического применения. И только угроза полного истощения важнейших источников селитры и сильное повышение цен на последнюю, заставили усиленно заняться практическим решением ее. И уже современная техника, благодаря замечательных исследователей прошлых столетий, блестяще разрешила задачу массового приготовления нитратов из обыкновенного воздуха. Запасы же азота в воздухе практически представляются неисчерпаемыми, около 3.980 миллиардов тонн, но этот азот, как уже было сказано, находится в свободном состоянии, а потому он не пригоден для целей удобрения, его надо связать, т. е. фиксировать, и тогда только растения могут поглощать его в свои ткани непосредственно. Первая фабрика для приготовления азотистых соединений была построена в 1905 г. профессором физики в Христиании Биркеландом и Норвежским доктором инженером Эйде близ Нотоддена в Норвегии на берегу сильного водного потока, который приводит в движение мощные динамо машины, дающие электрическую энергию. Такие фабрики, однако, требуют весьма большое количество электрической энергии, а потому их можно строить там, где имеется дешевая сила. Их и устроили в Норвегии, где пользуясь даровой силой водопадов при помощи сильного индуктивного тока, от 3000—5000 вольт, получается громадная вольтова дуга между двумя полыми медными электродами, внутри которых протекает холодная вода. Между электродами проходит сильная струя воздуха. Образующаяся дуга отклоняется под прямым углом к направлению

электрода помощью сильного электромагнита. При этом главная составная часть воздуха азот и кислород, при достаточно высокой температуре, соединяются образуя окись азота.

Выходящие из печей газы с температурой около 1000°C содержат в себе, в зависимости от способа их получения от $1\frac{1}{2}$ до 2% окиси азота. Эти газы частью охлаждаются прибавлением свежего воздуха, а затем их пропускают под паровые котлы, где они отдают им свое тепло. Из под паровых котлов газы с температурой около 200°C проходят через особые холодильники, где они уже охлаждаются до 50°C , а затем поступают в окислительные камеры, которые представляют собою железные башни, выложенные внутри кислотоупорным материалом. Здесь при медленном прохождении окиси азота происходит их окончательное окисление в двуокись азота, которая направляется в кислотную поглотительную систему, состоящую из нескольких гранитных башен (емкость около 600 куб. мет.), наполненных кварцем. Двуокись азота поглощается в этих башнях льющейся сверху водой и в результате образуется азотная кислота, ее обрабатывают известью и получают кальциевую селитру. Растворы кальциевой селитры выпариваются паром, получающимся при утилизации тепла оставляющих электрические печи горячих газов; полученная соль, с содержанием 13% азота под названием «воздушной селитры» поступает на рынок и может идти на нужды сельского хозяйства. Уже в 1913 году этой Норвежской селитры поступило на рынок свыше 70.000 тонн.

Проф. Оствальд говорит: «Этот успех в искусственном связывании азота особенно поучителен тем, что показывает, что стоит лишь поставить или даже только приоткрыть перед современной техникой какую-нибудь важную задачу, чтобы эта задача (если она только не выходит за пределы возможного для человека) была в более или менее скором времени разрешена не только теоретически, но и в форме, доступной для хозяйственного применения.

Великое научное открытие, которое раньше считалось неожиданным подарком высших сил, может быть в настоящее время достигнуто систематической организацией научной работы, и вовсе уже нет нужды дожидаться пока это открытие сделает какой-нибудь необыкновенный гений».

Другой способ фиксирования атмосферного азота (введен профессором Франке из Шарлоттенбурга) заключается в том, что атмосферный азот, проходя через до красна—накаленный углеродистый кальций или карбид кальция поглощается, образуя т. наз. цианамид кальция. Полученный таким путем продукт употребляется в сельском хозяйстве для удобрения.

Как было сказано, цианамид кальция получается из кальция карбида.

Последний же получается по способу Муассона путем сплавления в электрической печи при температуре около 3000°C , для чего берут 90 частей жженой извести и 55 частей кокса. Электрический ток для этой цели применяется многофазный, трехфазный или переменный. Печи больших размеров при напряжении от 120 до 160 вольт требуют до 40.000 ампер. Кальций карбид выпускается из печи жидким, а затем застывает в балванках. Мелко размолотый карбит *) забрасывается в горизонтальные реторты, подогреваемые генераторным газом и там обрабатывается азотом **) при температуре около 1000°C ,

*) В небольших кусках он имеет применение для добывания ацетилена.

**) Азот берут из воздуха. Воздух освобождают от углекислоты и водяных паров, а затем путем сильного сжатия и охлаждения превращают в жидкое состояние и отделяют перегонный кислород от азота. Жидкий азот кипит при температуре -190°C .

благодаря чему карбид кальция присоединяет азот. Полученная азотистая известь ломается и мелко размалывается. После обработки небольшим количеством воды или влажной отмученной известью (для разложения вредного карбида) она содержит до 20% связанного азота и поступает на рынок. Первая фабрика для добывания азотистой извести была выстроена в Пано д'Орте в Абруццах. Затем были построены во Франции, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дамасии, Америке, Японии и в Германии.

Еще древним римлянам было известно, что после посева лигуминовых растений (гороха, бобов, клевера и др.) почва находится в ином состоянии, чем при посеве хлебных злаков. Еще Плиний советовал не удобрять пашню после бобовых растений, так как поля после них не нуждаются в удобрении. Сравнительно же недавно Гелльригель открыл, что стручковые растения (бобы и горохи) имеют корни, покрытые мельчайшими наростами, которые представляют целые колонии мельчайших организмов, способных фиксировать азот воздуха и заставлять его входить в соединение в своих тканях. Сначала думали, что эти бактерии могут размножаться только в бобовых растениях, но профессор Боттомлей показал, что их можно привить и к другим видам растений. Следовательно, посредством заражения истощенной земли этими фиксирующими азот воздуха бактериями, земледelec может увеличивать содержание азотистых соединений в земле и тем самым обогатить и оплодотворить почву. В настоящее время уже существует ряд заводов, которые готовят культуры микробов, фиксирующих азот воздуха.

Ив.-Вознесенск, 12 августа 1921 г.

Проф. П. П. Будников.

—•••O|IIO•••—

ПИСЬМА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ.

КИЛЬ.

В истории империализма XX века город Киль будет занимать одно из видных мест. Киль расположен у широкой спокойной бухты Балтийского моря. Огромные построенные по последнему слову техники верфи окаймляют бухту. На одной из них еще и сейчас виден остов подводной лодки, которая строилась во время войны и после Версальского мира, так и осталась не достроенной. Киль был главной гаванью военного флота Германии и любимым детищем Вильгельма. И сейчас еще в витринах писчебумажных магазинов Киля красуются многочисленные открытки, на которых изображен германский военный флот, выходящий в море с развевающимися флагами. До войны Киль жил военным флотом не только экономически, но и духовно.

После заключения мира из Киля же вышла эскадра тех военных кораблей, которые были сданы Германией Англии. Изображая в своей книге „от Киля до Каппа“ этот момент, Носке говорит о том, с каким отвращением он смотрел на матросов, равнодушно и даже весело готовящихся к этой последней поездке. „Мне стало так противно,—говорит Носке,— что я взял шляпку и выехал далеко в море, чтобы не видеть всего происходящего“. Момент сдачи флота, который был, конечно, торжеством английского империализма за счет германского, имел для Германии то значение, что она переставала быть сильной империалистической державой и значительные части германских масс, отрезвленные бессмысленными ужасами войны от националистического угара, могли поэтому совершенно спокойно смотреть на разоружение германского империализма.

Но Киль замечателен не только тем, что в нем были вырваны хищные зубы германского империализма. С Киля же в начале ноября 18 года началась та германская революция, которая вот уже два года мучительно пробивает себе путь сквозь толщу буржуазного господства к подлинному освобождению пролетариата. Интересно с каким аристократическим презрением говорит Носке об этих первых днях революции в Киле. Он иначе не называет восставших против кровавого империализма Вильгельма и военной касты матросов и рабочих как мятежниками и бунтовщиками. Он изображает их шумными, наглыми и одновременно трусливыми ничтожествами, которые сами не знают, чего они хотят.

Революционную бдительность масс, которые боятся мобилизации, контр-революции в других областях Германии против Кильского восстания он изображает как нелепую трусость. Свою роль, как посланного немецкого правительства и одновременно представителя с.-д. партии, он видит в том, что бы по возможности ослабить, рассеять и дезорганизовать революционную сплоченность Кильских матросов и что бы помочь всем принцам и принцессам случайно находящимся на территории революционных волнений благополучно и безубыточно выбраться оттуда.

По книге Носке выходит, что революция делается массами для того, чтобы иметь возможность не работать, воровать и безобразничать. Эту книгу следовало бы издать на всех западно-европейских языках и широко распространить, особенно среди рабочих тех стран, где революции еще не было. Пусть английские, французские и американские пролетарии знают заранее, что будут делать во время революции их „вожди“ из лагеря II Интернационала. Носке с гордостью рассказывает, как он в конце концов справился с кильским движением, вывез принцев, обезопасил белогвардейских офицеров от неприятностей со стороны матросов и разоружил массы. Одного только ловкому Носке сделать не удалось: спасти монархию Вильгельма, но в ее падении он и его партия действительно не виноваты ни словом, ни делом, ни помышлением.

С.-д. партия была до революции да и сейчас еще очень сильна в Киле. Вместе с тем она является одной из самых левых организаций партии в стране. После выхода в свет книги Носке, в которой он обливает грязью не только кильских матросов, но и местных рабочих кильская организация с. д. потребовала от Ц. К. партии исключения Носке Ц. К. искушенный в дипломатических хитростях ответил, что он надеется, что кильская организация будет настолько тактичной, что не внесет этого вопроса на обсуждение партийного съезда, а обратится по этому поводу к той партийной организации, членом которой является Носке, к организации гор. Ганновера. Смысл этого ответа ясен: ганноверская организация, насчитывающая около 25 тыс. чел., находится под сильнейшим личным влиянием Носке, который одновременно является полномочным представителем правительства в Ганновере, т. е. высшим должностным лицом в провинции. Понятно, какой ответ даст при таких условиях ганноверская организация на предложение исключить своего властелина. И вот кильским с.-д. рабочим приходится терпеть, что в числе вождей их партии находится не только человек, запятнанный кровью десятков тысяч рабочих, кровью Карла Либкнехта и Розы Люксембург, но и человек, который оклеветал их в один из самых героических моментов их жизни перед всем миром.

Сейчас в Киле тихо, но чувствуется, что местный пролетариат имеет серьезный революционный опыт и закален в борьбе больше, чем рабочие многих других городов в Германии. Это сказывается и на партийных группировках в Киле.

Независимая партия там сравнительно слаба, за то на ряду с несколькими тысячами с.-д. там имеется крепкая организация коммунистов, насчитывающая сейчас около тысячи человек и имевшая до раскола коммунистической партии на коммунистическую партию и коммунистическую рабочую партию около 2-х тысяч человек. Партийная работа в Киле облегчается тем, что большинство местного пролетариата работает на двух крупнейших верфях и рабочие коммунисты имеют таким образом широкое поле для агитационной работы среди своих товарищей.

Летнее утро. На пристани стоит большущий паром, который перевозит рабочих на верфь и уже на этом пароме во время 8-ми минутной переправы

начинается работа. Коммунисты продают газету «Красное Знамя» — центральный орган своей партии. У ворот верфи обязательно стоит также несколько человек продающих «Красное Знамя».

Они приходят нарочно за полчаса до начала работ и распространяют от 50 до 100 экз. газеты. Действие «Красного Знамени», кильские коммунисты считают настолько неотразимым, что рассматривают каждый лишний проданный номер, как свою победу.

И действительно на общем собрании коммунистической организации рабочие разных предприятий рассказывали, что достаточно дать беспартийному товарищу или даже члену другой партии несколько раз подряд прочитать «Красное Знамя» для того, что бы он подписался на него. Вопрос о том, какую газету читает немецкий рабочий, неизмеримо важен потому, что он имеет привычку верить всему тому, что эта газета говорит. С.-д. и в большинстве случаев независимая пресса настолько искажает в глазах своих читателей происходящие события, что они буквально не знают того, что происходит кругом и поэтому очень часто номер «Красного Знамени» впервые попадающий в руки рабочего, становится началом его революционного развития.

Кильские рабочие — благодарный материал для коммунистической пропаганды, но в этом отношении сделано еще очень мало; и предстоит громадная работа. Приведу один яркий пример, тесно связанный с русско-польской войной.

На огромных верфях Килья работы все время в обрез. Рабочие, главным образом, заняты тем, что строят небольшие рыболовные суда ввиду того, что постройка военных кораблей и больших торговых запрещена Германией Версальским договором. Но вот в один прекрасный день в бухте появился большой, накрененный на бок американский пароход и залег около верфи. «Марс», — так его звали, получил по неопытности немецкого лоцмана пробоину при входе в Кильский канал и пришел чиниться в Киль. Фабрично-заводской комитет верфи поспешил, конечно, узнать биографию «Марса» и услышал, что «Марс» подвозил уголь стоящему в Данциге, американскому крейсеру, который вместе с другими судами Антанты охранял Данциг, как продовольственную и военную базу белогвардейской Польши.

У завкома встал вопрос, совместима ли в таком случае починка «Марса» немецкими рабочими с нейтралитетом, объявленным Германией в русско-польской войне и он не нашел ничего лучшего, как спросить об этом не общее собрание рабочих верфи, а более компетентное лицо — министра иностранных дел Симонса. Министр не замедлил ответить, что починка «Марса» не только совместима с нейтралитетом, но даже выгодна Германии, так как в виду того, что несчастье произошло благодаря вине немецкого лоцмана, Германия обязана либо сама починить судно, либо, если починка будет произведена в иностранной, напр., английской верфи, заплатить за нее.

Одновременно завкому намекнули, что в виду незначительного количества заказов, которые имеет в настоящее время верфь, починка «Марса» выгодна самим рабочим.

Все эти доводы показались завкому настолько убедительными, что он не только не возражал против починки «Марса», но даже не довел до сведения рабочих о состоявшихся по этому поводу переговорах.

Но как только верфь приступила к починке американского корабля, отдельные рабочие коммунисты и синдикалисты стали волноваться, поставили

завкому вопрос, на каком основании производится починка и, не удовлетворившись ответом, что это делается на основании согласия министра иностранных дел, созвали общее собрание рабочих верфи. На этом собрании сразу наметилось два течения: одно—громко и открыто выступило против починки «Марса», как предательства по отношению к Советской России и мировой революции, другое—уклончиво пыталось оправдать починку «Марса», цепляясь за всякого рода формальности. «Марс» не только не участвовал в русско-польской войне,—говорили представители второго течения,—но даже сам не охранял Данцига, а только подвез уголь; оттого, починим мы «Марс» или нет, ровно ничего не изменится. У Америки достаточно других угольных транспортов, да и кроме того «Марс» так же скоро, как и у нас будет тогда починен в английской верфи, и вся разница будет в том, что мы лишимся работы и нам же придется платить за эту починку.

«В ответ на эти корыстные предательские речи выступил старый рабочий, немец по национальности, но проработавший до войны около 15 лет на английских верфях, так что даже по немецки он говорил, как англичанин».

«Я знаю английских рабочих,—сказал, он—и знаю, что Ллойд Джорджу никак не удастся заставить их работать в пользу Польши против России. Насколько я знаю, в Данциг за всю русско-польскую войну не приходил ни один английский корабль, но слушая вас и глядя на то, что происходит в Германии, я очень боюсь, что Ллойд Джордж сумет заставить немецких рабочих действовать по его указке против Советской России. Какое вам в конце концов дело до того, будут английские рабочие чинить „Марс“ или нет, вы должны решить вопрос за себя и сказать Ллойд Джорджу и Симонсу, и всему миру, что вы такого разбойника, как „Марс“, чинить не намерены, и чем больше он набьет себе пробоин, тем лучше».

«Мне особенно нравится заявление некоторых товарищей,—начал другой оратор синдикалист,—что нам придется платить за починку „Марса“. Я до сегодняшнего дня не знал, что германская казна находится в руках рабочих, а знал только, что с нашего жалованья ежемесячно сдирают 10%-ый налог в эту казну. Пусть Симсон платит, нам какое дело».

Последним говорил коммунист. «Вы подумайте, что почувствует Красная армия, которой все вы так восхищаетесь, и русские рабочие, когда они узнают, что вы даже не ради выгоды, а просто по вашей тупости и глупости чините таких негодяев, как „Марс“, и этим помогаете полякам. Ваш долг не только немедленно выкинуть его с верфи, но опубликовать об этом в газетах и обратиться с возванием к рабочим всех верфей в Германии не оказывать никакой помощи судам, потерпевшим аварию в связи с русско-польской войной... Но этого мало. Под носом у нас через Кильский канал прошло около 60 судов с грузами для Польши. Мы должны немедленно стовориться с рабочими канала и, несмотря на то, что они в большинстве с.-д., мы должны довести их до того, чтобы они больше не пропустили через канал ни одного судна для Польши».

После этих речей была единогласно принята резолюция—не чинить „Марса“, а также обращение ко всем верфям Германии, предложенное коммунистами. Случай с „Марсом“ наглядно показывает, что мешает массе немецких рабочих сразу находить правильные революционные выходы из конкретной политической обстановки. Германские рабочие привыкли в течение многих десятков лет выбирать для руководства своей политической и экономической борьбой целый ряд лиц, которым они всецело доверяли и деятельность которых, по мнению рабочих, избавляла их самих от необходимости быть активными до тех пор, пока их представители не призовут их к этому. Так и рабочие на Кильской верфи, выбрали завком и думали, что могут спокойно спать за его спиной, только когда пришли коммунисты и здорово встряхнули их, они увидели, что

их завком завел их в болото политического предательства и повернули обратно. На том же собрании коммунисты подняли другой вопрос. Через Кильский канал проходило много иностранных, в том числе американских судов. Американские матросы народ очень богатый по сравнению с обнищавшими немецкими рабочими, и вот некоторые рабочие верфи стали продавать американцам имевшиеся у них еще с ноябрьской революции 1918 года и капповского мятежа 1920 г. винтовки и револьверы или просто менять их на вещи и продовольствие.

Коммунисты-рабочие открыто заявили на собрании, что такая продажа и мена оружия есть самое позорное, что может сделать немецкий рабочий на кануне гражданской войны и что те рабочие, которые будут сами разоружать себя в то время, как буржуазия усиленно вооружается, должны быть выброшены вон из рабочей семьи. Собрание единогласно постановило воспретить всем рабочим верфи в какой бы то ни было форме отдавать американцам оружие и пригрозило самым строгим товарищеским судом всем, кто не выподнит этого постановления.

И в этом вопросе как и в истории с „Марсом“, оказалось, что достаточно коммунистам развить перед широкими массами свою точку зрения, для того чтобы каждый рабочий почувствовал, что их решение которое они предлагают является единственно правильным с классовой точки зрения, и присоединился к нему.

Возвращаясь с верфи, паром проплывал мимо высокого строительного подъемного крана, который в Киле в шутку зовут „длинным Иосифом“. „Иосиф“ имеет 50 метров вышины и его ажурная вершина находится на одном уровне с крестом на Кильской церкви. Уже издали подвезжая к Килю, видишь, как „длинный—Иосиф“ медленно и величественно плавает по бухте.

Он прикреплен к подвижному основанию и может таким образом сам подплывать к месту, где необходимо произвести разгрузку. Англичане очень хотели получить по Версальскому миру, кроме военных судов и „длинного Иосифа“, но до сих пор немцам удалось отстоять его.

Когда смотришь на это прекрасное произведение современной техники, сберегающее столько человеческого труда и узнаешь о требовании англичан, особенно наглядно чувствуешь открыто разбойничий характер „великой“ мировой войны. Если бы победили немцы, они стали бы также по разбойничьи шарить по английским гаваням и тащить оттуда все, что попадает под руку. Рядом с „длинным Иосифом“ стоят белые элегантные дети веселья, спортивные яхты их императорских величеств и прочих высоких особ.

До войны в Киле ежегодно устраивалась спортивная неделя, во время которой съезжались коронованные лица и миллиардеры всего мира и устраивалась гонка их яхт. В немецких верфях строились прекрасные легкие судна для Вильгельма, который был большим любителем гонок, и его семьи, но обыкновенно побеждали американцы.

Теперь рабочие Килья насмешливо смотрят на осиротелые яхты, которые без толку загромождают бухту и на недостроенную подводную лодку. Подводная лодка бессмысленно топившая корабли и гоночная яхта бессмысленно скользящая по поверхности моря—вот два дополняющие друг друга обломка империализма и господства немногих.

По своему стратегическому положению и благодаря характеру местного пролетариата Киль сыграет еще значительную роль в немецкой пролетарской революции. Если разрушения гражданской войны не слишком тяжело каснутся его, кильский порт и канал будут важной частью того богатого наследия, которое ценою тяжелых жертв получит германский пролетариат от эпохи капитализма и империализма.

Лидия Х.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Ликвидация неграмотности.

(К „неделе просвещения“).

„Безграмотный человек стоит вне политики; его сначала надо научить азбуке (из речи В. И. Ленина на 2-ом Всероссийском съезде Политпросветов“).

В октябре 1917 года. (4-ре слишком года прошло с тех пор) рабочие и крестьяне нищей некультурной царской России свергнули ненавистное иго помещиков и капиталистов и взяли власть в свои надежные мозолистые руки. Это было чудо в мировой истории. Еще большим чудом было удержаться и закрепиться на занятых тогда пролетариатом позициях. В области военной действительно сделано великое дело.

Год тому назад создавалась относительно мирная обстановка, и мы перешли от фронта огня к фронту труда, к мирному хозяйственному и культурному строительству. После героического разрешения пролетариатом величайшего политического переворота перед ним вплотную встали задачи восстановления разрушенного в корне хозяйства страны, подведение экономического фундамента под завоевания гражданской войны.

Но восстановление хозяйства немыслимо без поднятия общего культурного уровня рабочего и крестьянина (эту азбучную истину В. И. Ленину приходится доказывать почти в каждой своей речи); а последнее невозможно без ликвидации безграмотности основной массы населения. Новая экономическая политика, построенная на личной заинтересованности рабочего в производстве и крестьянина в восстановлении своего мелкого хозяйства, со сложными и гибкими методами и приемами, требующими наивысшего напряжения сил, системы и выдержки, как нельзя больше требует от рабочего и крестьянина повышения культурного уровня, учения по настоящему, „в серьез и надолго“. Неграмотному (все равно что дикому), учиться, развиваться и двигаться вперед не представляется возможным. Без ликвидации неграмотности, как необходимого элементарного условия, рабоче-крестьянская власть не сможет успешно восстановить своего сельского хозяйства и промышленности и разрешить культурные задачи.

Работа по ликвидации неграмотности через особые комиссии у нас в Республике ведется с 19-го июля 1920 года (издан был соответствующий

декрет в это время). В Иваново-Вознесенской губернии комиссии по ликвидации неграмотности, как губернская, так и уездные и волостные были организованы в сентябре м-це 1920 года (всего на территории Ив.-Вознесенской губернии организовано было 86 таких комиссий).

Работа же по ликвидации неграмотности фактически началась гораздо раньше и прежде всего в Красной армии, как оно и должно быть, так как там больше было в этом необходимости и более благоприятные условия. Начало политического просвещения, которое резко отличается от старой системы внешкольного образования своим направлением, содержанием и методами, было положено в нашей, доблестной Красной армии, твердая дисциплина которой держалась и держится на сознательности красного бойца, на ясном представлении им целей и задач классовой борьбы и на быстрой ориентации в событиях и обстановке международного и внутреннего масштаба. Между тем самым сильным тормозом в политической работе была безграмотность значительной части красноармейских масс, в большинстве вышедших из крестьянской среды (были части, где эта безграмотность достигала 55%).

Еще в 19 году, значительно раньше издания декрета Совнаркома, Политорганы Красной армии, (Политоделы) вели работу в массовом масштабе по ликвидации безграмотности красноармейцев в ударном порядке (методом приказов), со всем упорством, энергией и настойчивостью, всеми силами и средствами. Занятия по обучению грамоте приравнивались к строевым занятиям во всех отношениях и занимали не менее 2-х обязательных часов. Результаты такой работы были налицо: в тех частях, которые имели более устойчивый характер, безграмотных кр-цев не оставалось ни одного за весьма редкими исключениями. 2-й Всероссийский съезд Политпросветов (в октябре 1921 года) констатировал почти полную ликвидацию безграмотности в Красной армии, процент неграмотных который по данным Пура и Главполитпросвета понизился с 55% до 5% в среднем. Таким образом, в Красной армии можно считать устраненным главный тормоз в политическом просвещении кр-ских масс безграмотность.

Позднее началась и медленнее и с наименьшими результатами велась работа по ликвидации неграмотности среди рабочих масс на фабриках и заводах и, особенно, среди крестьян в деревне. Однако и здесь со времени издания декрета об обязательности ликвидации неграмотности достигнуты в Республиканском масштабе определенные результаты. Был произведен учет неграмотных, правда, далеко не точный, который показал, что у нас в Советской России имеется 20,000,000 неграмотного взрослого населения. Работа по ликвидации неграмотности приняла за этот период вполне организованный характер, и ведется в массовом масштабе по всей Р. С. Ф. С. Р. Определилось и было налажено дело финансирования и снабжения учебными пособиями и другими предметами ликвидационных школ. Проявлено было на местах, как со стороны самих масс, так и организаций и учреждений, не мало интереса к этому делу, самодеятельности и инициативы. К моменту созыва 2-го Всероссийского съезда Политпросветов, за год приблизительно работы, по данным Наркомпроса насчитывалось ликвидировавших свою безграмотность взрослых граждан 4,800,000. Это суммарная цифра, по нашему мнению, вполне оправдывает те чрезвычайные расходы и то чрезвычайное напряжение сил, которое было проявлено в деле ликвидации неграмотности Советским государством за этот период времени.

В Ив.-Вознесенской губернии число неграмотного взрослого населения, взятого на учет еще бывшим внешкольным П/отделом Губнаробраза в 1920 году,

насчитывается 102,331. По уездам эта цифра рабивается следующим образом:

Таблица № 1.

Кинешемский уезд	28,204
Юрьевецкий "	18,308
Шуйский "	19,706
Середской "	12,630
Тейковский "	10,403
Пв.-Вознескшй "	7,697
Родниковский район	4,740
По жел. дороге	643
	102,331

По данным Губернского Статического Бюро процент неграмотных в нашей губернии по отношению ко всему населению составляет 55% в среднем (на 1-е января 1921 года).

Таблица № 2.

	Количество населения.	Количество неграмотных.
Кинешемский уезд	162,135	92,866
Юрьевецкий "	123,803	71,712
Шуйский "	94,736	49,746
Середской "	73,363	38,493
Тейковский "	73,609	43,702
Пв.-Вознесенский	108,787	51,222
И т о г о	636,433	347,731

Причем чрезвычайно неравномерно распределяется грамотность между городским и сельским населением, между мужским и женским. Процент грамотных среди городского населения определяется приблизительно 57%, а для сельского 43%, для мужского населения 58%, а для женского 36%.

В 1920—21 году работа по ликвидации неграмотности по губернии в итоге дала следующие результаты (по данным уездов): было обучено неграмотных всего 13,070 человек при 978 ликвидационных комплектах, 826 зданиях, при количестве занятых этим делом (в большинстве по совместительству) 1144 работников ликвидатор. Наглядно это изображает следующей таблицей:

Таблица № 3.

№№ по пор.	НАЗВАНИЕ УЕЗДА.						
		Чис. неграмотных по переписи 1920 г.	Чис. школьных помещ. занят. в 1920/21 г.	Чис. откр. комплект. в 1920/21 г.	Чис. работн. ликвидиров. занятых в 1920/21 г.	Количество обученных в 1920/21 г.	Чис неграмот. оставшихся на 1921/22 г.
1.	Кинешемский	28,240	215	245	285	4,266	23,938
2.	Юрьевецкий	18,308	190	233	245	1,941	16,367
3.	Шуйский	19,706	150	170	220	2,285	17,421
4.	Середской	12,630	107	113	130	1,119	11,511
5.	Тейковский	10,403	85	79	110	749	9,654
6.	Пв.-Вознесенский	7,697	72	121	135	2,500	5,196
7.	Родниковский	4,740	1	9	11	166	4,574
8.	Железно-дорожн.	643	6	8	8	44	599
	И т о г о	102,331	826	978	1144	13,070	89,260

Число неграмотных, оставшихся на 1921-22 год, за вычетом количества обученных в 1920-21 году (зимний сезон) выражается цифрой 89,260 человек.

При этом следует заметить, что учет неграмотных в 1920 году был произведен далеко не точный. По некоторым уездам выясняется, что число неграмотных, имеющих в настоящее время, превышает на 10—15% число которое должно было быть по данным учета 1920 года. Так по Ив.-Вознесенскому уезду оставалось на 1921-22 год по данным учета, за вычетом обученных в 20—21 году 5196 человек неграмотных, на самом же деле имелось в начале настоящего зимнего сезона 5600 человек. В Кинешемском уезде значится 23938 неграмотных, имеется 25000 и т. д. Не мешает, таким образом, произвести снова учет неграмотных Уполитпросветам и Волполитпросветам в 1922 году, согласовав эту работу с работой Статистического Бюро, которое с 1-го января должно произвести статистическое обследование Наробразовских учреждений.

На 1921-22 год по производственному плану, разработанному П/отделом Ликвидации Неграмотности Губполитпросвета прошлым летом, еще до сокращения штатов и масштаба работы Губполитпросвета, предполагалось открыть в губернии 1200 ликвидационных комплектов, минимум с 1270 работниками (преимущественно школьными учителями) и пропустить через них 36000 неграмотных.

По уездам это предполагалось сделать следующим образом:

Таблица № 4.

№ №	Наименование уездов.	Предполагалось в 1921-22 г.		
		Открыть ликвидацион. пунктов.	С числом преподавателей.	Обучающихся.
1	Кинешемский	325	350	9750
2	Юрьевецкий	210	215	6300
3	Шуйский	295	250	7050
4	Середской	110	115	3300
5	Тейковский	100	105	3000
6	Ив.-Вознесенский	150	160	4500
7	Родниковский	60	65	1800
8	Железно-дорожный	10	10	300
И Т О Г О		1200	минимум 1270	36000

По скупым, не совсем точным и не совсем своевременным сведениям из уездов дело ликвидации неграмотности в текущем 1921-22 году по губернии пока что представляется в следующем виде: открыто всего только 269 ликвидационных пунктов (без Юрьевца и Родников), с числом преподавателей 314, с количеством обучающихся 5514 (в среднем на каждого ликвидатора по 17 неграмотных). Цифра 5514 обучающихся неграмотных разбивается приблизительно следующим образом по категориям населения: в воинских частях 277 при фабриках непосредственно 374, в городах 354 и в уездах 4299.

По уездам ход ликвидации безграмотности выразится, примерно, в следующем виде:

Таблица № 5.

№№ по пор.	Наименование уездов.	Функционирует в 1921—22 г.							Примечание.
		Ликвид. пунктов.	Число обучающ.	Число препод.	ИЗ НИХ.				
					В го-роде.	В уезде.	При фабр.	Воин. частях	
1	Кинешемский . . .	126	2515	107	75	2375	65	—	Сведение на 15 декабря.
2	Юрьевецкий . . .				Цифровых данных нет.				
3	Шуйский . . .	80	1657	111	29	1174	257	179	Сведение на 15 декабря.
4	Середской . . .	3	39	9	—	—	—	—	.. на 1 ноября.
5	Тейковский . . .	3	30	—	—	—	—	—	.. на 1 декабря.
6	Ив.-Вознесенск.	51	1148	65	250	750	50	98	.. на 15 декабря.
7	Родниковский . .				Цифровых данных нет.				
8	Жел.-дорожный	6	125	12	По участку.				.. на 15 декабря.
	Итого . . .	269	5514	314	354	4299	372	277	

Таким образом, ликвидация безграмотности в нашей губернии в текущем зимнем сезоне движется чрезвычайно туго. Правда, сведения далеко не точны, относятся к 15 декабря, частью даже к 1 ноября, а по Юрьевецкому уезду и Родниковскому району и совсем не имеется их, но можно смело сказать на основании и таких данных, что производственный план не будет выполнен и на половину.

Снабжение ликвидационных школ необходимыми учебными принадлежностями и в нынешнем сезоне (до января 1922 года) несколько лучше было поставлено чем в прошлом. На первые три месяца (октябрь—декабрь) было отпущено уездам полностью снабжение на все количество обучающихся по плану и по следующей норме на одного учащегося: пять тетрадей, два карандаша, пять перьев, одна ручка. Распределение было произведено своевременно, своевременно получено было на местах, но было израсходовано большей частью УОНО не по прямому назначению. Снабжение керосином было проведено в полной мере необходимости, но таковой тоже был израсходован не рационально. В денежных средствах нужды не было, ибо Губполитпросвет отпускал их достаточно Уполитпросветам, но Унаробразы на местах пользовались кредитами, предназначенными на ликвидацию неграмотности, в каких угодно целях, только не для ликвидации неграмотности. По данным из уездов можно отметить некоторый только недостаток в ликвидаторах неграмотности. Краткосрочные курсы по ликвидации неграмотности, устроенные в проведении в Кинешме, Пучеже, Лухе и в Ив.-Вознесенске еще в 1920 году дали выпуск 140 человек. Но большинство из них на практике оказались не пригодными для работы. Печальный опыт проведения таких курсов в том же приблизительно размере был повторен и в 1-й половине 1921 года. Были проведены 5-ти месячные курсы по подготовке ликвидаторов неграмотности опять в Кинешме, Пучеже и Лухе. На курсах обучалось 145 человек, а сколько оказалось из них годными для работы, неизвестно. Во всяком случае и эти курсы не дали вполне удовлетворительных результатов, не оправдали тех расходов, которые были произведены на их содержание.

Таким образом, были на лицо все необходимые материальные предпосылки для того, чтобы в первые три месяца текущего зимнего сезона (октябрь—декабрь) ликвидация неграмотности в нашей губернии могла развиваться вполне успешно. На самом же деле нам приходится констатировать обратное явление. Ликвидация неграмотности идет туго. Какие же причины такого явления? Неуспешность проведения кампании приходится отнести к недостаточности соот-

ветствующей агитации и, особенно, организованности, проявленной Уполитпросветами и Волпросветами на местах, и к тем ликвидационным настроениям по отношению к ликвидации неграмотности, которые царят на местах. Например, Кинешемский Уполитпросвет и Кинешемские работники просвещения находят ликвидацию неграмотности в данных условиях не нужной и безцельной, что приходится отнести к малой сознательности таких работников и к неприспособленности их к условиям новой экономической политики.

Несколько сложнее обстоит дело с вопросом о ликвидации неграмотности с Января 1922 года. Центром на этот предмет по расходному расписанию, хорошо известному нам, не отпущено ни одной медной копейки. Расходы по ликвидации неграмотности относятся целиком на местные источники, которых пока что еще нет, и неизвестно когда будут.

Какой же выход из создавшегося положения?

Ликвидацию неграмотности необходимо во что бы то ни стало продолжать, потому что без этого не мыслим, по словам В. И. Ленина, никакой подъем культуры, никакое политическое просвещение (нужно же выходить из дикого состояния).

Нужно перестроить свои ряды, необходимо приспособиться к существующим условиям и изыскать необходимые средства на это, с государственной точки зрения, столь необходимое дело. Нужно скоро и в корне пересмотреть производственную программу, с точки зрения должного и возможного, сократить ее до разумного минимума. Придется отказаться от того, чтобы вести работу в одинаковой степени среди всех слоев населения. Необходимо сосредоточить работу, главным образом, среди членов профсоюзов на ударных предприятиях, в Красной армии, милиции и среди сельско-хозяйственного пролетариата (Совхозы, Колхозы и т. п.). Среди крестьянства во вторую очередь и то в пределах семнадцати-тридцати летнего возраста. Конечно, не приходится и думать об осуществлении полностью намеченного плана. Необходимо сохранить те из существующих ликвидационных пунктов, которые работают удовлетворительно и дадут определенный производственный результат (выпуск обучающихся). Уполитпросветам надлежит изыскать нужные средства; они должны немедленно разработать сокращенную программу работ по ликвидации неграмотности в уезде, составить смету необходимых расходов и представить все это на утверждение соответствующих Уисполкомов и Горсоветов. Необходимо теснее в этой работе связаться с Профсоюзами, хозяйственными органами, фабриками и заводами непосредственно. По соглашению ВЦСПС, Высшего Совета Народного Хозяйства и Народного Комиссариата Просвещения от 15-го Января 1922 года (помещено этим числом в газете „Труд“) расходы на ликвидацию неграмотности наряду с другими расходами на культурные цели относятся за счет того предприятия, рабочие которого обучаются грамоте, в том числе и оплата работников. Ликвидация неграмотности среди членов Профсоюза должна быть первой заботой соответствующих Профсоюзов и самих предприятий и учреждений, входить в производственный план их работ. Неграмотные рабочие освобождаются на 2 часа от работ на все время ликвидации неграмотности, что подтверждено особым соглашением Наркомпроса с ВЦСПС.

Что же касается принудительного привлечения неграмотных к обучению на ликвидационных пунктах, то в данных конкретных условиях, когда мы отказались от трудповинности, это делать по крайней мере не целесообразно, особенно в той форме, как это имело место в прошлом 1920-21 году. Как общее правило, неграмотные обучаются по своей доброй воле. Но необходимо использовать для привлечения неграмотных Профсоюзную дисциплину, а для

членов РКП и партийную. Соответствующая агитация среди неграмотных должна быть усилена, для чего необходимо привлечь все советские органы, профсоюзы, партию, кооперацию и другие организации. Самый аппарат по ликвидации неграмотности в том виде, в каком он существовал раньше в лице бесконечного количества „Грамчека“ становится излишним, громоздким и неприспособленным к условиям нового курса экономической политики (одних только членов комиссии было не многим меньше, чем ликвидируемых неграмотных). Работа по ликвидации неграмотности является основной предпосылкой по отношению ко всей политпросвет работе, но ни в коем случае не должна быть противопоставляема ей, а должна находиться в тесной связи и взаимодействии с ней и составлять только одну из основных частей работы политпросвета в целом. Ликвидация неграмотности должна быть согласована больше чем какая либо иная работа с другими видами и формами деятельности политпросвета (школы взрослых библиотеки и др.) для избежания рецидива неграмотности. Центр тяжести в самой работе по ликвидации неграмотности должен быть перенесен политпросветами на места, на Профсоюзы, фабрики, заводы, учреждения и другие организации. За собой Политпросветы должны оставить то, что называется общим руководством (учет, контроль, регулирование, направление и методы). Это диктуется условиями настоящего времени.

И так, в заключение мы можем констатировать, что работа по ликвидации неграмотности в опасности. Необходимо на это обратить внимание и, не поддаваясь панике, принять соответствующие меры, чтобы не ликвидировать начатое дело и не свезти на смарку те весьма значительные результаты, которые уже достигнуты за полтора года работ в этом направлении.

Задача, которая была поставлена Советской властью перед собой полтора года тому назад не должна остаться без осуществления, должна быть доведена до конца. Нужно напрячь все усилия, все силы, чтобы ликвидация неграмотности могла пройти успешно.

Нужно запомнить, что ликвидация неграмотности является одной из важнейших государственных задач и за ней должна быть обеспечена еще надолго чрезвычайность и ударность.

П. Артамонов.

НАША ЛЕТОПИСЬ.

В подполье.

1.

(Из истории местной группы с.-д. (большевиков) Иваново-Вознесенска).

Начиная с 1898 года, местные социал-демократические группы, кружки и комитеты, помимо получаемых из заграницы и других городах России нелегальных революционных изданий и листовок, прибегали к печатанию революционной литературы и местными средствами. В распространении революционного печатного слова начиная с конца прошлого столетия имелась глубокая и острая потребность. С забитым и отсталым текстильным рабочим необходимо было говорить понятным и доступным для его миросозерцания языком. В печатаемых и распространяемых местными средствами листовках (прокламациях) в основу полагались местные жизненные факты, столкновение труда с капиталом в лице табельщиков, приставов, мастеров и заведывающих и доступным для забитого рабочего языком излагались соответствующие выводы. Такие листовки назывались между местными рабочими „синими газетами“, о которых рабочие отзывались с любовью и самостоятельно заключали, что эти „синие газетки“ про „изнюю жизнь“ печатают „скубенты“ и „мократы“.

Во время появления местных листовок в фабричных корпусах среди рабочих всегда царил приподнятое настроение, находились смельчаки, которые в курилках и отхожих местах читали их вслух неграмотным нередко проваливались, и тогда начиналась обычная жандармская и полицейская история—таскание попавшихся по полицейским канцеляриям и кутузкам-клоповникам.

Приготовление листовок до начала 1905 года по технике являлось очень простым и несложным делом.

Обычно по поручению комитета или группы определенные лица готовили собственными руками гектограф, писался печатными четкими буквами химическими чернилами оригинал и несложная машина пускалась в ход. Морались при такой работе очень здорово. Химические чернила не только приставали к рукам, нередко по горячке или какой-либо тревоге они попадали и на лицо, и на одежду и работавшие окрашивались в цвет „радуги“. После этих операций подолгу приходилось мыться, обычно для быстрого отмывания рук доставался из ситцепечатных ф-к специальный порошок, (соединение хлорной извести с обыкновенной содой).

Из за отсутствия интеллигенции в местных группах (за редким исключением) вся работа по писанию, печатанию и распространению прокламаций в большинстве случаев производилась передовым авангардом рабочих. Само собой разумеется, что и это казалось бы на первый взгляд несложная работа требовала некоторых тонкостей и большого навыка, чего иногда тем более в первое время не наблюдалось у „подпольных печатников“.

Эта работа требовала большой конспирации, ибо рисковать приходилось в случае провала многим. Неудобство квартиры в какой нибудь густо населенной рабочей хате, или бане требовало большой осторожности, отчего иногда портили желатиновую массу, проливали чернила, и мазались этими материалами до невероятности.

В общем же не унывали и делали свое революционное рабочее дело.

Во время распространения листовок нередко высыпались, и агентура добиралась до «печатников» и гектографа; жандармское управление создавало дело, многие садились в тюрьмы, затем шли в ссылку и под гласный надзор в места приписки.

Помню дело Сесерова и др. по распространению прокламаций в нашем районе в конце 90-годов. В начале настоящего столетия было создано дело Н. Панина (кличка «Гаврила Петрович»). Затем в этих же годах привлекались за распространение прокламаций: Баринов, Жаров и другие.

II.

В 1905 году вся Россия переживала революционную бурю. Особенно боевое настроение среди рабочих стало повышаться после Петроградских событий, разыгравшихся 9 января кровавой трагедией перед Зимним дворцом. Весной этого года рабочие и крестьяне всей трудовой России дышали революционным гневом и ненавистью к прогнившему до основания Русскому самодержавию. По лицу Русской земли бурлил огненный поток народного возмущения. Вспыхивали грандиозные стачки заводских и фабричных рабочих. Аграрные беспорядки, захватывали обворованных дворянством и капиталистами мелких земледельцев и создавали большие крестьянские возмущения.

Иваново-Вознесенск был охвачен также грандиозной стачкой текстильщиков, которая к концу мая захватила до 150.000 рабочих района. Иваново-Вознесенскому комитету Р.С.Д.Р.П. пришлось стать во главе рабочего движения. При глубокой и острой потребности в политическом руководстве этой крупной стачкой необходимо было свое печатное революционное слово. Гектографами и мимнографами обойтись было нельзя. Естественно, что вопрос встал о создании более обширной «подпольной типографии», которая бы сумела регулярно обслуживать стачечное движение.

Такая типография была срочно организована в конце мая. Подпольная техника была снабжена несколькими пудами шрифта, печатным станком, типографской краской и прочими принадлежностями. Эта типография была помещена в квартире токаря механического завода (бывш. анонимное общество) тов. Симонова, который в то же время был членом Совета рабочих депутатов гор. Иваново-Вознесенска. Проживал т. Симонов в то время в доме Бирина около Иконникова (Ямы). В первое время по поручению комитета типографскому и наборному искусству пришлось учиться т.т. П. Симонову, Н. Н. Колотилу и М. Мякишеву.

Пробегав целый день среди стачечников, ведя агитацию и пропаганду в массах, эти революционные печатники в силу партийного долга и преданности рабочему делу в ночное время при тусклом свете керосиновой лампочки, в

тесном и непригодном помещении должны были учиться и в то же время выпускать листовки и бюллетени о ходе стачки *).

Через некоторое время т.т. Колотилу и Мякишеву были даны другие задания так как т. Симонов был освобожден исключительно для этой работы. Ему пришлось работать день и ночь и он очень быстро достиг того, что стал выпускать ежедневно от 2 до 3 тысяч экземпляров прокламаций. Расход на листовки и бюллетени был огромный и конечно этого количества было недостаточно. Выпустить же большое количество одному, тем более в ручную и при разных технических недостатках, при строгом соблюдении конспирации, было бы свыше всяких человеческих сил.

В течении четырех месяцев тов. Симонов был замурован на этой квартире работая день и ночь над набором и печатанием листовок. Требовалась большая осторожность, тем более, что рядом жил домовладелец, который ни в коем случае не должен был знать, что происходит у него под боком. Обслуживала т. Симонова жена, она же его предупреждала о всякой внешней опасности. При всех тревожных признаках приостанавливалась работа. Они были бездетны. Тов. Симонов иногда выходил на прогулку подышать чистым воздухом.

Типографию эту доставил в квартиру т. Симонова т. Дианов (Александр), он же был ответственным за технику и служил связью с ней.

III.

Организованность стачки, выдержка и дисциплинированность забастовавших рабочих, ежедневные выступления на митингах ораторов и, наконец, распространение в большом количестве прокламаций приводили в бешенство местную буржуазию и полицию.

Не безинтересно будет остановиться на жандармских документах, сохранившихся в деле за 1905 г. по описи № 4. По розыску типографии их имеется в деле три и я привожу их без особых комментариев:

3-го июня прокурор Владимирского Окружного суда запрашивал помощника начальника Владимирского Губернского Жандармского управления по Шуйскому уезду об имевшихся у Жандармского управления сведениях о подпольной типографии, выпускающей в Иваново-Вознесенске возмутительные прокламации, а также и о том не представляется ли возможным, в случае, если она обнаружена, ликвидировать наблюдение. На что управление отвечало, что по имеющимся в его распоряжении сведениям в гор. Иваново-Вознесенске подпольной печатной типографии нет, а имеется несколько законспирированных гектографов и мимиограф, на коих и изготавливаются прокламации от «Иваново-Вознесенской групп». Печатные же воззвания и бюллетени от той же группы, озаглавленные «к солдатам» и к «рабочим» по сведениям из источника, заслуживающего доверия, были отработаны и привезены из гор. Москвы. О месте нахождения поименованных гектографов и мимиографа, точных указаний не имеется почему в настоящее время представляется невозможным ликвидировать соответствующее наблюдение.

Любопытен и не лишен большой фантазии сохранившийся в том же деле доклад жандармского унтер-офицера Иванова, который также привожу целиком:

*) Эти и последующие строки мною написаны при помощи т.т. Симонова и др. живых участников этой тяжелой партийной работы.

Доклад начальнику Шуйского отделения.

28-го сего мая, пастух города Иваново-Вознесенска крестьянин села „Ряхова“ Ковровского уезда Сергей Андреев об'яснил, что в лесу братьев Витовых есть построенная парусинная палатка, в которой помещаются около 20 человек „политикантов“, которые имеют при себе самовар, печку и разные съестные припасы, а также машину для печатания, часть из них женского пола.

Когда кончится на реке Талке сходка рабочих, то рабочие уходят в гор. Иваново-Вознесенск, а эти люди идут в эту палатку, где к ним выходит старик седой, толстый, которого они называют Антихристом.

Этот Антихрист садится в средину их и что то об'ясняет, а также слышал несколько раз, как эти люди пели песни против правительства и государя, что подтверждают и другие пастухи и показывают в каком месте находится вышеуказанная палатка.

По этому ли или какому другому доносу власти производили ночные облавы в прилегающем к городу и идущему параллельно речке Талке Витовском бору, около которого происходили многотысячные митинги во время всего лета 1905 года. Сотня астраханских казаков и пешие отряды полиции по целым ночам шарили по лесу, разыскивая загадочную палатку, в которой, по рассказу пастуха, находилась типография и толстый „Антихрист“.

Долгие ночные военные походы и зоркая разведка за „мифической палаткой“ не давали жандармам положительных результатов.

Палатка и „антихрист“ ускользнули!..

Подпольная типография великолепно продолжала работать и находилась около 4-5 месяцев в доме Бирина.

Красный самоучка печатник Симонов, как подземельный крот, подтачивал гнилые основы самодержавия.

Спешная переброска техники с этой квартиры вызывалась следующим обстоятельством:

Однажды жена т. Симонова, выйдя из квартиры в сарай за дровами, забыла запереть за собой крыльцо, что она обычно делала.

В это время проскользнула в квартиру женщина, живущая по соседству. Симонов так был увлечен своей работой, что сразу и не заметил, что около него находится посторонняя женщина.

Когда он сообразил, чем может пахнуть от такого посещения, то постарался окольными путями пуститься в разговоры с непрошенной гостьей.

После некоторых об'яснений женщина сказала:

— Сколько веревочку не вей, а кончику быть!..

Дело было скверно, пахло провалом. Срочно пришлось принимать меры к спасению типографии.

Типография была благополучно увезена и супруги Симоновы покинули эту квартиру.

IV.

В дни разгула черной реакции и избиения рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске, после знаменитого кровавого манифеста 17 октября 1905 года техника находилась и продолжала работу в доме черносотенца, извозчика по Ильинской улице около графской церкви (Ямы).

С особенным пылом взялись за розыск типографии разные черные банды, с этой целью ими была разгромлена и обыскана не одна, а целые десятки квартиры.

Квартира для техники заключалась в небольшой жилой в два окна пристройке (приделок), внутренняя стена этой квартиры была общей с домом черносотенца извощика. Здесь в подполье была по ночам углублена и расширена яма до квадратной сажени.

Для заглушения шума были сделаны соответствующие сооружения, заключающиеся в тесовых загородках, за которые была насыпана земля.

Эта яма в смысле конспирации представляла большие удобства, так как во время работы в самой квартире не было слышно шума.

Прежде, чем попасть в подполье, где находилась техника, был устроен небольшой квадратный колодец, который обнесен был до самого верха деревянными полками, что служило складом для овощей и разных продуктов.

В одной стороне под самой нижней полкой была устроена дверца, в которую приходилось ползать на брюхе.

Из числа бывавших на этой квартире членов комитета двух т. Дианов, служивши связью с техникой, и то не мог бы сразу разыскать, где она находится.

Вполне понятно, что работать в таком склепс было адски трудно. Воздуху до того было мало, что даже свет небольшой керосиновой лампы часто гаснул.

Во время работы кружилась голова. Дышать становилось не чем и работающий, чуть не терял сознания, вынужден был выбирать, чтобы подышать воздухом.

Особенно тяжело приходилось т. Симонову при срочных выпусках прокламаций. В таких случаях ему не отрываясь нужно было работать день и ночь с некоторыми перерывами, необходимыми для отдыха, принятия пищи и т. п. Правда ему иногда помогали, как, например, одно время т. П. Чихачев (черный).

Типография здесь находилась около полугода, затем ее быстро убрали, причинами к тому было следующее:

В квартире долгое время находилась бомба, которую необходимо было перенести в Хуторово.

В один из вечеров т. Черный понес бомбу по назначению, а т. Симонов взялся его проводить до больницы чернорабочих. На обратном пути около 11 часов вечера в Посаде его остановили казаки, скомандовав „руки вверх“.

В это время еще во всю гулял по городу кровавый разгул черносотенных банд и имел место всякий произвол полиции.

При Симонове оказался револьвер системы „Бульдог“, этого было вполне достаточно: его избили и окровавленного направили в Ямской арестный дом.

Около 3-х часов ночи произошла в участке приблизительно следующая сцена:

Симонов был уведен на верх, где он очутился в кабинете полицейского чиновника Добролюбова, тут-же был известный правокатор и сыщик Лебедев*) (бывш. член партии и совета рабочих депутатов).

На столе стояла всевозможная закуска и графин водки.

*) Лебедев вскоре после этого был убит т. Башмаковым. Тов. Башмаков был повешен во Владимирской тюрьме по приговору военного суда.

Оба были пьяны!.. Симонов, под охраной городского, стоял в дверях кабинета.

Лебедев пьяным голосом говорил:—Николай Иваныч! Скоро получу награду. Кутнем как следует. Мои ребята напали на след тайной типографии. Мне уже известно, кто в ней работает. Комитет, типография—все будет в наших руках.

Разговор прорвался, потому что т. Симонов застонал от сильной головной боли. Из нанесенных ран сочилась кровь. Стон привлек внимание разхрабрившихся пьяных героев.

Добролюбов закричал.

Что попался!...Я вот покажу, с как револьвером ходить и убивать казаков! —Сказывай, мерзавец, где взял револьвер?

Дальше началась обычная наглая процедура допроса. Все это обычно сопровождалось побоями и издевательствами.

Симонова избили снова и он, потеряв сознание, пришел в себя только в камере.

Об аресте т. Симонова в ту же ночь было известно комитету, который, учтя все обстоятельства дела, сумел вывести типографию в другое место.

Вскоре тов. Симонов был освобожден, т. к. никаких обвинений кроме ношения револьвера предъявить ему было нельзя. Кстати у него нашлись два солидные в глазах полиции поручителя—лавочник и еще кто то в роде первого.

V.

Техника снова очутилась в районе Иконниково (Ямы). Новая квартира была весьма неудобна, т. к. в соседних квартирах ютилось очень много всякого люда.

Вскоре пошел слух, что в одной из квартир поселились „фальшивомонетки“.

Слух дошел до домовладельца, который видимо очень и очень заинтересовался.

В этой квартире, где работал Симонов проживал Антон Пименов с женой и приехал из Твери специально для работ в технике Егор Иванович (кличка Егор).

Все это было для простого обывателя публика очень и очень подозрительная.

Ясно, что оставаться здесь было нельзя. Работа заранее была обречена на неудачу и грозила полным провалом. Необходимо было удирать. Дело обстояло только за помещением.

К этому времени любопытство хозяина настолько было подогрето, что он под предлогом ремонта пожаловал для личного обозрения квартиры, где проживали по его мнению загадочные фальшивомонетки... Как раз в самый разгар работы в наружную дверь постучали. Пришлось отпереть и на пороге оказались хозяин с хозяйкой, которые потребовали свободного осмотра всей квартиры.

Делать было нечего—пришлось согласиться. Впустив их в комнату, выходную дверь заперли.

Комнат, было четыре и домовладельцы быстро очутились в той из них, где находилась техника.

Перед их глазами стояли двое мужчин, перепачканных краской. На тумбочке лежало стекло, покрытое той же краской и валик.

Хозяин в придирчивом тоне стали добиваться, что в этой комнате делают квартиранты?

Дело было плохо! Надо было не теряя времени, выкручиваться. Тотчас же был намечен план действий—хозяева арестованы и дула револьверов направлены в их головы.

Раздалась команда:

Ни сместа, ни звука!... Хозяева замерли.

В то же время началась горячая работа по выноске шрифта и всех типографских принадлежностей.

Когда все было кончено, хозяевам заявили: в случае, если они заявят полиции или будут вообще болтать, то им грозит смерть. Этот приговор безусловно будет выполнен даже в том случае, если всех присутствующих арестуют.

Домовладельцы весьма перепугались и поклялись, что они будут молчать до гробовой доски.

VI.

После инцидента между домовладельцами и красными революционными печатниками, которых приняли за фальшивомонетчиков, дела с квартирой под технику на продолжительное время осложнились.

Четвертая по счету квартира оказалась совершенно неподходящей по конспиративным и другим соображениям. Опасность всыпаться в лапы жандармов была велика. Тем более типографию разыскивали очень давно, для чего вся сыскная полиция была поставлена на ноги. Ходили слухи, что за обнаружение техники объявлена большая денежная премия.

Кроме того и среди красных печатников вопрос осложнялся тем, что супруга т. Симонова формально не была членом партии, переживая конспиративную, революционную и подпольную страду, она и морально и физически переутомилась, что была вынуждена просить, чтобы ее освободили. Эти обстоятельства вынудили к временному прекращению работы техники. После долгих мытарств типография была убрана на время в более благонадежное и безопасное место на Борисовскую улицу.

Товарищ Симонов перебрался в гор. Шую для организации окружной техники для Иваново-Вознесенского района. Типография была поставлена в Шую усилиями Окружного Комитета Р. С. Д. Р. П. (большевиков), где и проработал т. Симонов около 4-х месяцев, т. е. до конца 1906 года.

Затем Симонов снова очутился в Иваново-Вознесенске, где был сведен с приезжающими из Костромы т. т. Александром, Соколовым и Верой Городецкой; им и была передана типография, переведенная на квартиру в Хуторово (против Гарелинского парка), где и приступила к работе.

В это время по стране все еще продолжались судорожные вспышки отдельных революционных актов, как следствие революционного действия 1905 года. Горячо настроенная рабочая молодежь, и отколовшаяся от партии ударившаяся в крайность, продолжала мастерить бомбы, производила экспроприаторские налеты, которые все более и более выражались в мелочные нападения. Черная клика также все более и более усиливалась и по России во всю гулял кровавый царский произвол вылившийся в возмутительную форму военных и полицейских карательных экспедиций, застенков, временных военных судов и т. п. Эти причины требовали от оставшихся партийных групп большого морального и фи-

зического напряжения сил. Нужен был большой такт и умение, чтобы вести правильно свою партийную работу в окружающих и все еще бушующих судорожных волнах.

Рабочие в типографии товарищи не всегда в точности соблюдали правила конспирации и благодаря личным знакомствам в квартиру приходили лица, никакого отношения к технике не имеющие. К Костромичам попадали люди которые имели непосредственное соприкосновение к эксам. В результате таких посещений в квартире получилась мастерская для починки бомб, а дальше произошел небольшой взрыв. Хотя взрыв и не причинил никаких повреждений и не вызвал особого переполоха, тем не менее за квартирой была установлена слежка. На улице и около дома вертелись подозрительные суб'екты—это были сыщики. Охранка нанюхивала. Остаться здесь было дальше невозможно и, обманув бдение сыщиков типографию перевезли в дер Котельницы.

VII.

В деревне Котельницах т. т. Соколов и Городецкая поселились с типографией в небольшом домике рядом с домом И. Зубкова. Здесь также на конспирацию не обращалось почти никакого внимания. Тем более Котельницы представляют из себя пригородную деревню, где каждый обыватель непременно знает, что делается в доме соседа. О всяком новом лице обычно в таких местах начинают докапываются: кто он такой, откуда родом, чем занимается и т. п.

Переселившиеся, видимо, очень мало обращали на это внимания. Попрежнему продолжались обычные посещения знакомых, все эти были лица на большем подозрении у обывателя и полиции. Несомненно многие таскали за собой по следам филеров. С приносской бумаги и обратной выносской прокламаций также не соблюдалось необходимой осторожности. Прокламации выносились днем в обычных свертках обернутых в какую нибудь материю или платок.

Посещавшие Зубкова боевики знали также о существовании типографии с первых же дней ее перевоза.

Само собой понятно, что при таких условиях типография долго существовать здесь немогла. Она должна была засыпаться. Так и произошло.

В одну из февральских или мартовских ночей 1907 года квартира была окружена сильным отрядом казаков и пеших городских. Большой наряд полиции и казаков обуславливался тем, что у полиции якобы были сведения, что вместе с типографией находится склад бомб и оружия и что при аресте/будет оказано сопротивление. Во время обыска на квартире были арестованы т. т. Соколов, Городецкая и Куренев.

Арестованных долго потом пытали, чтобы они указали: где спрятаны бомбы и оружие.

Кроме того на суде из показаний жандарма Яичкина выяснилась следующая подробность сыскной работы. Он между прочим заявил, что подпольная типография мучила их свыше полутора лет. Не один раз они нападали на верные следы типографии, точно устанавливали квартиру, а техника и квартиранты все таки уплывали из рук.

— Вот только бы арестовать,—заявлял Яичкин,—как уже тут было пусто... Снова нападали на след... Опять та же история.

Что за оказия, думаем? Ведь прямо сбились с ног...

Соколов, Городецкая и Куренев получили безсрочное поселение в Сибирь.

Симонов же был арестован в июне 1907 года, т. е. спустя после провала типографии м-ца четыре.

Во время следствия Симонову дали очную ставку с домовладелицей, которая заявила, что этот человек работал в типографии.

Симонов судился после и по суду получил четыре года каторжных работ, после отбытия каторги вышел на поселение, которое и отбывал до начала революции 1917 года в Енисейской губернии.

VIII.

В одно прекрасное время в 1907 году все принадлежности для революционного печатного станка г. Иваново-Вознесенска снова были привезены из Москвы т. Николайчиком и помещены на Ямах по Владимирской улице в доме П. В. Якимовой, где одно время проживала т. Маруся. Но отсюда вскоре типографию вынуждены были перевести в деревню Дьяково к отцу т. Марии Наговициной (кличка Труба). Здесь станок работал с перерывами несколько раз, эти перерывы объяснялись разными обстоятельствами и прежде всего конспирацией.

Очень частенько невзрачному мужичку, скромному и бедному отцу т. Марии Наговициной приходилось на затасканной деревенской кляченке кататься ночной порой по городу и его окрестностям с техникой спасая ее от сыщиков.

В это же время на Графской земле в маленьком домике П. П. Малкова проживала М. Н. Разумова (кличка Кинарейка), у которой на правах нахлебников проживали двое бывших тверских ткачей, Егор Иванович и Дмитрий Склисков, эти два товарища и были постоянными наборщиками и печатниками этой типографии.

С квартирой М. Н. Разумовой городской комитет сносился через т. т. Павла Поздышева, Н. Корнилова—кличка Прибой, Михаила Шибашева—кличка Муравей, а также с этой квартирой был некоторое время связан т. Федор—кличка Монах (интеллигент), который ушел впоследствии к эксистам.

Эти товарищи попеременно сносились с М. Разумовой по делам типографии и доставляли в ее квартиру оригиналы, Разумова же в свою очередь выносила отпечатанные прокламации из типографии и передавала их в профсоюзы, откуда они с вою очередь направлялись по фабрикам и заводам.

По причинам конспирации, о чем я говорил уже выше, и этому печатному станку не приходилось задерживаться подолгу на одном месте,—квартиры менялись очень часто. Сравнительно продолжительное время типография работала в деревне Афанасове в одной из деревенских бань. Эта квартира была предоставлена заботами т. Бирина, который работал слесарем, на одной из местных ф-к. Но и отсюда в одно время экстренным порядком пришлось типографию перебросить на другую квартиру, к некоему Коробочнику в Боголюбовскую слободу, где оставить ее было также невозможно вследствие трусости названного Коробочника.

Вследствие усиленной слежки охранки в эту же ночь пришлось типографию по частям укрывать в более надежных квартирах, так напр. шрифт был укрыт на одной из квартир на Борисовской улице, другая же часть этой же ночью была переброшена в местечко хуторово к ткацкому подмастерью Илье Ивановичу Кобанову. Здесь между прочим через некоторое время были сработаны два выпуска воззваний к рабочим района, одно из них говорило о проводах и наказе рабочему депутату т. Воронину, который был избран уже членом 3-й Государственной думы и организация готовилась к его проходам. В

самом непродолжительном времени техника была переведена из квартиры Кабанова в село Овдотьино, где также работать не пришлось.

Массовое рабочее движение в это время все более и более замирало, профессиональные союзы теряли сотнями своих членов, активную часть рабочих вожаков таскали по полицейским участкам, тюрьмам и гнали в ссылку.

После прокатившейся волны экспроприации полиция и жандармы особенно жестоко обрушились на все подозрительное, вследствие чего особенно трудно было устоять и сохранить свои небольшие ряды партийной организации Р.С.Д.Р.П. (большевиков). Посыпались репрессии за репрессией на поредевшие ряды партийной организации и она дрогнула и начала быстро терять немногочисленных своих членов. К началу 1908 года в организации остались немногочисленные разрозненные одиночки, которые на время прекратили всякую работу.

О дальнейшей судьбе типографии пишущему эти строки известно следующее: в начале 1908 г. случайно на улице был задержан работавший в типографии т. Д. Склисков, которому удалось убежать из полицейского участка и предупредить об угрожающей опасности. После чего т.т. Склисков и Егор Иванович скрылись из Иваново-Вознесенска и как мне было известно поселились на жительство в гор. Твери под настоящими своими фамилиями.

Что же касается судьбы самой типографии, то и пришлось разбить по частям и хранить в разных местах, так например у автора настоящих строк продолжительное время хранились кассы и другие мелкие принадлежности.

Большое количество шрифта было перевезено т. М. под кличкой—Голубкой к Дарье Ивановне Черниковой. Этот шрифт в конце 1908 г. или начале 1909 г. случайно попал в руки полиции. История обыска была такова: полиция подозревала, что хозяин дома, где проживала Д. И. занимается шинкарством, по этому случаю и пришли с обыском и в одном из чуланов наткнулись на мешки со шрифтом. Городовые сначала не могли опознать содержимое в мешках и один из них пригласил полицейского надзирателя, который с большим трудом опознал, что это шрифт. Дарья Ивановна была арестована. Во время дознания о виновности хранения шрифта, Д. И. помог отказаться от его хранения следующий случай. Суть дела объяснялась таким обстоятельством, что во время ареста шрифта, доставившая его М. Голубка страдавшая туберкулезом слегла в больницу чернорабочих, дни тов. Голубки были сочтены и она подала мысль, чтобы Д. И. во время следствия показала, что шрифт привезен и убран Голубкой без ведома Д. И.

Через несколько времени т. М. Голубка умерла в больнице чернорабочих. Это была молодая девушка из местных работниц.

Д. И. Черникова через несколько месяцев после дознания была освобождена из под стражи.

Так кончила свое существование и эта типография.

23 декабря 1921 г.

В. Смирнов (М—в).

П. А. Зарубин.

(К 35-ти летию со дня смерти).

Мы живем среди народа, по природе своей доровитого, и вот факт, неоспоримо подтверждающий это: ни одна страна Запада не дает столь высокого процента самоучек писателей, техников, основоположников различных сект...

М. Горький.

13-го августа настоящего года исполнилось 35 лет со дня смерти одного из замечательнейших русских самородков П. А. Зарубина.

В наши дни нелишне будет вспомнить этого даровитейшего выходца из недр народных, тем более что он теперь совершенно забыт и никому неизвестен.

Павел Алексеевич Зарубин родился 10 мая 1816 года на Волге, в посаде Пучеже, Костромской (ныне Иваново-Вознесенской) губернии.

Отец его, Алексей Яковлевич, небогатый мещанин, промышлял перевозкой кладей на своих барках и мелкой торговлей овощами и пряжей. Человек он был работающий, умный и грамотный. Грамотной была и жена его, женщина тоже неглупая, происходящая из духовного звания.

Рос П. А. Зарубин, подобно большинству мещанских ребятишек, представленный самому себе. Тем не менее с ранних лет стали обнаруживаться у него большие способности, проявлявшиеся особенно в любви к рисованию. Окружающей средой это, конечно, не замечалось и в семье он считался даже ребенком глупым, недалеким. Репутация эта укрепилась за ним после неудачной попытки матери обучить его грамоте. Три месяца продолжалось обучение, но не смотря на щедро сыпавшиеся щелчки и колотушки талантливый от природы мальчик никак не мог научиться чтению по тогдашнему методу „буки-аз“, состоявшему в бесчисленном механическом затверживании на память складов. В конце-концов мать потеряла терпение и оставила занятия с сыном. Но спустя некоторое время мальчик сам научился чтению, которое с тех пор и сделалось его любимым занятием. Учиться же в школе Зарубину не пришлось совсем.

В 1830 году умер от холеры отец Зарубина, а немного спустя и старший брат. Пятнадцатилетний мальчик остался единственным кормильцем семьи, состоявшей из матери, младшего брата и трех сестер. Волей-неволей пришлось ему взяться за отцовское дело, судопромышленность, к которой не имел ни способностей, ни охоты. А судьба, как нарочно, оказалась для него на этом поприще мачехой; вскоре же пошла ко дну две его расшивы, а несколько лет спустя потонула и последняя барка. Расставшись с судопромышленностью, Зарубин стал заниматься столярным и часовым ремеслами, великолепно изученными им самоучкой. В 1837 году он женился, с семьей расходы возросли и жить

стало тяжелее. Но он не унывал и, работая не покладая рук, крайне нуждаясь порою, не оставлял своих любимых занятий—чтения и рисования. Нередко они приводили его к семейным неприятностям, невежественные соседи-мещане смеялись над ним, дав прозвище „рехметчика“ и „грамматчика“, благочестивое купечество не принимало к себе на службу—словом картина, известная из биографий многих наших самородков...

В занятиях самообразованием Зарубин особенное влечение чувствовал к математическим наукам. К великому сожалению, долгое время единственным руководством ему служила старинная рукописная геометрия без начала и конца, да арифметика Магницкого 1703 года на славянском языке. Можно представить, сколько Зарубину пришлось потратить даром времени и напряженных усилий на то, чтобы самостоятельно додуматься до таких математических законов и положений, которые давно уже были опубликованы в новых учебниках.

От математики Зарубин перешел к астрономии и физике, а любовь к рисованию, соединенная с солидными познаниями в математических науках, натолкнула на изучение топографии и геодезии.

В рисовании же он достиг такого совершенства, что написанная им картина «Благовещение» заслужила общее одобрение на Костромской губернской выставке, бывшей в 1837 году.

В 1843 г. Сенатом был издан указ, разрешающий, в виду недостатка землемеров, принимать на государственную службу по межевой части лиц податного состояния, по сдаче ими установленного экзамена, с правом получения через десять лет чина.

Зарубин, будучи в это время в возрасте 26 лет, решил воспользоваться этим законом, чтобы осуществить свою давнишнюю мечту—поступить на государственную службу, и при том на такую, которая до некоторой степени составляла бы предмет его любимых ученых занятий.

Установленный экзамен сдан был им блестяще, но заделаться землемером ему все-таки не удалось. Окончательное утверждение в этом звании и определение на должность зависело от губернского землемера, который по обычаю того времени, облагал каждого новичка взяткой в 700 руб. ассигнациями. Бедняку Зарубину такая дань была непосильна и он пытался было взамен ее предложить самую дорогую для себя вещь—свою картину «Благовещение». Скромный дар этот, однако, не удовлетворил землемера. Хорошие экзаменационные отметки были переправлены на худшие и Зарубину была представлена лишь должность чертежника без жалованья и пособия.

С поступлением на службу, Зарубин в часы досуга стал деятельно работать, между прочим, и над усовершенствованием тогдашних землемерных инструментов. Не по душе пришлось талантливые работы скромного чертежника его чиновному начальству. Благодаря им легко обнаруживались грубые ошибки, возникающие вследствие полного невежества и незнания дела, это крайне оскорбляло и возмущало присяжных землемеров. И на беднягу Зарубина градом посыпались преследования, благодаря которым целых десять лет пришлось ему биться в бесправном положении чертежника.

Только в 1853 году наступило облегчение. В этом году новый Костромской губернатор, при расследовании злоупотреблений по межевому делу, обратил внимание на талантливого чертежника. При его содействии Зарубину было, наконец, дано звание землемера, а за прежнюю службу назначено единовременное пособие в 200 рублей.

К сожалению покровитель Зарубина—губернатор вскоре был переведен в другую губернию. Но скромная поддержка, оказанная им, и признание дарования ободрили Зарубина, вдохнули в него надежду и он решился послать в Академию Наук несколько своих изобретений по земельному делу. Результаты получились самые хорошие. За одно из изобретений, «планиметр», инструмент, чисто механическим способом определяющий квадратную меру плоскостей и сберегающий благодаря этому массу времени и труда,

необходимых на математические вычисления, Академия наградила его Демидовской премией и издала на свой счет составленную им брошюру „Описание планиметра“ (спб 1854 г.) За границей „планимерт“ также обратил на себя внимание, при чем Парижская академия наук тоже удостоила его премией.

Совершенно по иному отнеслось к замечательному изобретению Зарубина его непосредственное Костромское начальство. Оно сделало ему выговор, строго внушив воздержаться от дальнейших изобретений и служить, как все порядочные чиновники. Затем его переименовали из землемеров в помощники и помимо его желания перевели в Московский межевой корпус. А там на него возложили заведывание какой-то кладовой и стали употреблять чуть-ли не в качестве рассыльного.

Но это испытание не сломило Зарубина. Через два года (1855 г.) он представил в Академию Наук усовершенствованную форму „планиметра“ — „планиметр-самокат“ и вновь удостоился награждения демидовской премией...}

Потеряв терпение от постоянных преследований, Зарубин в 1858 году вышел в отставку и уехал на родину, в Пучеж. Здесь он стал заниматься часовым ремеслом, посвящая досуги изобретениям и литературной деятельности. В 1863 году лично знавший Зарубина министр А. А. Зеленый вызвал его в Петербург и определил на должность помощника директора сельско-хозяйственного музея, которую он и занимал до 1883 года когда вновь вышел в отставку. И на этой службе не мало пришлось перенести ему неприятностей от лиц, завидовавших его способностям к изобретениям.

За этот период времени Зарубиным был изобретен „многосильный гидропульт“ (1866 г.) и „водоподъемник“ (1867 г.), за которые Вольно-Экономическое Общество наградило его золотыми медалями, а за „водоподъемник“ он, кроме того получил от императора Александра II-го орден св. Владимира 4-й степени. Изобретен им был еще сельско-хозяйственный пожарный насос, награжденный на Всероссийской выставке 1882 г. медалью. Много имел он и других проектов, как например, способ определения морской глубины без посредства линя или веревки, способ определения скорости хода суда посредством музыкальных звуков и многие другие. Но все эти проекты вследствие отсутствия средств и поддержки остались не осуществленными.

В последние годы своей жизни Зарубин особенно усердно работал над задуманными им ртутными весами. Но тяжкая болезнь — рак в печени и смерть не дали ему возможности довести до конца свою работу.

Умер Зарубин 31 июля 1886 года в Петербурге, не выполнив благодаря печальной российской действительности и половины того что мог бы сделать, находясь в более культурной обстановке.

В лицах, знавших близко Зарубина, он оставил по себе самую хорошую память, как человек, обладавший прекрасными качествами души.

Вольно-Экономическое Общество почтило память Зарубина учреждением его имени золотой медали...

П. А. Зарубин известен не только как замечательный изобретатель, но как и талантливый писатель. Не смотря на многочисленные занятия и неблагоприятные жизненные условия, он находил время и для литературных работ, при чем в течении десяти лет (1867—1878) был даже редактором газеты «Петербургский Листок». Литературные произведения его распадаются на научно-общественные и на беллетристические. Произведения первого рода научные — стали появляться в печати с 1854 года, когда Академией Наук была издана его брошюра „Описание планиметра“. Затем были напечатаны:

I. В „Морском Сборнике“: „Исправление повреждений паровой машины“ 1854 г. кн. 6; „О книге Е. Голицина: „Руководство к практической навигации и мореходной астрономии“, 1855 г. кн. 5.

II. В „Русском Вестнике“: „Заметки о Варнавинском уезде“, 1856 г. кн. 19.

III. В „Московских Ведомостях“: Заметка на сочинение гр. Н. Толстого: „Заволжская часть Макарьевского уезда, Нижегородской губернии“, 1857 г. № 13.

IV. В „Сельском Хозяйстве и Лесоводстве“: О книге А. Ганса: „Уход за паровыми машинами“ 1870 г. № 11.

V. В „Петербургском Листке“: О сборнике, изданном Усовым и Сабаневым под названием „Природа“, 1874 г. №№ 118—121; „О дополнении к настольному словарю Ф. Толя“ 1875 г. № 168; Рецензия брошюры Сытенко „Дешевые перевозочные средства, применимые и в военное время“ 1878 г. №№ 22 и 23; „По поводу прекращения журнала „Знамя“, 1878 г. № 175.

VI. В „Природе и Охоте“ 1878 г.: „Воздухоплавание“ кн. 6; „Несколько слов о летательных машинах“ кн. 7; „Определение плотности воздуха на различных высотах“ кн. 8; „О том, как разрешается учеными специалистами вопрос о летании птиц“ кн. 9; „Значение в природе секундного маятника“ кн. 11; „Устройство секундного маятника“ кн. 12.

Отдельными брошюрами издано: „Паровое паханье в Копорье, имени Д. В. Зиновьева, Петергофского уезда, Петербургской губернии“. Спб. 1869 г. 24 стр. (Вместе с В. Черняевым); „О городском освещении вообще и о газоосвещении“, „дневной свет“. Спб. 1879 г. 56 стр.; „Современные социалисты-революционеры, их идеи, деятельность и цель, которой они стремятся достигнуть“ Спб. 1879 г. 56 стр.; „Современный суд над редакторами“ Спб. 1880 г., 87 стр.; „Научное разрешение вопроса об ассенизации Петербурга по проекту Линдлея“ Спб. 1886 г., стр. 49.

Из беллетристических произведений П. А. Зарубина напечатаны: роман „Жизнь“ (в „Библиотеке для чтения“ 1861 г. кн. 2 и 3); „Торговая Волга“ очерки (там же, кн. 11, 12); „Мещанская женитьба“ повесть (там же, 1862 г. кн. 11, 12); „Происшествие сороковых годов“, эпизод из романа („Эпоха“, 1864 г. кн. 3, 4); „Темные и светлые стороны русской жизни“ роман, Спб. 1872 г. 2 т. т.

Как писатель-беллетрист, Зарубин до сих пор не оценен, но произведения его будут всегда иметь серьезное значение. В них любовно, с мельчайшими подробностями, но в тоже время ярко и увлекательно рисуется народная жизнь среднего Поволжья времен 30-х и 40-х годов прошлого столетия. Волжское судоходство того времени, природа и жизнь волгарей нашли себе в Зарубине правдивого бытописателя, каких немного в русской литературе. Он один из первых познакомил читающую публику с бытом волжских бурлаков, дав из этой области ряд ярких, подробных и правдивых картин. Все произведения его автобиографичны, и по ним можно проследить как рос, жил и с каким трудом и энергией выбивался на дорогу этот замечательный самородок...*)

Л. Б-ов.

—•••О|||О•••—

*) Помнит-ли П. А. Зарубина его родина—Пучеж, имеется-ли там школа или библиотека его имени? Если нет, следует поторопиться, кому следует, открытием таковых и приобретением для них портрета даровитого земляка.

Л. Б.

Стихотворения Сергея Семина*).

Р О Д И Н А.

Русь, кормилица родная,
За тебя и за тобой,
Знамя воли поднимая,
Мы идем в кровавый бой.
Этот труженик смиренный
Весь в мозолях и пыли
Наш кормилец неизменный
Пахарь матери земли.
Наш народ, забытый богом,
С красным знаменем в руках,
Верным счастья залогом
В боевых стоит рядах,
Он разрушит эту крепость,
Эти цепи разорвет,
Укротит врага свирепость
И к победе приведет.
Упадет пред ним твердыня
Вековечных палачей
Лицемерная святыня,
Сила золота, мечей.
Бей-же красную тревогу,
Выше знамя поднимай
И на вольную дорогу
Выводи родимый край!

Н А Б А Т.

Скорбей и радостей глашатай,
Над бездной горя вековой
Пусть нищий, воин и оратай
Призывный слышат голос твой.
Ударь! Пора из груди медной
Глас Правды слышать в высоте,
Пропой свободе гимн победный,
Хвалу нетленной красоте.
Вливай в сердца струей огнистой
Свою незыблемую мощь,—
Еще не кончен путь тернистый,
Еще темна засилья ночь
Пусть светлый день увидим вскоре.
Пусть разгорится он светло,
Пусть горизонт колышут зори,
Чтоб солнце Истины взошло!
И если кто, палимый зноем,
В пути захочет отдохнуть
И под губительным покоем
Готов безвременно заснуть,—
Ударь набат, ударь сильнее
И всех измученных борьбой
Веди вперед, веди смелее,
Гуди набат, зови на бой!

* Поэт-рабочий С. А. Семин (по происхождению крестьянин села Перелог, Суздальского уезда, Владимирской г.), долгое время работавший на фабриках в Иваново-Вознесенске, скончался 28 апреля 1921 г. 24 лет от роду. Приводимые здесь стихотворения войдут в предполагаемый к изданию томик его стихов. (См. „Начало“ № 1).

УТЕШЕНИЕ.

Душа тревожному унынию
Близка бывает иногда
И жизнь мне кажется пустынею
Непроходимой никогда.
А я, в песках ее затерянный,
Бреду, сжигаемый лучом,
В возможность счастья разуверенный,
Не видя радости ни в чем.
И мнится мне тогда, что брошенный
Прою случая на свет,
Я в этом мире—гость непрошенный
И на шире мне места нет.
Тогда с надеждой рассветающей
От повседневной суеты
Иду я в храм благоухающий,
Где солнцу молятся цветы.
В тот храм, где песней несмолкаемой
Звучит хвала Творцу миров
И где рекой неизсякаемой
Течет обилие даров,—
Иду с надеждой, с утешением
Невзгоды жизни пережить,
Земным молиться украшениям,
В их храме душу освежить.

Р О Ж Ь.

Над полями, солнцем залитыми,
Где весь день кричат перепела,
Рожь шумит волнами золотыми,
Наливна, душиста и спела.
Широко полей ржаное море,
Ни конца, ни края не видать
Что за радость в солнечном просторе!
Как земли безмерна благодать!
Над ржаным бескрайним океаном
Рассыпают жаворонки трель
Эной висит серебряным туманом
Да о чем то грезит коростель.
Грудь полна истомою отрадной
Оттого-ль что в солнечной глуши
В этой чудной шире неоглядной
Не видать нигде людской души.
Только молча черный лес дивится
Полевой безлюдной красоте
Ветерок дитятею резвится
Звонко льются трели в высоте.

С Т А Р И К.

Ах, жестки тесовые палаты!
Ночь долга, удастся ли заснуть?
Как овчина тьма нависла в хате
Режет кашель старческую грудь.
Шевелятся мысли, словно змеи,
Разжигая жгучую тоску
И идут одна другой чернее,
Не дают покою старику.
Думал он: вот греюсь только печкой.
Мочи нет, пора бы умереть
А как вспомнишь лето—поле с речкой,
Тянется вновь на солнце посмотреть.
Увидать весной поля в расцвете

В ясный день брести опять по ним
Ах, долит тоска по вольном свете
Жить бы жить, не расставаясь с ним.
Хоть бы сном скорее позабыться!
Ночи мне не спяся уж давно
Видно сердцу больше так не биться,
Как бывало билося оно.
Что ни день, то сердцу тяжелее
Встать на ноги слабость не дает
Что ни час—былая жизнь светлее
В ослабленной памяти встает.

Радость весенняя.

Теплится в храме зеленом
Жаркого солнца лампада
В сердце моем умиленном
Мир, тишина и отрада
Снова цветистой поляны
Запах струится целебный
Льется за далью туманной
Гимн воскресенью хвалебный.

* * *

Светлым земли красотам
С верой иду я молиться
Сердцу так радостно биться,
Юным отдавшись мечтам.
Тянется солнечный путь
К синим безоблачным далям,
Чуждая бранным печалям,
Дышет восторженно грудь.
В даль под хоругвями роц
В грезах иду я забыться.
Там, где цветет и таится
Непостижимая мощь.
Слушать, как славит земля
Песней свое воскресение
Юную душу в поля
Вызвала радость весенняя.

ФИАЛКИ.

Фиалки нежные из рощи
В красивый собраны букет,—
Красноречивее и проще
От сердца милого привет.
Цветы, вы сердцу в утешенье
Рукой любви поднесены.
Вы—полевое украшеньё,
Питомцы радостной весны.
Вам больше не видать денницы
И с ветерками не играть,—
В угрюмой комнате больницы
Вы приютились умирать.
И здесь не долго вы ласкали
Взор опечаленных очей:
Засохли, медленно повяли
Без благодетельных лучей.
Напрасно ждал узор фиалок
Себе живительной росы...
О, как он сердцу мил и жалок
Вид умирающей красы!

—••O|||O••—

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Страница из истории контр-революции на Юге.

А. Суворин—Алексей Порошин „Поход Корнилова“—с рисунками, планами боев и картой похода.—Изд. II кн-во „Новый человек“. Предисловие помечено: „Декабрь 1918 г.“ В. Волин,—„Дон и Добровольческая Армия“. Очерки недавнего прошлого „Библиотечка Вечер. Вр.“ Р. н/Д. 1919 г.

В историю гражданской войны не одна черная страница вписана добровольческой армией. Вся южная контр-революция махровым цветом распустилась лишь с момента окончательного оформления добровольческой армии: Дон стал Российской Вандеей с возвращением туда добровольческой армии.

Как возникла эта армия, как она росла, как оформлялась ее идеология,—вот о чем рассказывают вышеозначенные книги—не одинакового достоинства, не с одинаковым успехом. Литературных достоинств за этими книгами—никаких; однако же читаете и читаете их не без интереса, особенно А. Суворина; читаете и поражаетесь, какая бездна отделяет нас от этих людей.

После разгона предпарламента генерал М. Алексеев, переодетый в штатское платье, убежал на Дон. 2/XI 917 года он прибыл в Новочеркасск и „опубликовал свое воззвание к офицерам русской армии, где приглашал их вступать в ряды формируемой им добровольческой армии. 19/XI из Быхова убежал Корнилов, переодетый „большим стариком солдатом“ и добрался 6/XII на Дон. Новочеркасск становился гнездом черного воронья. Туда же стянулись с разных концов черносотенные генералы: Деникин, Марков, Лукомский, Эрдели; с трудом, но непрерывно собирались добровольцы: офицеры, юнкера, кадеты, студенты...

Так собиралась сила контр-революции за спиной казаков, в то время, как у них еще шло интенсивное классовое расслоение: на казаков стариков и кулаков, которые собирались вокруг Войскового Круга и генерала Каледина и казаков молодых, фронтовиков—бедноты казачьей, пришлых—которые группировались вокруг большевиков.

Попытки свергнуть Круг и присоединиться к Советской России начались в ноябре же 917 года. В конце ноября было восстание в Ростове, большевики захватили Нахичевань и двигались на Новочеркасск. Каледин растерялся, „казаки отказались повиноваться и не шли против большевиков“. „Спас тогда Дон Алексеев“—т. е. подавил восстание рабочих Ростова. 25/XII Каледин подписал приказ о назначении Корнилова Главнокомандующим и тем легализовал добров. армию.

Первым боем этой, уже легальной, армии был бой под Гуковым. Корнилов провожая ее на бой сказал *„Не берите мне этих негодяев в плен! Чем больше террора, тем больше будет с ними победы!“* Этот завет до конца остался в силе, стал традицией добров. армии.

Красная Гвардия со всех концов сжимала кольцо вокруг асиного гнезда. Каледин, чувствуя неизбежность падения Новочеркасска, застрелился—Корнилову нужно было спешить. Он и решил уйти с Дона, он увел армию в глубь предкавказских степей в надежде получить поддержку казаков кубанских и терских.

Так начался поход Корнилова, который, по жестокости своей, превзошел все известные нам походы, „Все большевики, захваченные нами с оружием в руках,—рассказывает А. Суворин,—застреливались на месте—в одиночку, десятками, сотнями... Это была „война на истребление“ (стр. 37). Около моста произошло прямое избиение большевиков; вода реки покраснела от крови падавших в нее трупов. Наши с высот били на выбор, как на стрельбище“...

А виселицы...

Сколько они воздвигнули на своем пути виселиц! „На площади хутора (Журавский хутор) перед станичным правлением был повешен помощник народного комиссара, захваченный на высылках“. Тут же Корнилов приказал выпороть несколько десятков фронтовиков и баб на сходе за их большевизм.

В Ново-Дмитриевской число заложников дошло до 50 человек.

„Дела о них постепенно рассматривались корпусным судом, действовавшим в армии и о приговорах все население и армия узнавали время до времени без всяких оповещений: на площади перед станичным управлением армия, уходя, оставляла несколько висящих безмолвных трупов“... (Стр. 81). Таково было „триумфальное шествие“ смерти по западной части Северного Кавказа. Они шли среди врагов, они всюду встречали лишь угрюмые лица да плохо скрытые проклятия.

„Я помню горящие злостно глаза молодого казака фронтовика, когда он вынужден был подчиниться прямому приказанию и дать лампу раненым.. Хозяева не давали света, не носили воды“...

Так было с первых шагов и чем глубже тем больше и тем острее ощущали они ненависть казаков и крестьян.

Вечером радушно принимали их преимущественно в интеллигентных семьях, а утром „нить духовной связи рвалась, мы выступали опять одинокие среди пустой степи, опять в кольце врагов, следовавших за нами“—и понятно, даже самому захудалому интеллигенту трудно выбирать между корявым, грубым но свободолюбивым трудовым человеком и средневековыми чингизханами, несущими с собой гнет, разорение, виселицы.

Но и другие встречи они видали: перейдя реку Лабу „мы потянулись по равнине среди хуторов... Населены были они „иногородними“, ярыми большевиками. Жителя их встречали раз'езды наши выстрелами, или просто оставляли хаты, уходя сами и уводя с собой крупную „худобу“—животину. Медленно брели мы между хуторами, задерживаясь и останавливаясь... а тем временем справа и слева сыпались и сыпались на нас гранаты и шрапнель. Мы шли точно в тесном кругу злых собак, остервенело лаявших и старавшихся рвануть зубом“... Стр. 59).

Их было немного в этой армии добровольцев. Если не считать Родзянко, Н. Дьлова и еще с несколько десятков матерых контр-революционеров генералов от штатских, то под Екатериндаром собралось не более 7-8 тысяч („3000 пехоты, 4000 конницы 8 трехдюймовых орудий“).

Чем же объяснить ее живучесть?

Ее однородным классовым составом:—ведь вся армия состояла из офицеров, студентов, юнкеров, бабетов; точностью и конкретностью политических идеалов, в защиту которых шли они, и соответствию этих идеалов с классовыми интересами армейцев: армия шла на защиту монархизма и не скрывала этого,—офицерский полк имени Алексеева состоял почти сплошь из монархистов; Корниловский—из «народоправцев», т. е. людей, мнение которых А. Суворин формулирует: «Монархическая республика». Во время похода эта армия политически окончательно оформилась, сорганизовалась, впитала в себя отовсюду наиболее стойкий монархический элемент и появилась на Дону уже как вполне годное ядро для большой армии.

Победить эту армию с сплоченным сильным ядром, классово-спаянным, на первых порах было невозможно. Для этого необходимо было, чтобы это классовое ядро разложилось, рассосалось. Это было неминуемо после того как преемник Корнилова—Деникин перешел к принудительному набору. Это и случилось в конце 1919 и в начале 1920 г.

Вторая книжка—В. Волина рассказывает историю донской контр-революции, но она настолько бездарна и слаба, что не выдерживает никакой критики.

В. Т-р.

ПЕСТРЯДЬ.

Футуризм прошлого.

Надобно отдать справедливость нашим футуристам—они, пожалуй, единственные чистой воды сангвиники среди наших литературных кружков и толков, они достойно упрямы и энергичны. Но на этом кажется и кончается все, что они внесли с собой на литературную эстраду. В том, что они упрямы и энергичны, согласятся все во главе с самими новаторами, но далее идет разногласие—иные находят их сумасшедшими, иные клоунами, иные носителями неких новых идей в искусстве и т. д.

Центр спора—именно вопрос: ново-ли то, что они принесли с собой, или не ново. Интересно, что две крайности, два полюса современной литературы—Бунин и Брюсов—одинаково отрицают за их литературными выпадами всякую новизну.

Было-ли что-нибудь подобное раньше? Бывала-ли вкраплена в произведения словесного творчества бессмыслица? Считали-ли ее, если не обладающей сверхъестественным, непостижимым для обыкновенного смертного, смыслом, то хотя-бы считали-ли возможным и нужным ее присутствие в поэтическом произведении?

Ответ на первое можно найти в книге Сахарова «Сказания русского народа», ответ на второе—в творениях Гёте.

У Сахарова записаны «Песня ведьм на лысой горе», «Шабашная песня ведьм», «Песня ведьм на роковом шабаше», «Чародейская песня русалок» и «Чародейская песня солнцевох дев».

Песня ведьм на лысой горе.

Кумара.
Них, них, запалам, бада
Эшохомо, лаваса, шиббода.
Кумара.
А.а.а.—о.о.о.—и.и.и.—э.э.э.—у.у.у.—е.е.е.
Ла, ла, соб, ли, ли, соб, лу, лу, соб!
Жунжан. и т. д.

Шабашная песня ведьм.

Гутц.
Алегремос!
Астарот, бегемот!
Аксафат, сабатан!
Тенемос!
Гутц! и т. д.

Песня ведьм на роковом шабаше.

Шикалу, ликалу!
Шагадам, магадам, викадам.
Небазгин, доюлазгин, фиказгин.
Бейхамаиш, гейлулашанн. эламанн.
Ликалу!
Шию, шию, дан,—ба, ба, бан, ю.
Шию, шию, нетоли,—ба, ба, згин, ю.
Шию, шию, бала, ли, ба, ба, дам ю. и т. д.

Песня русалок.

В ней интересен припев:

Ио, и, о—ио, цок! Ио, иа, паццо! Ио, иа, пипацола!
Зоокатама, зоосцома, никам, никам, шолда!
Пац, пац, пац, пац, пац, пац, пац, пац!
Пинцо, пинцо, пинцо, дынза!
Шоно, пинцо, пинцо, дынза! и т. д.

Чародейская песня солнцевых дев.

Отличается от предыдущих тем, что тарабарщина только вкраплена в русский текст. Так например:

Во всем доме—гилло, магал—
Сидела солнцева дева.
Не терем златой—шингафа—искала дева,
Не богатырь могуч из Ноугорода подлетал;
Подлетал огненный змей.—Лиф, лиф зауцапа калапуда
и т. д.

Эта песня служит как бы переходом к тому образцу, который дал Гёте. У него также тарабарщина только вкреплена в виде песни цыганок, дикие звуки которой дали ему настроение, но не открыли для него своего сокровенного смысла. Вот это стихотворение:

ZIGEYNERLICD.

ZIGEYNERIN.

Im Nebelgeriesel, im tiefen Schnee,
Im wilden Wald, in der Winternacht,
Ich hörte der Wölfe Hungergeheul,
Ich hörte der Eulen geschrei:

A L L E.

Wille wau, wau, wau!
Wille wo, wo, wo!

E I N E.

Wito hul и т. д.

ПЕРЕВОД. *Цыганская песня. Цыганка*: Сквозь пляску мглы, среди глубоких снегов, в диком лесу, в зимнюю ночь я слышала голодный вой волков, я слышала крики сов. *Все*: Виллэ, вау, вау, вау! Виллэ во, во, во! *Одна*: Вито гу!

Цыганка: Мой муж убил около плетня кошку, любимую черную кошку колдуньи (ведьмы) Аннэ. Вот и пришли ночью ко мне семь волков, это были семь женщин из деревни. *Все*: Виллэ вау, вау, вау! Виллэ во, во, во. *Одна*: Вито гу!

Цыганка: Я их всех узнала, отлично узнала: Аннэ, Урзель, Кэтэ, Лир, Барбэ, Эва, Бэт,—они, окружив, выли на меня. (Припев тот же).

Цыганка: Тогда я назвала их всех громко по именам—„чего тебе, Аннэ? чего тебе, Бэт?“ Они заметались, заскакали и кинулись прочь, и выли на бегу. (Припев тот же).

Вой волков здесь передан звукоподражательно и в то же время припев цыганок, изображающих волчью стаю, напоминает их собственные песни на родном языке.

Футуристы ходят очевидно вокруг того же, что оказалось подвластно гению. Они идут приблизительно тем же путем, где некогда был встречен реализм, затем импрессионизм, продолжал этот путь в прямом направлении. Гений разрешил эту задачу иначе. Он почувствовал недостаточность слов, даже быть может ненужность их в данном случае и применил звукоподражание, которым так удивительно пользовались праотцы, творцы слов.

Что касается приведенных нами образцов народного творчества, то и их тарабарщина оказалась после новейших исследований полной всяческого смысла, ибо она ничто иное, как имена божеств и подлинные заклинания древнего востока („Экскурсы в области народного творчества“—В. С. Миллер).

Лев Зилов.

П е с т р я д ь.

Не один раз на страницах „Вестника Литературы“ поднимался вопрос о вандализме последних лет. Бесследно погибают культурные ценности: книги, картины, фарфор, старинная стильная мебель,—погибают сплошь и рядом благодаря нашей нерачительности и халатности. Среди макулатуры, пересылаемой на бумажные фабрики для переработки в бумагу, встречаются редкие и ценные книги, реликвии, рукописи начала прошлого столетия, подписанные выдающимися историческими деятелями того времени, старые издания произведений наших классиков, словари и много других культурных ценностей.

Небрежное отношение к культурным ценностям бытовое явление нашего времени.

В нашем краю, как и везде, не умеют ценить веками накопленные культурные богатства. Мне вспоминается перевозка ценнейшей библиотеки из усадьбы статс-секретаря Куломзина в Кинешемском уезде. Редкостную Куломзинскую библиотеку перевозили в село Есицлево. Дело было зимой, книги выносили охапками и бросали на дровни и, ничем не покрытые, отвозили. Шел снег покрывая их

толстым слоем и никто не подумал книги прикрыть. Дорогой часть книг сваливалась с дровней и попадала под ноги идущих сзади лошадей, их никто не поднимал, другая часть (редкостные издания с рисунками) были растащены по домам восчиками и от них не осталось следа. Перевезенная в Есицлево библиотека долго валялась там в каком то сарае без всякого присмотра.

Вспоминается много других подобных случаев, напр., запустение усадьбы писателей Потехиных в Юрьевецком у.

Но обратимся к обзору.

В статье „Бесследно погибающие архивы“ (№ 4-5 „Вест. Лит.“) рассказывается о судьбе архива недавно скончавшегося исследователя раскола и сектанства А. С. Пругавина, состоявшего из весьма ценных реликвий, документов по расколу и картин, с большим трудом и немалыми затратами собранных в течение многих лет... Пругавинский архив вместе с книгами кто-то и куда то распрядился перевезти на телеге. Телега с книгами и архивом, не доезжая до места назначения опрокинулась в грязь. Перевозчики, расцени,

вая содержимое телеги, как старые негодные бумаги, не потрудились подобрать их. Часть они оставили в грязи, а несколько охапок унесли на растопку печей.

Еще на днях рассказывает журнал—агенты комиссии при Правбуме по охране отправляемых на перемол на писчебумажные фабрики имеющих большое историческое значение документов и редких книг, набрали на обреченные на гибель книги и документы графов Платтеров и быв. директора государств театров Всеволожского. В архиве Платтеров оказались важные исторические документы начала XIX века и эпохи отечественной войны факсимиле Наполеона, Александра I и выдающихся исторических деятелей, много редких гравюр, изображающих въезд французов в Москву, похороны Александра I и т. п.

Архив Всеволожского изобилует письмами писателей и артистов и материалами по истории театра.

Однажды одному из членов комиссии при Правбуме сообщили по телефону о топке печей в одном из учреждений содержимым библиотеки.

— Мы не книги бросаем в печки, а совершенно ненужные бумаги и какой то рваный пергамент,—поспешили его успокоить источники.

На проверке оказалось, что это были грамоты Наполеона, приказы Гарибальди, был даже документ за подписью Генриха IV.

О погибающих культурных ценностях писали в свое время А. В. Луначарский и Горький, сокрушаясь о невежестве массы, не сумевшей оценить значение уничтожаемого, но конец вандализму не положен.

Чтобы положить конец совершающемуся на наших глазах вандализму, нужны чрезвычайные меры. Одной из таких мер,—указывает „Вест. Лит.“—является учреждение чрезвычайной комиссии по обследованию и учету книг. Эта книжная „Чека“ может сослужить большую службу делу спасения книжных богатств от варварского истребления.

Кстати: мне вспоминается сообщение нашей местной газеты „Рабочего Края“ года два тому назад о том, как в гостинице Шорыгина, где теперь помещается Губпрофсовет, топили печи архивом по истории революционного движения Иваново-Вознесенского края.

* * *

12 ноября (нов. ст.) 1921 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского.

Так многоценно его творчество и такое колоссальнейшее наследие оставил после себя великий художник слова и проникновенный психолог Ф. М., что не смотря на его взгляды, не вяжущиеся со взглядами носителей идей коммунизма, столетие со дня его рождения ознаменовано в культурных кругах,

путем устройства ряда вечеров выставок переизданий его произведений, решений по-становки памятников и т. д.

У Анненкова есть запись, как встретил Белинский роман „Бедные люди“ Достоевского.

„Вот от этой самой рукописи, которую которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это—роман начинающего таланта... Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому“.

Так был встречен Достоевский. И ушел от нас гигантом, и чем дальше идет время, тем ценнее его произведения.

Д. Лутохин в „Вест. Лит.“ (№ 11) вспоминает встречу с Анной Григорьевной (женой Ф. М.), когда он был первокурсником—технологом и отправился к Анне Григорьевне подписаться на 6-е юбилейное издание.

А. Г. очень долго беседовала со мной о муже. Между прочим, рассказала она мне, что обыкновенно стенографически записывала все сколько нибудь любопытные разговоры с Ф. М., что имеет архив с письмами покойного к ней и к другим, но что пока считает преждевременным это печатать. С тех пор прошло много лет, а материалов для биографии Достоевского прибавилось немного. Из того же, о чем говорила А. Г. Достоевская, и во все ничего не появилось. В 1918 г. Достоевская скончалась и судьба ее литературного наследия неизвестна.

Б. Л. Модзалевский, недавно приступивший к опубликованию переписки Достоевского с редакторами „Русского Вестника“ („Былое“ № 14 и 15) сообщает, что года за три до своей смерти А. Г. Достоевская занялась разборкой и приведением в порядок архива Ф. М. Архив находился в Сестрорецке,—но что с ним случилось—он не знает.

Поистине этот архив клад, на поиски которого должны отправиться все исследователи Достоевского.

Отмечу кстати,—говорит Д. Лутохин,—что в 6-е издание сочинений Достоевского Анна Григорьевна обещала включить ненапечатанные главы из „Бесов“. Кое что новое из этого романа в приложениях к нему было и тогда дано, но знаменитая глава—исповедь Ставрогина, так и осталась не напечатанной по настоящее время.

В литературных кругах существовала легенда, что исповедь эта автобиографична.

Как раз геперь особенно своевременно приступить к изысканиям неопубликованных материалов о Достоевском.

В книге „Памятники русской культуры“ под редакцией К. Чуковского (1918 г.) отведено Достоевскому значительное место. Но к трудам Чуковского журнал „Книга и революция“ советует подходить осторожно.

„Есть люди, которые в самый серьезный и душевный разговор умеют внести шутство

*) „Книга и революция“ № 1.

и скоморошество и тем совершенно лишит его глубокого содержания. — отзывается „Кн. и рев.“ Есть и писатели, обладающие этой способностью; из их рук все выходит приниженным, вульгаризованным, самое серьезное делается мещански скоморошеским. На этот путь вступил и Чуковский“.

К дню столетия Ф. М-ча (12 ноября 1921 г.) проделана большая работа по увековечению его памяти, как глубочайшего художника — психолога. Но этого мало. Его произведения должны служить настольной книгой, а между тем, — посмотрите по библиотекам, — далеко не везде имеются собрания его сочинений, или имеется настолько „зачитанные“, растрепанные с потерей многих листов, что вопрос пополнения библиотек сочинениями Достоевского — очередной вопрос.

* * *

В Петроградских газетах промелькнуло сообщение:

15 сентября 1921 г. в „Доме просвещения имени А. И. Герцена“ комиссией по организации празднования столетия со дня рождения Н. А. Некрасова открыт семинарий по изучению жизни и творчества Некрасова.

Царское правительство не без основания опасаясь революционизирующего влияния народолюбивой и протестующей поэзии Некрасова, всячески препятствовало знакомству с ней широких масс трудящегося населения. Это отчасти и удалось — трудящиеся недостаточно еще знают Некрасова.

Познакомившись же с Некрасовым, обычно начинают горячо им интересоваться и глубоко его любить. Это и естественно, ибо Некрасов в полном смысле этого слова, был певцом трудящихся, главным образом крестьянства, с его горестями и радостями, и непримиримым врагом эксплуататоров народного труда: аристократии, помещиков, чиновничества, плутократии (так называл Некрасов буржуазию). Наконец, и поэзия Некрасова, не смотря на тяжесть цензурного гнета, постоянно прорываются чисто-революционные призывы.

Учитывая все эти обстоятельства, комиссия по празднованию Некрасовской годовщины организовала „Некрасовский семинарий“, основная цель которого — дать возможность желающим из среды трудящихся углубить свое знакомство с жизнью и творчеством Некрасова.

Другая цель семинария была — практическая: празднование Некрасовской годовщины потребовало значительной организационной работы.

Давно уже назрел вопрос об изучении творчества и жизни Некрасова.

В упомянутой выше книге Чуковского („Памятники русской культуры“) приведены, между прочим, „Детские воспоминания Некрасова“ и „Из записной книжки Некрасова“. Но здесь снова приходится оговориться:

В 1884 г. в Перми была выпущена литографированная книжка с таким титулом; «Н.

А. Н.—«Как я велик!» Повесть из жизни литературного гения. Пермь. Литография Злотникова 1884 г. Не продается!! Была ли эта книжка в 264 страницы отлитографирована в Перми, был ли там литограф Злотников — неизвестно, — замечает „Книга и революция“ — но эта повесть и есть та самая, из которой Чуковский дал одну главу, только им и найденную в бумагах поэта. Между тем в повести 5 глав.

Журнал замечает:

— Пошел какой урожай на „неизданные“, уже давно отпечатанные произведения наших больших писателей.

* * *

Большие толки вызвал хранившийся в Румянцевском музее в Москве „дневник Пушкина“, который сын его генерал-лейтенант А. А. Пушкин долго скрывал от посторонних взоров. Говорил, что он боялся обнаружения причастия поэта к революционным кружкам его времени. Два года тому назад А. А. Пушкин умер, и явилась возможность огласить подлинное содержание Пушкинского дневника, воспроизведенного в сочинениях поэта в искаженном и непонятном виде по копиям.

Дневник, — (по словам „Вест. Лит.“) представляет большую историко-литературную и биографическую ценность.

В первой книге исторического журнала „Дела и дни“ находим указания, что возникший при Академии Наук Пушкинский дом за последнее время особенно широко развил свою деятельность. Его задача — создание музея русской литературы XIX века, посвященного памяти величайшего ее представителя — Пушкина, ядром для музея послужила собственная библиотека Пушкина, приобретенная для Дома на средства казны и вскоре научно описанная, затем — парижский Пушкинский музей Онегина, купленный у владельца, но оставшийся в Париже, в пожизненном пользовании собирателя, наконец — часть библиотечного и рукописного собрания известного библиографа П. А. Ефремова и библиотека и архив одного из друзей Пушкина проф. П. А. Плетнева. За время революции в Пушкинский Дом переданы Пушкинский музей Лицея и Лермонтовский музей бывшего Николаевского кавалерийского училища, поступили архивы поэтов Майкова и Полонского, архив Л. Ф. Пантелеева, мумаги поэтов Рыльева, Кюльхебекера и Дельвига (товарищей Пушкина), бумаги известного писателя Даля и много других, неизданные бумаги Пушкина, среди которых оказалась оставшаяся донныне неизвестной его „История Петра Великого“, а также драгоценное собрание рукописей известного коллекционера П. Я. Дашкова; в нескольких стах переплетенных томов рукописей и нескольких тысячах отдельных автографов этого собрания представлены все русские писатели XIX века от Пушкина до Чехова; ценный архив Максима Горького и много других ценнейших собраний документов.

* * *

„Президиум Моск. Совета разрешил частным, кооперативным и другим издательствам свободно продавать по рыночным ценам те книги, которые они издают без субсидии от государства. Для разрешения вопросов печатания книг при Губиздате утверждается редакционная коллегия“.

Вот первое сообщение, промелькнувшее в хронике московских газет несколько месяцев тому назад.

Вскоре после этого промелькнуло еще несколько заметок о возможности создания частных издательств.

В официальном сборнике „Красная Москва“ (под редакцией председателя Москов. Совета Л. В. Каменева и заведывающего отделом печати Н. Анагорского) в обстоятельной статье „Литературная Москва“ говорится:

«При условии необычайного сокращения изданий и книгоиздательских возможностей, писатели литературой жить не могут. По данным анкеты, произведенной Союзом Писателей в Москве, более 90% писателей не живут литературой... Писатели служат в советских учреждениях и если эта служба приносит пользу учреждениям, то русской литературе пользы никакой, конечно, не принесет».

„Вест. Литературы“ по этому поводу говорит:

Хотя Государственное Издательство в своем органе „Книжный Мир“ и заявило о своем благожелательном отношении к частным издательствам, делающим полезную работу, тем не менее литературная жизнь сократилась.

В журнале *) помещены два заявления Народному Комиссару Просвещения А. В. Луначарскому от Всероссийского Союза Писателей и от конференции кооперативных издательств („Голос минувшего“, „Кн-во писателей“, „Задруга“, „Полярная звезда“, „Геспериды“ и „Литературное звено“. В первом говорится:

Русское писательство три года ждет, что советская власть обратит внимание на условия, в которых гнетуще и мучительно бьется живая русская литература... Условия, в которых русское писательство находилось эти три года, не улучшаются, а ухудшаются. Доступ к типографиям не расширяется, а суживается. Последние рукописи ныне снимаются с очередей и возвращаются авторам... Русская литература перестает существовать. Из явления мирового значения она превратилась в явление комнатного обихода для небольшой группы лиц, имеющих возможность услышать друг друга за чтением своих рукописей. История не забудет отметить того факта, что в 1920 г., в первой четверти века двадцатого, русские писатели, точно много веков назад, до открытия книгопечатания, переписывали от руки свои произведения в одном экземпляре и так выставляли их на продажу

*) „Вестн. Литературы“.

в 2—3 книжных лавках Союза Писателей в Москве и Петрограде, ибо никакого другого пути к общению с читателем им дано не было. И это в то время, когда на руках у русских писателей недвижно, не превращаясь в книги, лежит сейчас (по данным Всер. Союза Пис.) около полутора тысяч приготовленных к печати рукописей художественного и литературно-критического порядка, и в то самое время, когда типографии, все взятые Государственной властью в свое ведение, выпускают сотни тысяч всяческих изданий.

Нам понятно, что политическая Государственная власть в первую голову и преимущественно посылает в читательские массы то, что соответствует политическим потребностям дня.

...Мы понимаем также, что жесточайшая разруха, недостаток бумаги, изношенность типографий должны были вызвать сокращение работы печатного станка, и мы сознательно миримся с этим сокращением, как с неизбежностью. Но мы не можем помириться с тем, что ныне, в этом урезанном запасе, русскому писательству уже не отводится никакой доли... мы видим, что невольное стеснение литературы превращается в ее сознательное умерщвление.

Свое заявление В. С. Пис. заканчивает, указавшим что надо обеспечить возможность связи литературы с читателями: русская литература должна жить, и голос ее должен быть слышен.

Конференция Кооперативных Издательств, отстаивая право на существование, указывает: свобода творчества со всеми возможностями ее существования,—и прежде всего книжной—необходимое условие для развития художественной культуры. Но государственный аппарат, неизбежно действующий в известных политических, материальных и персональных рамках, не может обеспечить этого условия, ибо он не может взять на себя всей беспредельной области художественных и научных исканий и опытов.

И вот, как результат указанных выше и целого ряда других ходатайств—состоялось разрешение учреждения частных издательств при условии закупки для своих нужд бумаги собственным попечением.

Литературные круги ожили. Последние вести из Москвы, Петрограда и др. крупных городов говорят о большой работе в этом направлении. Недалек день возрождения художественного слова, по которому так сильно изголодался любитель изящной словесности.

* * *

Говоря об условиях, в которых приходится работать научным силам страны, исторический журнал „Дела и дни“ отмечает:

Жутью веет от бесстрастных страниц протоколов Академии Наук, когда читаешь, что работа одного академика за его смертью передается другому, через несколько страниц—

постановление, что, за смертью второго работа переходит к третьему, а потом новое постановление—о передаче работы за смертью третьего—к четвертому... Многочисленные смерти петроградских ученых на почве истощения убедительно свидетельствуют о невыносимой тяжести для ученых работников условий жизни.

...На стенах зданий Академии Наук можно было читать объявления домового администрации, где проживающие в здании Академии деятели науки назначались наряду с прочими служащими на шестичасовые дежурства по охране сложенных на улице возле Академии дров, предназначенных для отопления ее помещений.

Для характеристики современных условий работы русских ученых показательна статья Максима Горького „Что такое наука“ в первой книжке журнала „Наука и ее работники“. М. Горькому приходится доказывать, что „основное богатство каждой страны заключается в количестве разума, в количестве интеллектуальных сил, воспитанных и накопленных народом“, что „в высшей степени важно, чтобы народ обладал достаточным количеством работников науки и чтобы жизнь этих людей не тратилась бессмысленно“.

„Надо понять, что труд ученого—достояние всего человечества и наука является областью наибольшего бескорыстия“. „Жизнь ученого в наши дни—ужасна по условиям физическим и мучительна морально, ибо тяжело человеку, который, чувствуя себя в силах поднять гору, лишен возможности поднять и горсть песка. Когда на пути к величайшему научному открытию, которое, обогатив страну, осчастливит всю массу ее народа, когда на этом пути стоит постыдное препятствие в виде отсутствия света для работы, холода и голода,—это преступно. Ибо в этом факте ясно чувствуется полное отсутствие понимания глубокой важности и бесспорной пользы научного творчества“.

При таких условиях жизни и работы деятелей науки и вообще работников культуры не было бы удивительно, если бы научная и вообще культурная работа совершенно замерла. Гораздо более удивительно то, что, наперекор всем затруднениям и препятствиям, она продолжается. Тем более, что „война так обеднила страну, что наука ощутила себя в положении Робинзона Крузо на другой день после кораблекрушения“.

* * *

В специальном Толстовском №-ре „Вестника Литературы“ (№ 11—23) среди прочего матерпала опубликованы весьма знаменательные данные о Л. Н. Толстом и цензуре.

Никто из русских писателей не причинял так много беспокойства цензуре, как Л. Н. Толстой, отмечает журнал. Многие из его произведений подвергались в разное время преследованиям. Но запрещающая его произведения, уничтожая напечатанные, привлекая к

ответственности, подчас суровой, издателей и редакторов периодических изданий, пытавшихся распространять толстовские писания, и даже лиц, писавших о Толстом, цензура, однако, не решалась привлекать его к ответственности. Факт, кажется, беспримерный в истории русской литературы и цензуры. Глубоко ошибаются те, кто объясняет такое отношение к Л. Н-чу его, будто бы привилегированным положением, как графа, представителя богатого и знатного рода, почитаемого русским дворянством и бюрократией. Здесь сказались исключительно неумолимая нравственная сила Л. Н-ча. Пигмеи, державшие в своих руках Россию, не могли не сознавать, что перед ними великан духа и мысли, мировой гений против слова которого бороться „дозволено“ только в тиши департаментских кабинетов, в секретных бумагах, но не насильственными средствами. Даже Синод „осудил“ Толстого только словом, предав его анафеме на бумаге. Будь на месте Толстого человек с меньшей моральной силой, он нашел бы себе приют в какой-либо из монастырских тюрем.

В статье приводится длинейший перечень циркуляров Главного Управления по делам печати, предписывающих не допускать к печати произведений Л. Н-ча. Первый из них относится к 1887 г. С той поры чуть не ежегодно издавалось по несколько циркуляров, воспрещавших наблюдение за тем, чтобы уже отпечатанные книги не продавались и о продаже их не делалось объявлений в периодической прессе.

Цензура прикладывала свои руки к произведениям Толстого, духовные лица копались в душе его, а сыщики рылись в его яснополянском обители.

Третье отделение не могло отправить в Тулу никого лучше, как двух полуграмотных сыщиков: Шипова и Зимина. В отношении Шипова управляющий III отделением генерал Потапов наложил резолюцию: „это простой сыщик для карманных ворюшек“ и удивляется, как могли его выбрать. Второй сыщик, прибыв в Тулу, разблаговестил всем, что он „агент правительства“ и что ему „поручены важные секретные дела“. Потом запынствовал по притонам и гостиницам низшего разряда. Это было уже оскорблением гениального человека в простом назначении такого ничтожества выслеживать его.

Помимо того, что посторонние лица копались в душе Л. Н-ча,—его личная жизнь в семейном кругу в Ясной Поляне была далеко неблагоприятной. Следующие выписки из дневника Льва Николаевича,—говорит журнал „Дела и дни“,—описывающие самый его уход и обстоятельства, вызвавшие этот шаг, также дают понятие о том, что позволяла графиня Софья Андреевна по отношению к своему мужу, и вполне опровергают те ложные сообщения, которые она со дня смерти Л. Н-ча с такой настойчивостью повсеместно и во всеулышание распространяла.

Из дневника Л. Н. Толстого:*)

25 октября 1910 г. Софья Андреевна все также тревожна. 27 октября 1910 г. Встал очень рано. Всю ночь видел дурные сны. Тяжесть отношений все увеличивается.

28 окт. 1910 г. Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять как прежние ночи услышал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, вынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно читает.

Накануне она просила, требовала, чтобы я не запер дверь. Ее обе двери отворены, так, что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движения, снова должны быть известны ей и быть под ее контролем.

Опять шаги, осторожное отпирание дверей и она проходит.

Не знаю, отчего это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел.

Отворяется дверь и входит С. А., спрашивая „о здоровьи“ и удивляясь на свет у меня, который она видела у меня.

Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать.

Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать: бужу Душана*) потом Сашу,**) они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет—сцена, истерика, и уж вперед без сцены не уехать».

Далее в дневнике Л. Н-ча описывается отъезд.

В целом ряде документов, опубликованных в журнале „Дела и дни“ рассказывается о душевной трагедии Л. Н-ча, остро переживаемой им в последние дни перед уходом. В письме его к дочери Александре Львовне говорится, между прочим:

„Главное, чтобы они поняли и постарались внушить ей (графине Софии Андреевне), что мне с этим подглядыванием, подслушиванием вечными укоризнами, распоряжением мною как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к самому близкому и нужному мне человеку,***) с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви, что такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна, что если комунибудь топиться, то уж не как не ей, а мне; что я желаю одного—свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо.“

Эти данные проливают новый свет на душевную трагедию Л. Н-ча и становится ясной причина его ухода.

Обозреватель.

*) по новой орфографии.

*) Доктор Д. П. Маковицкий.

**) Дочь А. Л. Толстая.

***) В. Г. Черткову.

ТРАУРНАЯ СТРАНИЦА.

Дорогое и редкое исключение.

(Памяти В. Г. Короленко).

В 1908 году вышла книга Короленко „Отошедшие“. В ней, в очерке, посвященном Г. И. Успенскому, он писал; „Нужно с грустью признаться, что реальная личность писателя, художника, артиста—редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем по их произведениям. Во время творчества идей, звуков, образов мы становимся несколько выше нашей средней личности. Мы как бы уходим в маленькую горную часовенку, отгороженную от наших будней. А затем, „когда не требует поэта к священной жертве Аполлон“, мы опять спускаемся с этих вершин, которые,—велики они или малы,—все таки составляют высшие точки нашего личного существования. Иной раз этот обычный уровень очень удален от вершин, и вот почему так часто первое впечатление при встрече с писателем—бывает легкое движение разочарования: нам трудно связать в одно целое наше идеальное представление с реальной личностью.

Нобывают дорогие и редкие исключения, когда оба эти представления совпадают вполне и нераздельно. Таким именно исключением был Г. И. Успенский“.

Умер Владимир Галактионович, и, собирая свои впечатления от него, от его Художественных Творений и от жизненных действий, мы говорим: вот и еще одно, „дорогое и редкое исключение“. Слово и дело, творчество и жизнь были в нем едино. Художник Короленко творил „иллюзию мира“, в которой была „живая художественная правда“. Владимир Галактионович Короленко в действительном мире, нашем, в „дурном обществе“, среди „бытовых явлений“, создавал или укреплял правду жизни, бодро и стойко защищал „законность, человечность и право“.

И там, и здесь—и в „горной часовенке“, и среди „наших будней“—он не был титаном. Ни безграничных далей Льва Толстого, ни бездонных глубин Достоевского—нет в его творчестве, как нет в его жизни сверхчеловеческого. Но и там, и здесь есть человеческое, и оно—свое. И он „был один, сам по себе,

ни на кого не был похож, и никто не был похож на него". Это свое было безусловно „выше средней личности“ и вместе оно было дорого и близко нашей средней личности. И вот это-то вместе, в одно и то же время быть выше и быть близким—оно у Короленко свое, и едва ли не самое дорогое в нем. Это свойство ночных огней—„приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью“—оно обнаружилось и в его творчестве и в его „реальной личности“. А быть выше и вместе близким быть может лишь тот, кому высокое близко и кто близок высокому. Так оно и было с Короленко. „Это был уникум человеческой породы, редкой красоты и редкого нравственного достоинства“.

„Я чрезвычайно рад, что познакомился с вами,—писал Короленко, Чехов (17 окт. 1887 г.). Говорю я это искренно и от чистого сердца. Во первых, я глубоко ценю и люблю ваш талант; он дорог для меня по многим причинам. Во вторых, мне кажется, что если я и вы проживем на этом свете еще лет 10—20, то нам с вами в будущем не обойтись без точек общего схода. Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и не серьезный; я на замечании, выражаясь языком поэтов свою чистую музу я любил, но не уважал, изменял ей и не раз водил ее туда, где ей не подобает быть. **Вы же серьезны, крепки и верны**“.

Да, вот именно так: хорошо с ним, близкий он, родной. Он любит нас, жалеет всех. Да, всех. Он сам говорит: „Люди были мне близки и дороги, и мне было жаль их, как родных... Только оттого, что они люди“...

И вместе он такой „серьезный, крепкий и вечный“. На него можно положиться, ибо гуманизму его, его любви к человеку чужд всякий сентиментализм. Он радостно видит и нам дает видеть светлое лицо жизни, но он знает и „изнанку“, и показывает ее в творчестве своем, и борется с нею в нашей жизни. В живой душе большого художника бодрствует крепкая совесть, и нас призывает он бодрствовать: „не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду“. „Впереди—огни“, но они далеко, и надо опять и опять, всегда „налегать на весла“...

В своем „Эпизоде“ Короленко, вспоминая свои беседы с В. М. Соболевским, рассказывает, как они говорили о том, что... „еще далеко до настоящей свободы“; что после российской „конституции“ стало как будто еще дальше, но **нужно всетаки жить и работать**“...

И тому, что это не только нужно, но и можно, Короленко учил, и не словом только, но и всею жизнью, из которой выросла и которую украсила его поэзия.

Теперь его нет с нами. И он „отошел“...

„Старый звонарь отзвонил“... Кого послать на смену?...

И. Смирнов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА.

— Борис Пильняк написал роман из русской революционной жизни.

— Н. Н. Евреинов написал новую пьесу — пародию „Конкурс остроумия“.

— Е. П. Карпов написал пьесу из русской революционной жизни последних лет под названием „Митькина карьера“. Пьеса является первой частью трилогии из истории революции 1917 г. и последующих годов.

— Музей Революции (Петр.) приступил к составлению „Истории русской революции“. Цель ее дать объективное, чисто фактическое, чуждое всякой партийности изложение событий русской революции. Составление истории поручено Д. О. Заславскому и В. А. Канторовичу.

— Петр. Изд. „Мысль“ приобретены и вскоре будут выпущены посмертные стихи Н. С. Гумилева, сборник стихов Юрия Верховского, „Солнце в заточении“, сборник стихов Марии Шкапской „Час вечерний“, монография Георгия Иванова — „Н. С. Гумилев“.

— То же издательство prepares к выпуску, под общей редакцией проф. Е. В. Тарле, серию мемуаров, вышедших в последние годы за границей и посвященных мировой войне. В первую очередь намечены мемуары Гинденбурга, Чернина и Людендорфа.

— В Петрограде образовалось новое кооперативное издательство, ставящее себе целью издание научно-популярных книг и учебников. Ближайшее участие в нем принимают И. Р. Кугель, проф. Е. В. Тарле, П. Е. Щеголев, Я. Перельман и Я. М. Млодык.

В Москве, группе „ново-веховцев“, стоящих на позиции авторов сборника „Смена вех“, разрешен выпуск беспартийного еженедельника.

— В Полтаве предан суду местного ревтрибунала беллетрист Юрий Слезкин. Ему инкриминируется помещение в одной из деникинских газет статьи „Красная одурь“.

— Петроградский Дом Литераторов предполагает выпустить сборник статей по поводу „Смены вех“, с участием П. К. Губера, А. С. Изгоева, проф. Л. П. Карсавина, J. Clemens'a, проф. Н. О. Лосского и др.

— В изд-ве „Петрополис“ выйдет новый сборник стихов Ф. К. Сологуба „Свирель“ (Русские бержереты).

— В Петроградском изд-ве „Картонный Домик“ вышла книга „Об Александре Блоке“ — сборник статей Б. Энгельгардта („В пути погибший“), Б. Эйхенбаума („Судьбы Блока“), В. Жирмунского („Поэзия Блока“), Ю. Верховского („Восхождение“), В. Пяста („О первом томе Блока“), Ю. Тынянова („Блок и Гейне“), А. Слонимского („Блок и Вл. Соловьев“), Н. Анциферова („Непостижимый город“) и В. Пяста („О чтении Блоком стихов“).

— Он же выпускает книгу молодого беллетриста М. Зоценко „Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова“.

— В Петр. изд-ве „Эпоха“ вышли роман Ф. Сологуба „Заклинательница-змея“, книга стихов Ф. Сологуба „Благовест“, книга о Блоке К. И. Чуковского (с приложением хронологии всех стихотворений, написанных Блоком).

Ал. Н. Толстой написал новую пьесу „Любовь — книга золотая“, которая пойдет впервые в Парижском театре „Le Vieux Colombier“.

Пьеса Ал. Н. Толстого „Касатка“ переведена на французский яз. и также пойдет в зимнем сезоне, в одном из парижских театров.

— В парижских „Северных записках“ закончен печатанием роман А. Н. Толстого „Хождение по мукам“, который зарубежная русская печать считает самым крупным явлением русской беллетристики за последние два года. Действие романа разыгрывается на фоне русской революции. В „Русской мысли“ напечатаны рассказы А. Н. Толстого „Посрамленный Калиостро“ и роман Гр. Гребенщикова „Родник в пустыне“.

— В варшавской газете „Robotnik“, органе П.—П.—С., напечатаны в переводе Софии Войнаровской „Двенадцать“ А. Блока. Перевод выполнен недурно, причем наиболее удался переводчице капризный ритм поэмы. Читатель, вернее слушатель, совершенно незнакомый с польским языком, тотчас по ритму же узнает произведение.

— В № 4 французского журнала „Signaux de France et Belgique“ напечатана статья И. Эренбурга „Русская поэзия и революция“. Автор статьи разделяет современных русских поэтов на четыре группы: отрицающих революцию (Цветаева, Бальмонт); тех, кто старается ее понять и осмыслить (Вяч. Иванов, Мандельштам, Волошин, Анна Ахматова, Пастернак и сам Эренбург); близкие им Александр Блок, Андрей Белый и Сергей Есенин, готовые принять революцию, пока она отвечает их собственным, религиозным или иным, чаяниям; и, наконец, последняя группа—принявшие революцию безусловно (В. Брюсов, Маяковский и так назыв. пролетарские поэты, из которых право называться поэтами имеют, по мнению автора, лишь Герасимов и Казин).

— В Берлине возникло изд-во «Грани» (Cottbeierstrasse, 14, III), выпускающее альманах под тем же названием, с участием А. М. Ремизова, И. Бунина, Г. Гребенщикова, А. Дроздова, И. Соколова-Микитова, К. Бальмонта, А. Черного, Вл. Сирина, А. Амфитеатрова, А. Домайской, А. Ремизова (сборн. «Крошенные рыла»), Вл. Сирина (стихи), А. Черного; книги для детей: «Цветень» (сборн. произведений Г. Вяткина, А. Доманской, А. Дроздова, Б. Лазаревского, И. Соколова-Микитова, А. Черного, К. Бальмонта), «Красные поигрунки А. Ремизова и др.

— В Берлине неизвестным издательством выпущена «Русская история от Гостомысла» А. К. Толстого с «продолжением ее по 1921 год, составленным не Толстым», а кем—неизвестно.

— В недавно выпущенной в Берлине первой (ноябрьской) книжке нового «литературно-художественного и общественного ежемесячного журнала» «Сполохи», выходящего под ред. Ал. Дроздова, напечатаны рассказы А. Ремизова, А. Федорова, И. Соколова и А. Даманской; стихи К. Бальмонта, Л. Столицы, А. Черного и др. и статьи А. Я. Левинсона («Беллетристика о революции»), М. Н. Шварца, А. Дроздова, профес. А. Яценко, П. Краснова, Ив. Пуни и др.

— В Париже, в изд-ве «Русская земля» вышел сборник новых стихотворений К. Д. Бальмонта «Дар земле».

— В Шанхае функционирует несколько русских издательств, выпускающих рассказы Аверченко и Тэффи, сценки Руденкова с предисловием Куприна, переводные романы бульварного типа и детские книги.

— В Японии состоялся недавно конкурс поэтов. В нем приняло участие не более и не менее, как 17.000 кандидатов в лауреаты. Финал неожиданно вызвал жестокое разочарование в стране Восходящего Солнца: когда был вскрыт пакет с фамилией лица, признанного достойным первого император. приза, победительницей на конкурсе наци-

ональных поэтов Японии оказалась давно проживающая в Токио американка Бернет.

— В августе с. г. состоится в Блеславле особая серия театральных представлений, посвященная Гергардту Гауптману, которому исполняется 15 ноября 1922 г. 60 лет. Германское общественное мнение почти единодушно в своем желании придать юбилею Гауптмана характер большого национального торжества. Гауптан написал новую поэму «Анна».

— Английский писатель Гарольд Никльсон выпустил новый большой труд о Верлене. Разделяя очень распространенное в английской критической литературе мнение о том, что во Франции нет поэтов, Никльсон подчеркивает иностранное происхождение Верлена (отец поэта был родом из Бельгии, а сам Верлен родился в Меце) и доказывает, что славу его создали не французы, а иностранцы.

— Отец футуризма Маринетти сделал недавно попытку проповедывать свои идеи со сцены. Первое представление его «Шатра сюрпризов» в Риме сопровождалось очередным скандалом. Маринетти, в безукоризненном фраке, появился на сцене и обратился к публике с хвалебной речью по адресу... самого себя. После первых же слов в зрительном зале поднялся невообразимый свист и шиканье. На сцену полетели яблоки, помидоры, гнилые яйца. Попытки начать представление были безуспешны. Кончилось тем, что актеры во главе с Маринетти, также стали бросать в публику овощи и представление было объявлено оконченным.

— Судя по петроградским журналам „Вестник Литературы“, „Летопись Дома Литераторов“ и по заметкам, изредка встречающимся в газетах, в Петрограде начала развиваться издательская деятельность, существует ряд издательств: „Огни“, „Мысль“, „Петрополис“, „Колос“, „Научное Книгоиздательство“, „Право“, „Наука и Школа“, „Академическое книгоиздательство“, изд. „Артель трудсоюза“, „Кольцо поэтов“, „Странствующий энтузиаст“, „Космист“ (пролетарских поэтов) и др.

— Редакционной Коллегией Издательства „Всемирная Литература“ принято к изданию перевод писем Шопенгауэра. Половина писем переведена К. А. Эрбергом. Другая половина, а также вступительная статья о философии Шопенгауэра поручена Э. Ф. Голлербаху.

— Издательство „Имажинисты“, в Москве, готовит к печати сборник стихов „Пламя язв“ и „Трикирий“ (Есенин—Ивнев—Мариненгоф), опыт параллельной биографии.

— Книгоиздательство „Картонный Домик“ печатает сборник статей об Александре Блоке. В сборнике предположены статьи С. Бернштейна, В. Жирмунского, В. Пяста, А. Слонимского, Ю. Тынянова, В. Ходасевича, Б. Эйхенбаума и Б. Энгельгардта. Кроме сборника, издательством подготов-

ляется к печати поэма Г. Маслова „Аврора“ со вступительной статьей Ю. Тынянова и том неизданных стихов Иннокентия Анненского.

— «Алконост», выпускает воспоминания о Блоке.

— В скором времени выходит сильно запоздавшая вторая книга журнала «Дела и дни», где между прочим, будет опубликован «Дневник Николая II».

— Немецкий писатель Цвейг издал интересную книгу о Достоевском.

— В вышедшем в Берлине художественном журнале „Жар-птица“ А. Когана помещены: „Невеста“ Бальмонта, рассказы Тэффи „Соловки“, очерк Чирикова „О чем“, С. Маковского о заграничных художественных театрах, А. Толстого о Судейкине и др.

— Н. П. Карабчевский издал в Милане книгу „Потемкин“ (драматические сцены русской жизни).

— Образовавшееся в Ревеле изд-во „Библиофил“ издает сборник рассказов и стихотворений Сологуба, рассказы Ремизова, повесть Амфитеатрова „Зачарованная степь“ мемуары А. Ф. Кони (3 т. „На жизненном пути“), воспоминания В. И. Немировича-Данченко и др.

— В Берлине, в изд-ве Эфрона вышли стихотворения Ахматовой.

— Моск. изд-во в Мюнхене выпустило сборник „Царство Антихриста“, куда вошли статья Мережковского, З. Гиппиус, Д. В. Filosofova, „Дневник З. Гиппиус“ и „Записная книжка“ Мережковского (1919—1920).

— Изд-вом „Москва“ в Берлине выпущен сборник стихотворений Игоря Северянина „Менестрель“. Цена для Советской России 6000 р. Этим же изд-вом выпущена книга А. Родзянко о сев.-зап. армии.

— В выходящем в Берлине „Временнике литер. и политики“ (№ 2), помещены: поэма А. Белого „Первое свидание“, его же статья — „Прыжок в царство свободы“, А. Блока „Крушение гуманизма“ (печатались в „Знамени Труда“), Иванова-Разумника „Культура и цивилизация“, К. Эрберга „О догматах и ересях в искусстве“.

Среди писателей.

— Деятельность московских писателей, по сообщению „В. Лит.“, протекает почти исключительно в области академической жизни. Книги печатаются редко, литературных журналов нет. Исключение составляют иماجинисты, усердно поставляющие на книжный рынок брошюры своих стихов.

Писатели философы группируются вокруг созданной Н. А. Бердяевым „Вольной Академии духовной культуры“. Здесь нередко происходят доклады на философские, социальные и религиозные темы.

Очень популярны, по прежнему, лекции проф. Ю. И. Айхенвальда.

Большинство московских писателей зани-

маются, помимо литературной работы, книжной торговлей. В книжных магазинах можно увидеть за прилавками Сакулина, Мякотина, Айхенвальда, Бердяева, Есенина, М. Осоргина, Бор. Зайцева, Шпетта и других.

С. Н. Дурылин (автор книги „Вагнер и Россия“ и многих религиозно-философских статей) отошел от литературы, приняв сан священника.

В. Я. Брюсов несет множество официальных обязанностей, между прочим, состоит цензором новых изданий. Он принимает также участие в московском Союзе Поэтов, выступая иногда на вечерах в „Стоиле Пегаса“ и др. поэзо-кафе.

А. К. Воронский, редактор „Красной Нови“, приступает к изданию целого ряда литературных альманахов.

Увековечение памяти

А. А. Блока.

Комитет по увековечению памяти А. А. Блока обращается с призывом ко всем лицам, у которых находятся рукописи и письма А. А., а также все материалы, относящиеся к его жизни и творчеству представлять в подлинниках или точных копиях в распоряжение Комитета, на имя вдовы покойного Л. Д. Блок и матери его А. А. Кублицкой-Пиотух, Петроград, Офицерская ул., № 57, кв. 23.

Пять книг на всю жизнь.

„Если бы вам предстояло отправиться навсегда в пустынный край, отрезанный от остального мира, на необитаемый остров, в одиночное заключение или вообще туда, где исключается всякая возможность общения с людьми, то, пользуясь свободой выбора всего пяти книг, какими пятью книгами запаслись бы вы на всю вашу дальнейшую одинокую жизнь?“

Такая анкета была предпринята редакцией одного журнала в 1911—12 г.г. Анкета имела большой успех и редакцией было получено до 4000 ответов. В анкете принимали участие широкие круги общества: писатели, ученые, общественные деятели и т. д.

В большинстве ответов были названы: Библия, Энциклопедический словарь, (!) „Илиада“ Гомера, „Божественная комедия“ Данте и „Жизнь животных“ Брема.

С той поры литературные вкусы, нравы и симпатии сильно изменились. Поэтому „Вест. Лит.“ нашел вполне своевременным повторить анкету о 5 книгах и просит присылать ответы. Желательно, чтобы в письмах отмечались: возраст, занятие и подробный адрес: последний может оказаться нужным, если будет потребность вступить с кем либо в переписку по вопросам, связанным с анкетой. Адрес: Петроград, Моховая, 25, кв. 5, редакция „Вестника Литературы“ для П. С. Сергеева.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

„Печать и революция“ (журнал критики и библиографии, книга первая, Госиздательство, 1921 г, Москва, 191 стр.).

Если у нас очень мало периодических журналов, то, все же, за 3 года деятельность Госиздата — деятельность, относительно, плодотворная и плодотворная: госиздат переиздал часть классиков, выпустил много научной, социалистической и пропагандистской литературы. Россия, без сомнения, обогатилась множеством весьма ценных изданий, главным образом, посвященных социализму. Много, разумеется, в деятельности госиздата было промахов, недосмотров и упущений. Много выпущено литературы однодневной, умирающей вместе с отмиранием того или иного, выдвигаемого жизнью злободневного вопроса. Через чур мало издано беллетристики, касающейся наших дней. В том, что она есть и покоится в папках и портфелях пишущей братии — нет никакого сомнения: это доказано целым рядом мелькающих в газетах статей и заметок.

Журнал „Печать и революция“ выпущен как раз кстати. Это энциклопедия, художественный каталог деятельности госиздата. Журнал останавливается на всем, на чем можно остановиться и что так или иначе привлекает внимание.

„Печать и революция“ издан по типу дореволюционных „Бюллетеней литературы и жизни“ и „Журнала-журналов“, с той разницей, что он гораздо разносторонней и удобочитаемей первого и серьезней второго. „Печать и революция“ — это концентрация всех тех ценностей, которые раскиданы госиздатом по Сов. Республике.

Нужда в таком журнале огромная. Таких журналов мы не имели. Правда, петроградское отд. госиздата выпускало подобие такого журнала („Книга и революция“), но он чрезвычайно однобок и сух. Значение „Печати и революции“ громадное. Мы знаем, что большинство выпускаемых серьезных книг не доходит не только до масс, но и до многих (в том числе культурно-просветительных) организаций и учреждений. Этот журнал (правда, в самой маленькой степени) пополняет пробел. Читатель входит в курс литературной жизни, узнает много нового, знакомится с литературными новинками. Это при нашей книжной бедности, осложненной, к тому же медлительностью и самой системой распределения книжных запасов — большое достижение!

Первый выпуск „Печати и революции“ составлен живо и что особенно ценно — чрезвычайно лестно и умело разнообразно. Он содержит в себе несколько руководя-

щих статей (Луначарского, Степанова, Мещерякова — кстати ими редактируемый) и массу ценнейшего библиографического материала.

Из статей необходимо выделить „Из истории Крымской печати в 1919—20 г. г. П. Новицкого. Перед читателем проходят картины из жизни крымской печати при Врангеле: в преобладающем большинстве лакейство, часто литературная онанья, реже — „нейтралитет“ с „правым“ уклоном и в качестве исключения, — робкий голос протеста, моментально заглушаемый суровым окриком жандармерии, незавидная и неблагодарная доля!

Интересна информация Мещерякова о заграничной прессе. Среди библиографического материала интересен отдел „Социализм и коммунизм“, где находим отзывы о таких редких в наше время книгах, как „Терроризм и коммунизм“ — Л. Троцкого, и „Карл Маркс и люди сороковых годов“ — Д. Рязанова. Хорош отдел „История революции“, объединяющий отзывы о всех новинках в этой области, но неудачно составлен отдел художественной литературы, останавливающийся, в большинстве, на книгах, не привлекающих внимания.

В отделе хроники находим много интересных подробностей как о состоянии литературы (советской и заграничной), так и о жизни писателей. Между прочим, в отделе хроники имеется интересная заметка „Писатель и издатель“, содержащая в себе переписку Гржебина и Дм. Мережковского. Характерны детали: Гиппиус, продав Гржебину свои стихи, деньги получила, а материал не сдала; Куприн продал сочинения уже проданные другому издательству; Мережковский и Ремизов тоже самое. Неладное творится с „братьями-писателями“, совсем неладное!

Самое же ценное в журнале то, что это журнал марксистской критики, марксистского подхода к литературе и марксистского ее анализа. Это делает журнал историческим вкладом в марксистскую литературу.

Издан журнал роскошно, на великолепной бумаге.

Остается искренне пожелать, чтобы по специфическому свойству современных изданий — умирать на первом выпуске, „Печать и революция“ явилась исключением. Журнал должен существовать во что бы то ни стало. *Ник. С—ов.*

„Печать и революция“, № 2-ой, Август-Октябрь, 1921 г. стр. 250.

Вторая книга „Печати и революции“, как и первая, содержит массу ценного материала. В этой книге значительно увеличен отдел статей, открывающийся стать-

ей П. Когана „Александр Блок и революция“. Сущность статьи: Блок горячо любил революцию в первой ее стадии, в стадии разрушения, ломки, хаоса; и Блок отошел от революции «эволюционизированной», от революции будней, от революции—кропотливой созидательницы. «Душу революции любил Блок, а не расчет и не разум ее».

«Он умер революционером, и умер не потому, что разлюбил ее, а потому, что слишком сильно любил ее».

Среди других статей совершенно особенном стоит „Искусство книги“, профес. Сидорова, снабженная иллюстрациями (образчиками удачных и неудачных обложек) и захватывающая область совершенно неосвещенного мастерства. Ближе к ней подходит и другая статья—Ю. Лауберта—„О способах художественного печатания“.

Обе статьи интересны, как образец своеобразной «производственной пропаганды». Обзору эмигрантской литературы посвящен особый отдел: статьи Н. Мещерякова, Вяч. Полонского и А. Воронского. Статьи разбирают «Воспоминания» Станкевича, «Архив» Гессена и «Русскую мысль» Струве.

Статья А. Луначарского — «Мысли о коммунистической драматургии» — посвящена пьесе Ламшуса «Фома Мюнцер», в статье разбросано много ценных мыслей и замечаний: о массе и коллективе, классовом начале и т. д.

Библиографический отдел, как и в первой книге, очень разносторонен и разнообразен; он охватывает в себе почти все, выпущенное за последнее время. Большое внимание привлекают в этом отделе «Заметки о наших журналах». Из них отметим рецензию о Петербургском журнале «Дом искусств», главным образом, рассматривающую статью «Ахматова и Маяковский», в которых автор (К. Чуковский) символизирует старую, тихую и новую — бравурную и шумную Русь.

«Хроника» дает много сообщений о жизни литературных организаций на местах, о книжных новостях, а дополняющее ее письмо из Лондона «Русская революция в западной литературе» — Мих. Левидова довольно полно знакомит читателя с заграничными изданиями, посвященными русской, главным образом, октябрьской революции. К книге приложен портрет Ал. Блока. На наш взгляд чрезвычайно неудачный.

Книжный человек.

„Красная Ковь“ (№ 3).

Подобно двум своим предшественникам № 3-й „Красной Нови“ представляет огромный интерес по разнообразию и содержательности данного материала. Солидные статьи дают возможность ориентироваться во всем важнейшем, что имело место за

последнее время в Советской России и частью за границей. Мы считаем центральной политической статьей „От войны к миру“ — статью т. Кураева.

„К концу гражданской войны, говорит автор, Советская Россия представляла из себя сплошную язву. Боль ран заглушали революционная страсть и переживания боя, но когда прекратились сражения, то со всех сторон раздались стоны. Массы пролетариата истощали, устали, исстрадались и требовали отдыха, спокойствия и улучшения материального положения... В стране разразился социально-политический кризис. Обще-политическое положение еще более обострилось экономическими кризисами: топливным, продовольственным и транспортным, которые к тому же свалились на голову Республики совершенно неожиданно благодаря нерасчетливости и беспечности соответствующих органов... Мелко-буржуазная стихия полезла изо всех щелей. Стали оправляться эс-эры. В деревне развивался бандитизм... Влияние мелко-буржуазной стихии проявлялось и среди пролетариата... Последнюю мысль автор подтверждает указанием на весеннюю Московскую Губконференцию металлистов «потребовавшую замены разверстки налогом.» Дальше — Кронштадский мятеж, помощь мятежникам от белой заграницы, наконец страстная дискуссия о Профсоюзах и намечавшийся кризис партии...

Дальше автор пространно останавливается на новом курсе нашей экономической политики, о видах на развитие крупной промышленности о неизбежном процессе дифференциации крестьянства, о Поволжском голоде и успехах продналоговой работы — успехах, являющихся решающими в вопросе быстрого развития производительных сил страны. Более подробно на вопросе новой экономической политики останавливаются в своих статьях т. т. Гусев и Преображенский, т. Степанов в статье „Мимо и дальше от Маркса“ разбирает новую книгу известного немецкого социал-демократа Генриха Кунова (Марксова теория истории общества и государства. Основные черты социологии Маркса“. Том. I). Генрих Кунов, как известно, сменил теперь Каутского на посту редактора социал-демократического „Neue Zeit“, где он и по традиции и самостоятельно ведет гнуснейшую кампанию против коммунизма против русских большевиков. Эту же линию ведет он и в новой своей книге. „В этом тоне, говорит нам автор, «социология» самого Кунова — т. е. социология социал-демократии, социология развалившегося II Интернационала...“ (181 стр.).

Вопросу политическому посвящена и статья т. Мещерякова „Новые Вехи“. Мы знаем теперь, что кроме сборника „Новые Вехи“ — под этим же названием выходит в Праге еженедельный журнал, где кающиеся

российские эмигранты еще настойчивей и еще более открыто идут с повинною в Советскую каноссу... Им больше нечего делать, они видят что дело проиграно, что надо сдавать позиции. Об этом сами они говорят откровенно:

„Гражданская война кончена... Потому что невозможна интервенция и потому что белой армии не существует. Пока есть лотерейный билет, можно надеяться выиграть. Нет билета, нет и надежды на выигрыш. Мы тщетно бы искали во всяких речах и статьях ответа на вопрос: какую механическую силу может быть свергнута Советская власть по мнению ее противников...“

„Авторы сборника, говорит т. Мещеряков, признают свои прошлые ошибки и идут на примирение с Революцией, с Советской властью, с большевиками. Но они идут еще дальше... Они начинают признавать и мировую социалистическую революцию (стр. 248)“. Так победили мы идейно нашу белую эмиграцию и нет уже теперь никакого сомнения в том, что вслед за теоретическим признанием последует и их организованное или частичное возвращение в Россию. В журнале помещено окончание статьи т. Полонского „Крепостные и сибирские годы Михаила Бакунина“—интересный материал по новым данным, прекрасно скомпонованный, свидетельствующий о широком знакомстве автора с личностью маститого анархиста. Аналитический очерк т. Воронского „Из современных настроений“, разбирает обстоятельно и уничтожающе „Переписку из двух углов“—споры о культуре между Вячеславом Ивановым и Гершензоном. Отдел критики и библиографии в ряду политических и литературных рецензий—разбирает между прочим и только-что вышедшую в свет книжку т. Троцкого „Новый этап“. Наконец, подходим к художественному отделу. Из огромной массы рассказов и стихотворений возьмем только некоторые. В рассказе тов. Подъячева „Болящий“, рассказе среднего качества, поражают два ляпсуса: 1) герой рассказа, Фома Кирсаньч, уразумел, что ему „надо войти в партию местной ячейки“ (Курсив мой Д. Ф.) что это еще за „партия местной ячейки“? 2) Фома Кирсаньч перед зеркалом упражняется произнесением речи. Жена подсматривает в замочную скважину и улучив момент произносит целый монолог: „Фома Кирсаньч, а Фома Кирсаньч. Что это ты, батюшка, делаешь, Христос с тобой? Что это ты за моду взял сам с собой перед зеркалом то разговаривать?“ И так далее, еще в три раза больше этого. Это все в скважину то, спросим мы? Да разве монологи в скважину говорят? Так же неестественно в драматическом произведении „Мы“, заграможденном уймою лиц, свирепый полковник выпускает залпом:

„Поддцы! Халуи! Мерзавцы! Свины! Мужланы прохвосты! Канальи! Вахлаки! Хамы! Остолопы!“ Если все дело тут в перечислении бранных словечек, известных автору, так мы могли бы ему подбавить еще два-три словечка, да таких крепких, что покроют все остальные: будет коротко и ясно. Рассказ т. Плетнева „Золото“ останавливает на себе гл. обр. красотами описания. „Байтас“, рассказ из киргисских восстаний т. Федотова, не выдержан в разговорной речи. Киргиз Алексей, начавший свою повесть прекрасным языком—сбивается с пути и за него говорит сам автор, хотя и на московском наречии, но нехудожественно. Потрясает глубиной содержания рассказ тов. Тамарина „Пустыня“, изображающий блуждание наших красных пленников, выброшенных белыми в Закаспийские песчаные пустыни. Из стихотворений отмечаем полнокровные, свежие как всегда, мятущиеся строки Анны Барковой и „Старец“ т. Эйдемана—сильное, стройное произведение с глубокою идеей пролетарского страдания и пролетарской победы. Художественный отдел вырос и приумножился. Растет и сам журнал в целом—ширится объемом, не меркнет содержанием, выходит регулярнее.

Д. М. Фурманов

Сборник статей „ПРОЛЕТАРСКАЯ ШКОЛА“. Книга для чтения в школе взрослых после букваря. Составл. Борисоглебским гарнизонным школьным Советом Изд. Борисоглебской Уездной Комиссией по ликвидации безграмотности 1920 г.—96 стр.

В процессе занятий с обучающимися грамоте взрослыми, огромной важности фактором является первая книга, для самостоятельного чтения.

От нее, как от первого слоя кирпичей фундамента, часто зависит все направление и развитие человека. Эта первая книга, может сразу и бесповоротно ввести его в круг культурных интересов, она же может навсегда отбить у него охоту к чтению.

Каким же требованиям должна удовлетворять хорошая книга для чтения?

Прежде всего она должна: 1) Учитывать психологию взрослого, угадать круг его запросов и пойти им на встречу; 2) стремиться сохранить ограниченную связь даваемого материала с общим направлением выработанных в настоящее время программ и методов занятий со взрослыми, основы которых есть объединение предметов и подход к малограмотным, как к людям, способным осилить вопросы, ежедневно выдвигаемые жизнью; 3) считаться с неокрепшей еще техникой чтения и давать материал в наивозможно простом, популярном изложении.

Имеющиеся у нас не многие хрестоматии для взрослых не удовлетворяют этим требованиям.

„Книга для взрослых“, составленная Х. Алчевской, построенная по типу детских, сильно устарела и далека от жизни. Изданная В. Ц. И. К. „Военная Энциклопедия“ часть 2-я бессистемна и не литературна. Хрестоматия Полякова „К свету“ дает не интересный для взрослых, не связанный с текущей жизнью материал. Вышедшая в 1920 году книжка Е. Звягинцева и Бернашевского „Просвет“ непригодна по своей тенденции; не удовлетворяет своим однотипным содержанием и сборник „К свету“, составленный В. Зеленко. и Тумимом и книга „Знание и труд все перетрут“ изд. Внешкольного Отдела Петрозаводск. Исключение представляет сборник Д. Элькиной „Мы новый мир построим“—тип художественной хрестоматии уже для хорошо грамотных, что конечно значительно облегчает задачу, но и в нем есть недочеты: слишком много уделено места прошлому с его терпением и страданием и сравнительно слабо освещена борьба и первые шаги в построении Нового Мира. В таком же роде, пожалуй по бледнее, изданная политотделом той армии (Петр 1920 г.) хрестоматия для чтения в красноармейских школах, клубах и избах-читальнях.

Отвечает ли рассматриваемый сборник поставленным заданиям?

Прежде всего бросается в глаза искусственность деления на отделы I—Рассказы и стихи; II—Природоведение; III—История русской жизни; IV—Биографии; V—Политический. С одной стороны, в основу деления берется литературная форма, с другой—содержание, но и при группировке по однородному признаку отделы разбиты совершенно искусственно, что, как увидим ниже, отрицательно сказывается на единстве и цельности в освещении вопросов.

Первый отдел носит очень пестрый, в значительной части своей, детский характер с тенденцией подобрать все „занимательное“

Тут и стихотв. „летний дождь“ (золото золото падает с неба) и пресловутый рассказ „камень“, „магнит“, трудовой вопрос, представленный в совершенно подходящем для социального типа читателей свете, вроде надоевшего всем рассказа „Похлебка“ или такой сентенции как „Ленивый и прилежный“, „Станем дружно мы трудится“. Рядом со стихотворением Некрасова „Мать“ вы находите „Пожарных собак“, за статьей „О книге“ идет „Белый медведь“ с неграмотным описанием признаков его, что живет он на льду „без которого он жить не может“, или „ловит рыбу, которую и ест“. Нет никакой попытки поставить вопрос на научную почву, ни слова о покровительственн. окраске... Часть материала из этого Отдела должна была бы найти себе

место в других отделах: так стихотвор. Некрасова „Забятая деревня“ надо было бы отнести в III-й отдел к статье „О крепостном праве“, ст. „о книге“ должна найти себе место в отделе рядом со ст. „Народное просвещение и Советская власть“ и пр.

Степень нарастания технической трудности в материале здесь не везде соблюдена. Совершенно неуместно было помещать трудную по строению и языку басню „Обезьяны“ или Тургеневского „Воробья“.

Удачным приемом в этом отделе считаем сопоставление двух друг друга исключаящих пословиц: „Каждый за себя, один Бог за всех“—так и было раньше; „Все за одного и один за всех“—так должно быть теперь. Такое противопоставление разрушает веру в незыблемость и авторитетность пословиц и заставляет смотреть на них как на своего рода лозунги, создаваемые в интересах и выгодах разных социальных групп. Жаль только, что приведена всего одна такая пословица.

Второй отдел „Природоведение“ содержит главным образом статьи по космографии составленные в духе сухих учебников и настолько лубочно-примитивно, что могут создать только ложные представления. Например, „Луна оторвалась от земли, когда земля была огненным шаром“. Или первые животные были мягки, как студень, без костей. В течение долгого времени эти существа владели (?) морем, понемногу развиваясь в разные породы. Далее в статье „Растения“ совершенно неправильный подход с разжевыванием ненужных для взрослых азбучных истин о том, что если раскопать землю, вынуть растение, очистить его от земли то окажется, что в земле находится часть растения, благодаря которой оно держится. Эта часть называется корнем. Та часть растения, которая подымается над землей, называется стеблем. На стебле и на ветках сидят листья и цветы.

Но самым слабым небрежно составленным является III-й отдел „из Истории русской жизни“. Это типичные отрывки из наших захудалых учебников; „Предки наши, славяне жили отдельными, друг от друга независимыми племенами“; между ними часто происходили ссоры и войны. Этими раздорами пользовались их соседи и подчиняли их себе. Есть преданье, что в IX столетии и т. д. Так начинается вводная статья „Основание России“. И далее: „После свержения татарского ига Московские князья, впоследствии называвшие себя государями, стали собрать вокруг себя остальных князей с дружинами и привлекать их к себе на службу, выплачивая им за это жалование. Так просто, а манер хоровода“ рисуется процесс собиранья Руси на стр. 56-й. И все в том же духе голословных туманных утверждений: были стали, сделались, не вскрывая основных движущих сил.

В IV отделе дан ряд кратких биографий (в 20—25 строк): (Маркс, Ленин, Энгельс, Бебель, Герцен, Халтурин, Ломоносов, Кольцов, Некрасов, Никитин, Л. Толстой, Горький). Такого рода материал был бы ценен, если бы он освещая работу великих людей, связывая бы ее с характеристикой тех общественных условий, с которыми этим людям приходилось считаться и бороться. В данных биографиях это не достигается и дело сводится к перечислению чисто внешних фактов, что особенно ярко сказывается на биографии Ломоносова: запоминаешь ряд дат и событий: родился, учился, бежал, поступил, женился, умер, несколько ими не проникаешься и также скоро их забываешь.

Совершенно на отшибе стоит отдел V-й политический; о современных условиях, о коммуне, интернационале и проч. Часть этого материала, конечно должна была бы быть слита с отделом III. Обособление этого отдела подчеркивает неправильность представления о политике, как о чем то оторванном, самодовлеющем. Удачнее других составлена статейка „О религии“.

Механическая разорванность отделов; разбросанность однородного материала говорит о том, что составители не преследовали задачи объединения отдельных вопросов в одно органическое целое, что можно было бы здесь до некоторой степени осуществить. В книге не затрагиваются близкие взрослым вопросы, материал не связывается с математической грамотой (никаких жизненных статистических данных). Это тип старой хрестоматии (обо всем понемногу), разбавленной и скрашенной материалом, внесенным революцией. С таким строением новой первой книги мириться нельзя. Наше безкнижье позволяет и эту книгу дать в руки взрослым, но это уж будет „На безрыбье и рак рыба“.

Вообще же издание таких малопроработанных сборников еще и еще раз подчеркивает, как трудна эта работа, какой общей подготовки знания психологии взрослого, умения популяризировать требует она от составителя.

Проведение здесь принципа локализации могло бы сильно облегчить задачу.

А. Богомазова.

Проф. А. М. Смирнов. Кризис денежной системы французской революции. Пет. Изд. «Право», 1921 г.

В настоящий момент, когда Россия сама переживает денежный кризис, книга проф. Смирнова приобретает особый интерес и значение.

В доступной и понятной форме автор излагает историю денежной системы в революционной Франции и историю полного ее крушения. Хотя автор и старается быть объективным, но сравнение само собой напрашивается. В своем заключении проф.

Смирнов говорит: «В борьбе за водворение в хозяйственной жизни созданных государством бумажных денег победа осталась на стороне частно-хозяйственного оборота». И дальше: «Наличность в пределах страны достаточно крупного запаса металлических денег явилась фактором громадного значения. Она позволила обороту сравнительно легко освободиться от влияния созданных государством бумажных денег и совершенно сбросить с себя в конечном итоге их иго».

Всеми, кто интересуется данным вопросом, книга проф. Смирнова будет прочтена с напряженным вниманием и даст много ценных выводов и заключений в виду аналогичности с переживаемым нами временем.

В. Львов-Рогачевский.—Очерки по истории новейшей русской литературы (1881—1919 г.), издание Всероссийского центр. союза потреб. о-в, Москва, 1920 г., стр. 140.

В. Львов-Рогачевский—один из наших плодотворнейших критиков.

В этом отношении его можно сравнить с В. Фриче. Можно сравнить обоих критиков еще и в другом отношении—в своеобразной бедности их писаний, в неуверительных выводах их критического анализа, в общей их растянутости и беглости, несерьезности.

Выпущенные в конце прошлого года «Очерки» В. Львова—Рогачевского ни больше, ни меньше, как конспект прежних его трудов: те места «очерков», где автор говорит о «деревенском и городском»—перепев статьи о Бунине из «снова накануне», а страницы о поэтах пролетариата и крестьянства—отрывки из изданной «книгоизд. писателей его книги чуть-ли не под тем же названием. Это уже сразу понижает значение «очерков», придавая им характер повторяемости, тенденции, пережеванного куска.

Издавая «Очерки» Львов-Рогачевский, как видится, имел в виду отчасти разрешить вечно и—особенно в наши дни—злословный вопрос о литературе и обществу.

То, что подошел он к этому вопросу с марксистской меркой—его заслуга. То, что «Очерки» получили сбивчивыми, отрывающимися «фельетонным» душком, не выдержанными, говорит за то, что автор со своей задачей не справился.

Подразделив литературу на три периода—дворянский, разночинный и городской—Львов-Рогачевский, нащупывая социальную базу каждого периода, быстро, на каких-нибудь 80 страницах «протащил» читателя через эти три эпохи, останавливая его внимание, главным образом, на писательских характеристиках, затеняя бытовые и вообще—социальные условия, обуславливающие то или иное литературное направление, тот или иной литературный склад.

слово „летающие“. „Черный воздух, как черная сталь“ безвкусно и не дает никакого представления. Поражают небрежные и слабые рифмы: пою—с отрю, клятвам—непонятном, тяжела—голова, сплю—твою и т. д.

С. С.

Всеволод Рождественский. Золотое веретено. Стихи. Петрополис. 1921 г., стр. 59.

Изящно изданная книжечка производит приятное впечатление. Петрополис издает превосходно. В книжке собраны стихи разных периодов: есть датированные 1916 г., есть 1918, 1919, 1920, 1921 г.г. Это говорит за то, что Всеволод Рождественский поэт не начинающий. В этом убеждаешься, когда прочтешь напечатанное. Темы самые разнообразные. Потому, может быть, у поэта не очертилось, хотя бы с относительной резкостью, собственное лицо. Все до чрезвычайности эклектично:

Ах, золотое, как полдень тело!

Где оно, милый, неверный прах

Пусть бы мешалось оно и пело

В легких, как пламя, моих руках.

читаем у Вс. Рождественского в стихотворении «Двое» и вспоминаем «Заблудившийся трамвай» Ник. Гумилева:

Машенька, ты здесь жила и пела,

Мне, жениху, ковер ткала,

Где-ж теперь твой голос и тело,

Может ли быть, что ты умерла.

Форма стихов безукоризненна. В этом отношении Рождественского можно сопоставить с Гумилевым: видна кропотливая работа над стихом. Опять мастерство, а не свободные, вдохновенные строчки.

Остановиться можно на сонетах. Особенно хорош «Гатчинский сонет».

Всегда почти можно у поэтов отыскать наиболее характеризующие творчество строчки:

Наклонись—и увидишь в тяжелой, как вечность воде

На песке золотистом холодное, звонкое слово:

Вообще о книжке можно сказать:

Раскрой и прочтешь в этом сборнике гладких стихов

На листках белоснежных холодные, звонкие строки.

Отражению современности не посвящено ни одной строчки.

С. С.

М. Кузмин. Нездешние вечера. Стихи 1914—1920 г. Издание Петрополис 1921 г. стр. 136.

Искусно засушенные цветы часто очень красивы, но их красота—только внешняя, мертвая красота. Из них вместе с влагой улетает весь их аромат, который так свойствен живым.

Многие стихи М. Кузмина, собранные в книжке, напоминают именно засушенные

цветы. Они почти безукоризненны по отделке,—четки, звучны,—ими можно любоваться, как образцами стилизации, но они, в большинстве, обездушены, холодны, не оставляют глубокого следа.

В угоду звукам поэт иногда мудрствует и дает строчки, неспособные вызвать эстетических эмоций:

Загоризонтное светило

И звуков звучное отсутствие

Зеркальной зеленью пронзило

Оледенелое предчувствие.

Есть сознательно допущенные вместо рифм диссонансирующие звуковые сочетания:

Разбухнуло небо к вечеру,

Замерзло окно...

Не надо осеннего ветра,

Мне и так хорошо.

Лучшие стихи в книжке: «Ходовецкий», некоторые места из кантаты «Св. Георгий», «Ассизи», «Фузий в блюдечке», «Успокоительной прохладой»... «Пушкин». Изящно стихотворение, посвященное Т. П. Карсавиной, напоминающее ямб Пушкина:

В холодном зареве не так-ли

И вы ведете свой узор,

Когда в блестящем спектакле

У ваших ног—малейший взор?

Вы Коломбина, Соломея,

Вы каждый раз уже не та,

Но все яснее, пламенея,

Златится слово «красота».

Сами собой вспоминаются строчки из XX главы «Евгения Онегина».

Блестательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна,

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина...

О внешней красоте книжки говорить не приходится: она отпечатана на великолепной бумаге и снабжена стильной обложкой.

С. С.

Альманах цеха поэтов. Книга вторая. Пг., 1921 г. стр. 87.

Когда видишь блестяще изданную книгу, как-то против воли возникает вопрос: оправдывает ли содержание ее внешность? По отношению к данному альманаху на вопрос можно ответить двояко: и да, и нет.—Красива внешность, в собственном смысле слова и красива, если можно так выразиться, внутренняя внешность.

В альманахе стихи, поэмы и критика. Участники: Георгий Адамович, Н. Гумилев, Мих. Зенкевич, Георгий Иванов, М. Лозинский, О. Мандельштам, Ирина Одоевцева, А. Оношкович-Яцына, Ник. Оцуп, Петр Волков, А. Липовский, Сергей Нельдихен, В. Познер. Несмотря на такое большое количество участников, в альманахе нет ни одного произведения, которое способно было бы захватить читателя, в глубокой степени заинтересовать. Прочитаешь, от-

ложишь в сторону и „ничего не отразится на челе“, в лучшем случае—легким облачком проплывет и растает маленькое на-строенье.

Не о любви прошу, не о весне пою,
Но только ты одна послушай песнь мою.
•И разве мог бы я, о посуде сама,
Взглянуть на этот снег и не сойти с ума
Обыкновенный день, обыкновенный сад,
Но почему кругом колокола звонят.
И соловьи поют, и на снегу цветы,
О почему, ответь, или не знаешь ты?..
И т. д.—опять о неизбежном своем сумаш-
естве,—если бы пришлось взглянуть в
„ее“ глаза,—повествует Георгий Иванов.

Еще светло, но день уж обречен,
И в небе ветви тают смуглым дымом.
Опять звенит знакомый ломкий звон
О прежнем, нежном, о давно любимом.

Это строфа другого поэта М. Лозин-
ского. Как видит читатель, опять гладкие
строчки с неизбежными звонами о любви.

О. Мандельштам повествует „о светлом
значении (для него, разумеется) Венеци-
ской жизни“, которая глядит на него с
улыбкой холодной в голубое дряхлое стекло.

В единственном стихотворении Ирины
Одоевцевой—„Поэт“—вы учуете Анну Ах-
матову.

И все так бледно, худосочно и, как
бледные краски, похоже одно на другое.
Не найти резко выраженной индивидуаль-
ности, не отыскать сильных, невымученных
стихов. Конечно, все они сделаны чрезвы-
чайно гладко, по всем правилам метрики,
ритмики, рифмики, „эффонии и всякой про-
чей премудрости и, несомненно, изысканны.
Возьмем хотя бы Георгия Иванова:

В меланхолические вечера,
Когда прозрачны краски увяданья,
Как разрисованные веера
Вы раскрываетесь, воспоминанья.
Деревья жалобно шумят. Луна
Напоминает бледный диск камня
И эхо повторяет имена
Елизаветы или Соломеи.
И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи заката,
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то
Несколько задорнее, живее стихи А. Онош-
кович-Яцыной:

Как найти мне, как найти дорогу?
Я запуталась среди тропинок узких
И иду с своей судьбой не в ногу
На высоких каблучках французских.
Тут есть доля горькой иронии, несмотря
на некоторую трагичность темы. Недурно
и другое ее стихотворение—„Нож“. Поэ-
тессе присущи: тонкая наблюдательность,
оригинальные образы:

Тучи две лиловые, два больших крыла
Распахнула на небе полная луна.
Кстати, ни то, ни другое стихотворение
совершенно не поняты рецензентом „Ве-
стника литературы“ (см. „В. л.“ № 10) да,

вдобавок ко всему, выдержки, приведенные
им в качестве аргументов для доказатель-
ства бездарности или, как он выразился,—
„сюсюкания“—напечатаны непросительно
безграмотно.

Недурно стихотворение Ник. Оцуа
„Аэроплан“. Из поэм лучшая, хотя и ра-
стянутая слишком,—„Баллада о дезертире“.
В. Познера.

В отделе критики—рецензии Н. Оцуа,
Георгия Иванова и Георгия Адамовича.

Хочется остановиться на рецензии Ада-
мовича о поэме Маяковского ~ 150.000.000.
Автор рецензии беспристрастен к поэме,
хотя, рассуждая о подобной поэзии, удив-
ляется: „На кого вообще рассчитана эта
торопливая и пустая погоня за „лицом
современности“.

В погоне только уже за... Маяковским
грешны, пожалуй, и некоторые участники
альманаха (Мих. Зенкевич) и в первую го-
лову сам рецензент:

На шестом этаже у дрожащего телефона,
Человек говорит: „Мария! Я вас любил“,
Пролетают кареты. Автомобили
За ними гудят. Зажигаются фонари.

Продрогшая девочка бьется продать списки.
Уитмэна не передразнишь, а под автора
150.000.000 тоже, к нашему счастью, види-
мо, „не вытанцовывается“. Очень уж „озо-
рен“ Маяковский: его и одного для всех
хватит.

**Н. Гумилев. Огненный столп. Стихи. Изд
„Петрополис“, (Пг. 1921 г. 73 стр.)**

В книжечке 20 стихотворений. Все это
хорошо продуманные, красиво сделанные
стихи. Гумилева мы знаем по многим
сборникам: «Романтические цветы», «Чужое
небо», «Фарфоровый павильон», и др. В
«Огненном столпе» меньше всего непосред-
ственности. Гумилев выступает тут, как
уверенный, талантливый мастер. Оттого
стихи холодны, необычайно четки; напо-
минают тонкую, но мертвую гравюру:

И совсем не в мире мы, а где-то
На задворках мира среди теней,
Сонно перелистывает лето.
Синие страницы ясных дней.

Из сборника следует отметить особо сти-
хи: «Шестое чувство», «Слово», «Канцону
вторую», «Заблудившийся трамвай». Об
остальных распространяться излишне.

С. С.

**Георгий Иванов. Сады. Третья книга
стихов. Пет. 1921.**

Маленькая книжка, но как много в ней
хороших стихов. Доминирующий мотив—
природа. Снею сливается и поет лира поэта.

Трудно выбрать лучшие из стихотво-
рений, все хорошо, все хотелось бы выпи-
сать. Поэт любит и „воздух, полный осен-
него солнца, и ветер душистый и теплый“,
Лоррена и Ватто, которые „давали“ ему
„все те же смутные, глухие наслажденья“
и „солёных волн свободное движенье“..

Книжка издана тщательно, в оригинальной обложке.

А. Белый. Первое свидание. Изд. „Алконост“ Петерб., 1921 г.

„Взойди, звезда воспомянья;
Года, пережитые вновь;
Поэма—первое свиданье,
Поэма—первая любовь“.

Так начинает А. Белый свое повествование о былом. Перед глазами читателя проходит юность поэта: годы студенчества, профессора, знакомство с Мих. Соловьевым, с его женой, а также с Вл. Соловьевым, Ключевским, Брюсовым, яркие характеристики некоторых лиц, подернутые флером неудовимой нежности к ним; годы личных дум и переживаний, первая любовь, Москва.

„О, незабвенные прогулки,
О, незабвенные мечты,
Москва, кривые переулки...

Промчалось все: где, юность, ты!...

Поэма А. Белого считается одним из лучших его произведений. Звуковая выразительность, разнообразие метрики, целая симфония звуков то мажорных то минорных, сцены—то эпически-спокойные, то ослепительно яркие—все это выдвигает А. Белого на первый план.

Издана поэма на хорошей бумаге в изящной обложке.

Анна Ахматова. Anno Domini MCMXX. Книгоиздательство „Петрополис“. Петерб. 1922 г.

Anno Domini MCMXXI—так озаглавлен новый сборник стихов А. Ахматовой.

В стихотворениях поэтессы много личного, пережитого, в них слышится наболевшая душа, духовное одиночество и безответная любовь. Они трогают своей правдивостью и непосредственностью и читаются легко.

„Путник милый, ты далече,
Но с тобой я говорю
В небесах зажглися свечи
Провожающих зарю.

.....
Путник милый, в город дальний
Унеси мои слова
Чтобы сделался печальней
Тот, кем я еще жива.

Книжка издана в хорошей обложке, напечатана на хорошей бумаге.

Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из двух углов „Алконост“. Петерб., 1921 г.

В. Иванов и М. Гершензон живут в одной комнате „здравницы“ для литераторов, в Москве. Оба друга думают над разрешением великих мировых вопросов, но не говорят, а пишут друг другу. В 12 письмах они спорят о сущности и противоречиях культуры, о Боге, о человеческой личности, о первоисточниках жизни.

Парящий над землею В. Иванов не может согласиться со своим противником Гершензоном, которого тяготит всякая „отвлеченность, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство достижений, знаний и ценностей“.

Чтение, интересное и увлекательное сначала,—под конец утомляет.

Во всяком случае, письма—это любопытнейший документ духовной жизни нашего времени.

Ц.

Пушкин и Достоевский. (Статьи) Изд. Дома Литераторов, Петроград, 1921 года, стр. 147.

Петербургский Дом Литераторов выпустил отдельным изданием статьи и речи, произнесенные в 84 годовщину со дня смерти Пушкина и 100-летнюю—рождения Достоевского. Сборник содержит в себе стих. Кузмина: „Пушкин“, статьи: Ал. Блока—„О назначении поэта“, В. Ходасевича—„Колблемый треножник“, А. Ф. Кони—„Общественные взгляды Пушкина“, Б. Эйхенбаума—„Проблемы поэтики Пушкина“, И. Г. Горнфельда—„Два сороколетия“ и А. М. Ремизова—„Горящая Россия“.

Блестящая статья Ал. Блока—ключ и разгадка к его поэтическому мирозерцанию и—отчасти—к смерти его

Из других статей обращает внимание статья А. Ф. Кони, разбирающая отношение Пушкина к крепостному праву, преступлениям, общественной справедливости, войне.

Эйхенбаум рассматривает Пушкина, как творца и мастера русской беллетристики, а В. Ходасевич, с болью и скорбью задумывается над грядущим забвением Пушкина: „И наше желание сделать день смерти Пушкина днем всенародного празднования, отчасти, мне думается, подсказано тем-же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам переключаться в надвигающемся мраке“.

Достоевскому посвящена статья Горнфельда.

— „Сорок лет, прошедшие со дня смерти Достоевского, замечательны тем, что в течение их Достоевский стал живым“—говорит автор. И доказывает разбором критики, постепенно все более и более признающей Достоевского, как гиганта мысли и слова.

„Огненная Россия“—А. Ремизова—написана в обычном для автора, волнующем, напоминающем о заклятиях и заговорах, стиле. Прочитывается статья с таким-же волнением.

Издана книжка блестяще. В наше время это—образчик лучших изданий.

Книжный человек.

Смена Век. Сборник статей. Прага 1921 г. Книга эта, изданная в Праге кружком русских интеллигентов, является в настоящий момент предметом самых оживленных толков, споров и разсуждений.

Покаянные статьи вчерашних октябристов и черносотенцев: Бобрищева—Пушкина, Устрялова, Потехина и друг., их призыв идти „в Каноссу“ для совместной работы с советской властью на пользу дорогой и любимой родины,—хотя и не звучат искренностью, но интересны. Они интересны, как социальный симптом, как речи, породившие столько споров и толков и заставившие высказаться даже тех, кто до сих пор не решался или не хотел говорить.

Ц.

„Культура театра“ (журнал Московских ассоциированных театров),—госиздательство, Москва, 1921 г., № № 4 и 5.

Театральная работа в наши дни разлилась очень широко, захватив самые деревенские уголки. Доказательство этого—культурно-просветительные кружки в каждой деревушке, частые спектакли почти в каждом убогом российском сельце.

Правильно-ли велась и ведется эта работа, правильный-ли придан ей характер—вопрос особый. То, что театральная область наиболее жизнедеятельная по сравнению с другими областями искусства и то, что область эта во времена наиболее обостренного духовного голода имеет несколько своих великолепных изданий—факт.

С начала прошлого года начал выходить новый театральный журнал „Культура театра“.

Журнал этот можно только приветствовать и при том очень горячо.

Цельность содержания, разносторонность, высокая материальность, художественность языка—вот достоинства „Культуры театра“. Если прибавить к этому еще то, что журнал не сбивается на позицию узкой специализации—его можно выделить, как редкое в наши дни явление.

В лежащих перед нами книжках помещены статьи и заметки Луначарского, Эфроса, Новицкого, Брюсова, Язвицкого, Шершеневича, Станиславского, Дьяконова, Филиппова и др. Большинство статей посвящены новому театальному строительству, характеристикам драматургов, новым пьесам.

Материал очень тщательно отделан и проредактирован. Любовь к слову, бережное с ним обращение, его чеканка—редкие качества современной журналистики—здесь налицо.

Журнал чрезвычайно ценен и в том отношении, что нам, отторгнутым от заграничной литературы, он дает возможность ознакомиться с ее течениями и ее новинками, уделяя этому вопросу довольно таки значительное место, хотя оговариваемся—главным образом, литературе драматической. Такими очерками являются, например, „Поль Клодель“ (в № 5).

Поль Клодель—один из крупных поэтов современной Франции. На литературной арене известен с 1870 г. По направлению романтик-идеалист. К наиболее интересным его произведениям принадлежат „Обмен“, „Страсти“, „Благовещение“, „Протей“ и „Златоглав“. „Златоглав“ (драма) идет в 1-ом государственном театре. Творчество Клоделя овеяно легким налетом мистицизма, гармонично переплетенного с романтикой. В этом отношении особенно характерно его „Благовещение“, которому посвящена в № 4 „К. Т.“ чрезвычайно тонкая и умелая рецензия В. Шершеневича.

Из новых заграничных пьес „К. Т.“ особенно отмечает «Иуду»—немецкого драматурга Эриха Мюзама. Пьеса захватывает рабочую жизнь во время революции. „К. Т.“ рекомендует ее к постановке, как пьесу пролетарскую, имеющую большое не только агитационное значение, но и значение художественное.

Ценен в журнале отдел „Театральный архив“. Здесь, между прочим, встречаем одно из неизданных писем Пушкина. Но самая, что называется, „соль“ журнала—это его „театральный семинарий“. „Театральный семинарий“—своего рода либретто, разбор наиболее лучших пьес современного репертуара.

Здесь—целое богатство. Здесь—удельный вес журнала.

В заключение остается только пожалеть, что такие журналы, как „Культура театра“ к нам попадают только случайно, в качестве исторической редкости.

Но и здесь—хотя это и звучит парадоксом—имеется своя, положительная черточка: каждая такая, случайно залетевшая книжка является настоящим праздником.

«Чем ночь темней, тем ярче звезды»...

Внижний человек.

Издатель:

Губполитпросвет.

Ответственный редактор:

Редакционная Коллегия.

СОДЕРЖАНИЕ.

С Т И Х И:

Стр.

А. Сумарокова, Д.м. Семеновского, Анны Барковой, Марианны Ямпольской, Вас. Смирнова, Мих. Артамонова, Серг. Селянина, Ив. Жижина, Ник. Смирнова, Льва Зилова, Ник. Колоколова, Василия Казина, Серафима Огурцова, Сергея Клычкова, Владимира Нарбута, Сергея Городецкого 3

Рассказы, очерки, статьи и пр.

<i>А. Неверов. Хлеб наш насущный</i>	12
<i>Ник. Смирнов. Голубой снег</i>	21
<i>Д.м. Семеновский. Материнство</i>	35
<i>Ник. Кузнецов. Верба</i>	39
<i>Ав. Ноздрин. Кармановские ткачи</i>	45
<i>Мих. Артамонов. Пережитое</i>	55
<i>Вас. Смирнов. Вы жертвою пали (стих.)</i>	68
<i>Ив. Жижин. Отравы повседневности (стих.)</i>	71
<i>Ник. Смирнов. Великий искус</i>	72
<i>А.л. Луганский. На смерть Блока (стих.)</i>	84
<i>А.л. Блок. О Дмитрие Семеновском</i>	85
<i>Ив. Жижин. Роковая раздвоенность (о Некрасове и его художественном достоянии)</i>	88
<i>Ив. Смирнов. Ессе Ното</i>	96

Научно-популярный отдел.

<i>Проф. К. Шапошников. Закон сохранения энергии</i>	106
<i>Проф. П. П. Будников. Использование азота воздуха</i>	108

Письма из-за границы.

<i>Лидия Х. Киль</i>	112
--------------------------------	-----

Народное образование.

<i>П. Артамонов. Ликвидация неграмотности</i>	117
---	-----

Наша летопись.

<i>В. Смирнов-(М-ов). В подполье</i>	124
<i>Л. Б-ов. П. А. Зарубин</i>	134
<i>Сергей Семин. Стихи</i>	138

Белогвардейская литература.

<i>В. Т-р. Из истории контр-революции на юге</i>	141
--	-----

Пестрядь.

<i>Лев Зилев. Футуризм прошлого</i>	144
<i>Мих. Артамонов. Пестрядь</i>	146

Траурная страница.

<i>Ив. Смирнов. Дорогое и редкое исключение (памяти В. Г. Короленко)</i>	152
--	-----

Литературная хроника	154
---------------------------------------	-----

Критика и библиография	157
---	-----

Содержание первого номера альманаха „Начало“ (сентябрь 1921 г.).

Стихи: Мих. Артамонова, Дм. Семеновского, Пв. Жижина, Анны Барковой, Ав. Луганского, Ал. Ноздрина, А. Сумарокова: **рассказы и очерки:** Дм. Семеновского—«Ярунок», Сер. Семин—«Арест», Сер. Селянина—«Шиповник», Ник. Смирнова—«Через улицу», Мих. Артамонова—«Пережитое», П. Ярового—«Глаза кургана»; **статьи:** Ник. Смирнова—«Художник», А. Воронского—«М. Горький», Дм. Семеновского—«Частушки и современность», А. Воронского—«Песни северного рабочего края», Леон. Богданова—«Забытый писатель из народа Ф. Д. Нефедов», Пв. Жижина—«Сын земли», Мих. Артамонова—«Сергей Семин», Сергея Семин—«Стихотворения», Н. Бельчикова—«Отклики русского общества на отлучение Л. Н. Толстого», и «Из истории книги», А. Воронского—«Перегруппировка сил», Ш. Дволайцкого—«П. Струве о «Крахе социализма», П. Мещерякова—«Из белой литературы», А. Аросева—«Артур Рансон», М. А.—«Из жизни писателей». *Критика и библиография. В книжном ворохе. Новые книги.*

Продажа альманаха производится в г. Иваново-Вознесенске: Рождественская улица, Губернский книжный склад (Губколлектор), а также во всех уездных книжных складах губернии (Уколлекторах).

Размер альманаха— $5\frac{1}{4}$ печатных листов (88 страниц). Цена с 1-го февраля 1922 г.—15 тысяч рублей за экземпляр.

Адрес редакции: Гор. Иваново-Вознесенск Губполитпросвет. Лито.
Редакция альманаха «Начало».

Важнейшие опечатки.

<i>Страница:</i>	<i>Строка:</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Следует читать:</i>
5	20 снизу	Вот идут	Вот иду
5	41 »	Гудят.	Глядят.
11	6 »	озера	озира
17	8 »	в ушах звонят колокола.	В ушах звонят колокола.
22	31 сверху	русальных	русачьих
26	14 снизу	глубоко, может быть дико, но, по своему красиво.	обнял ее, видно было что любит он может быть и дико, но, по своему, красиво.
31	8 сверху	пахнутым	пахнувшим
39	8 снизу	Николай Иванович Кузнецов,	Николай Иванович Кузнецов (автор этого рассказа),
71	5 »	!	?
72	10 »	нервее	нерв ее
73	5 сверху	он не мы	он не мог
75	10 »	Нам товарищу	Нам, товарищ
76	15 »	шерстью хлесткой	шерстью жесткой
77	10 »	разрешали	разрушали
99	17 сверху	cefies	ce fles
119	9 снизу	28240	28204
128	17 сверху	двух	даже
128	28 »	(черный)	(„Черный“)
134	1 »	настоящего года	1921 г.

Кроме того, сюда не вынесены некоторые буквенные опечатки, не искажающие смысла фраз.

В статье П. Смирнова: „Ессе Ното“, в цитатах из Пушкина, следующие слова и строки, набранные курсивом: „Помните“ (в цитате 2), „Как осуществлял он это призвание?“ (в цит. 3), „Побеждает жизнь“ (в цит. 16), „Осознав, осужден, оставлен „свет“. Вспомним!.. (в цит. 21), — принадлежат не Пушкину, а автору статьи — И. Смирнову.

Опечатки вкратце по причине больших неудобств, связанных с печатанием альманаха: редакция и типография находятся в разных городах, в виду чего приходилось ограничиваться лишь одной корректурой, а не двумя—тремя как надлежит.

Подготовля к изданию „Биографический словарь писателей и ученых Владимирского Края“, **Владимирское Губернское Научное Общество по изучению местного края** обращается с горячим призывом ко всем уроженцам и гражданам Владимирской губернии (в прежних границах), имеющим какие-либо печатные труды или выступавшим в повременной печати как общей, так и местной, присылать для словаря, по возможности незамедлительно, свои биографии, применительно к нижеследующему плану: имя, отчество и фамилия; год, месяц, число и место рождения, кто были родители; ход воспитания и образования; начало и ход жизненной и литературной деятельности; перечень всего где-либо напечатанного, с указанием, если речь идет о книге: года, места издания, формата и количества страниц; если о журнальной или газетной статье: года, номера и названия периодического издания, где она появилась.

Весьма желательно также получение фотографической карточки и литературных трудов, как в отдельных изданиях, так и в оттисках и вырезках из газет и журналов, для использования их в Словаре и образования при Обществе особой библиотеки и портретной галлерей писателей-владимирцев.

С этими же просьбами Общество обращается к родственникам и знакомым скончавшихся писателей.

При сообщении биографии необходимо указание своего адреса.

А д р е с: Гор. Владимир, улица Герцена, 26. Губ. Научному Обществу по изучению местного края.

570+00



